

Георгий Скребицкий

**ОТ ПЕРВЫХ
ПРОТАЛИН
ДО ПЕРВОЙ
ГРОЗЫ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1966 г.



Рисунки Ю.Реброва



*Чем дальше мы
От детства с каждым днём,
Тем больше дорожим
Мы памятью о нём*

ИЗ ДАЛЁКОГО ПРОШЛОГО

Я был ещё совсем маленьким, когда мама вышла замуж за доктора нашей местной больницы. Звали его Алексей Михайлович. Он был толстый, весёлый и добрый. Мы с ним сразу же подружились. Это случилось очень давно, так давно, что мне кажется — я всё своё детство прожил вместе с Михалычем.

Жили мы тогда в крошечном уездном городке Чернь, Тульской губернии. Наш городок походил скорее на живописную деревеньку. Одноэтажные домики были разбросаны по кособогу над речкой. Летом они прятались в густой листве старых садов, а зимой до самых окон их засыпали пушистые сугробы снега.

В зимнюю пору городок совсем затихал, По ночам в него частенько забегали зайцы. Они заглядывали в сады, обгрызали кору яблонь и груш.

Вот в этом-то по-деревенски привольном местечке мне посчастливилось провести годы детства и юности, провести их, бродя по полям и лесам или сидя с удочкой на берегу тихой глубокой речки.

Семья наша была невелика. Мой приёмный отец Михалыч, так я звал его с самого раннего детства, мама и дети Михалыча от первой жены — Наташа и Серёжа. Наташа была старше меня на семь лет, Серёжа — на два года.

Жили мы вместе не круглый год. Наташа зимой училась в Москве и только летом приезжала погостить к нам. Серёжа, наоборот, всю осень и зиму проводил с нами, в Черни, а на лето уезжал в Москву к своей маме.

Помню, бывало, весной, когда он собирался уезжать, я очень горевал. А Серёжа радовался, что скоро увидит маму, что они вместе поедут на дачу и там он будет целые дни удить на мух уклеек. Всё это было, конечно, хорошо, да только грустно — ведь теперь мы с ним не увидимся до самой осени.

Вообще мы с Серёжей жили дружно, особенно когда подросли и у обоих проснулась страсть к настоящей рыбной ловле, а позднее — к охоте. Эту страсть пробудил в нас Михалыч. Он был нашим первым другом и наставником. Он научил нас ловить рыбу, охотиться, а главное — понимать и любить природу, любить во всякое время года: и в пору цветущей весны, и в хмурые дни поздней осени.

Михалычу, именно ему первому, я обязан тем, что из всех путей жизни выбрал самый увлекательный путь — путь следопыта-натуралиста.

МАМА

Первым лицом в нашем доме, в нашем маленьком хозяйстве, была, конечно, мама. Не только мы, ребята, но даже Михалыч признавал это и нередко говорил мне и Серёже: «Ну, как Сама велит, так и будет», или: «Ох, друзья, и достанется нам от Самой на орехи!» — при этом он лукаво подмигивал и делал вид, что очень боится мамы.

Мама и вправду частенько распекала нас вместе с Михалычем за разные проделки. Так уж сразу и повелось, что Михалыч, Серёжа и я — три товарища и должны таить наши проказы от «грозного домашнего начальства».

А начальство было совсем негрозное. Как сейчас, помню я маму: маленькая, полная, добродушная, целые дни, бывало, по хозяйству хлопочет, то что-нибудь чинит, штопает, то в кухне с кухаркой — с тёткой Дарьей — готовит, а потом накинет Михалычеву охотничью куртку или тёплый платок и отправляется во двор. Там уж её настоящее царство. Куры и утки только завидят маму, со всех концов спешат к



ней, суетятся, кричат, в руки заглядывают. А нарядный петух, мамин любимец, тот прямо с разбегу норовит на плечо ей взлететь. Мама будто случайно нагнётся за чем-нибудь — он уже тут как тут: усядется на плече, шею вытянет, хлопает крыльями да как закричит на весь двор: «Ку-ка-ре-ку...» Мама уши скорей затыкает: «Ой, оглушил совсем, убирайся прочь!» А сама из кармана хлеб достаёт, угощает Петеньку. Петух поклюёт хлебца и на землю слетит. Ходит следом за мамой: куда она — туда и петух, ни на шаг не отстаёт.

Но мама занималась не только домашним хозяйством, были у неё и другие дела. После двух часов дня, когда Михалыч возвращался из больницы, к нему на дом нередко приходили больные. А частенько случалось и так: зайдёт какая-нибудь старушка к нам во двор, стоит в нерешительности.

— Тебе, бабушка, чего надо? — спросит её, проходя мимо в кладовку, тётка Дарья.

— Да вот, сердешная, заболела я, — отвечает старушка.

— Значит, пришла полечиться? Вон звонок над дверью, позвони, тебя к доктору проведут.

— Да нет, родимая, мне бы лучше к Самой, к докторше попасть.

Дарью такой ответ ничуть не удивляет. Она его слышит не в первый раз и потому равнодушно отвечает:

— Тогда иди вон туда, на кухню, там докторшу и разыщешь.

Старушка, сразу подбодрившись, спешит к указанной двери.

Сколько теперь я припоминаю, приём пациентов, правда всегда бесплатных, у докторши был не меньше, а, пожалуй, даже побольше, чем у самого доктора.

Михалыч частенько шутя упрекал маму:

— Ты у меня скоро всех больных отобьёшь.

— Да мои больные к тебе всё равно не пойдут, — улыбаясь, отвечала мама. — У тебя какое лечение: послушаешь, постукаешь, пропишешь лекарство, и всё — можете уходить домой. А моим пациентам совсем другое нужно. Вот на днях старушка одна из Казачьей слободы ко мне приходила: «Полечи, говорит, сделай такую милость». — «А что, спрашиваю, у тебя болит?» — «Эх, матушка, всё болит: и голова, и живот, и поясница... всё болит, совсем я занедужила». Сели мы с ней за стол, налила я ей чайку, разговорились. Много всего она мне про свою жизнь рассказала, сколько нужды, сколько горя видела. «У меня, говорит, пуще всего болит душа, так иной раз болит, так тоскует, и не приведи бог». Поговорила я с ней, дала ей соды от изжоги. Очень она моим лечением осталась довольна. Второй раз заходила, говорит: ни одно лекарство ей никогда так не помогало...

— Да ей не лекарство нужно, а просто поболтать захотелось. Вот зачем они все к тебе приходят, — не выдержав, перебивает маму Михалыч. — Конечно, я бы не стал все эти рассказы слушать. Я врач, а не отец-утешитель.

— Ну и отлично, и не слушай, — миролюбиво соглашается мама. — Поэтому мои больные к тебе и не идут. У нас с тобой разные пациенты.

Так и осталась жить в моей памяти мама — спокойная, ласковая и такая уютная, что от одного её присутствия на душе становилось легко и радостно.

Когда мне исполнилось семь лет, мама начала учить меня читать и писать. Это обучение продолжалось целых два года, вернее, две зимы.

Не знаю, многому ли научился я у такой доброй и нетребовательной наставницы, но зато до сих пор я с радостью и с благодарностью вспоминаю наши занятия, совсем нетрудные и такие интересные для нас обоих.

Мама-докторша, мама-хозяйка, мама-учительница... А потом, когда я подрос и начал собирать и тащить в дом разных зверьков, птиц, ящериц, рыбок, мама стала ещё и главным хранителем нашего домашнего зверинца. Стыдно признаться, а утаивать не хочу: тащить-то я тащил домой всякую живность, которую удавалось поймать в лесу или в поле, а вот кормить, ухаживать терпения не хватало. Тут-то мама и приходила на помощь. Принесёт, бывало, из чулана корзину с зайчатами, посадит малышей на стол и поит их по очереди молоком из соски. Зайчата лезут к пузырьку, друг друга носами отпихивают. Мама сердится, ворчит:

— Мучение прямо, развели тут зверья, а ухаживать некому. Выброшу всех, и конец.

Но я был вполне спокоен: никого из моих зверей мама, конечно, не выбросит, не обидит, это только одни слова.

Привольно жилось у нас четвероногим и крылатым питомцам. Большинство из них очень скоро становились совсем ручными, бегали и летали по комнатам, по двору, по саду, жили на полной свободе, совсем не боялись людей. Но все они особенно хорошо знали маму, отличали её от других и сразу спешили на её голос.

МИХАЛЫЧ

Михалыч служил врачом в чернской больнице. Он не только заведовал ею, но вообще был единственным врачом и в больнице, и в городе, да, кажется, и вообще во всём Чернском уезде. (Уезд — это по территории примерно то же, что теперь район. В наши дни в Чернском районе работает несколько десятков врачей.)

Только много лет спустя, когда я стал старше, я понял, какую огромную и сложную работу приходилось выполнять Михалычу в нашей маленькой городской больнице. Не только из города, но и со всего уезда привозили туда больных. Михалыч должен был лечить от всех болезней и делать самые сложные операции; и всё это один, не имея возможности даже ни с кем посоветоваться.

И я могу с гордостью за него сказать, что он был замечательный врач; никакой не знаменитый, зато настоящий деревенский врач, которого сама жизнь научила умно и тонко разбираться в человеческих недугах и страданиях.

Но самой своей основной, самой любимой специальностью он всегда считал хирургию.

— Как тебе не страшно? — иной раз говорила ему мама. — Разрежешь человеку живот, копаешься там, что-то подрежешь, что-то подошьёшь... а если ошибёшься? Ведь это же смерть! Я бы ни за что не смогла.

Михалыч слушал, улыбаясь, и спокойно отвечал:

— Так ведь я подрезаю и подшиваю не для того, чтобы умер, а чтобы жил человек, чтобы снова сделался здоровым.

И это спокойствие, эта уверенность в себе, в необходимости своего дела очень помогали Михалычу. Большинство его операций проходило удачно. Конечно, не все, бывали иногда и очень печальные случаи, и Михалыч ходил после них как в воду опущенный, однако чаще больной выздоравливал. И, отправляя его домой, Михалыч возвращался из больницы такой довольный, счастливый, будто сразу помолодевший.

Во всём уезде Михалыч как врач пользовался большой известностью и любовью. Ценили его и местные богатеи. Его постоянно приглашали в свои имения соседние помещики.

Но заниматься частной практикой, особенно разъезжать по «знатным барынькам», как Михалыч иронически заявлял, он не любил и делал это довольно редко. К тому же «знатные барыньки» частенько вызывали доктора к себе в имение не из-за серьёзной болезни, а из-за всяких пустяков.

— Трясса по ухабам, по буеракам тридцать вёрст, а у неё, видите ли, насморк или в бок кольнуло! — возмущался Михалыч. — Заняться не знает чем, вот и дурит от безделья!

Приедут, бывало, из какого-нибудь имения приглашать Михалыча к больным, а он говорит, что сам нездоров или занят, и отправляет посланного к старому опытному фельдшеру Лупанову. Вот уж тот — ночь, полночь — никогда от практики не отказывался.

— Зато и денежки имеет, — с грустью говорила мама. — И домик себе выстроил, и пара лошадей, даром что не врач, а только фельдшер. А у нас ни дома, ни собственной лошади, всё нанятое, всё чужое.

Такие разговоры Михалыч очень не любил.

— Все сыты, одеты, обуты, никто, кажется, ни в чём не нуждается, чего же ещё нужно? — обычно отвечал он. — Всё равно всех денег не соберёшь.

Это была его любимая поговорка, и нужно отдать справедливость, что ей он неуклонно следовал всю жизнь.

— А у нас зато зайцы, и ежи, и лисята, и птицы разные — всё есть, а у Лупановых даже кошки нет! — с жаром поддерживал я Михалыча.

— Вот разве что зайцы да лисята, — вздыхала мама.

— А разве это плохо, что у нас в доме разная живность водится? — чувствуя во мне надёжного союзника, отвечал Михалыч. Он доставал папиросу, закурил и задумчиво продолжал: — В жизни, друзья мои, нужно и работать с любовью, и с любовью уметь пожить, уметь поглядеть, что вокруг творится: как весна наступает, как лето приходит... Эх, хорошо, братцы, на свете жить тому, кто жизни радоваться умеет!

Эти слова о том, что надо «уметь радоваться жизни», я слышал от Михалыча не один раз.



Михалыч был не только прекрасный врач-хирург, по-настоящему любящий своё нелёгкое дело, но, кроме того, он был ещё в душе и немножко поэт, особенно поэт родной природы.

Но всё это я понял, а главное, оценил уже много позже, когда стал не ребёнком, а юношей. В детстве же я смотрел на Михалыча просто как на своего закадычного друга-товарища, такого же весельчака и такого же, как мы, ребята, выдумщика и проказника. В его работе я, конечно, ничего тогда не

понимал. И мне бывало даже очень досадно, что он так много времени проводит со своими больными, вместо того чтобы побольше побыть вместе с нами.

С Михалычем мы всегда жили душа в душу. Я, бывало, никак не дождусь, когда же он наконец вернётся из больницы. Приходил он обычно к самому обеду. После обеда ложился на часок отдохнуть, как он говорил: «Не спать, а так кое-что обдумать». При этом «обдумывании» весь наш домик дрожал и сотрясался от богатырского храпа. Потом Михалыч вставал. И тут-то начиналось самое интересное: налаживание удочек для рыбной ловли, набивка патронов на охоту или чистка и смазывание ружья. Всё это Михалыч обставлял как-то особенно занимательно. Разложит, бывало, по столу лески, крючки, поплавки и не сразу начнёт их привязывать к удилищам, а сперва полюбуется, как настоящий художник редким произведением искусства.

— Хорош поплавочек! Ах, хорош! Вы только, друзья, представьте себе: стоит он этак красным столбиком на воде, около тростничка, и вдруг будто ожил, вздрогнул, зашевелился и вниз, вниз... Тут уже не зевай, тащи. Дёрнешь — удилице в дугу, леска в струну натянута, так по воде и чертит. А там, в глубине, ходит, точно на привязи, этакий окунице. Спина горбатая, тёмная вся...

Мы с Серёжей слушали затаив дыхание и, кажется, не только слышали, но даже как будто и видели, как Михалыч тащит на берег огромного крутоспинного красавца окуня.

Потом Михалыч аккуратно, не торопясь, привязывает к леске крючок, приделывает грузило и надевает поплавок.

— А ну, ребята, живо тащите из кухни ведро воды, — командует он, — да пополнее, только не расплескайте!

Мы с Серёжей стремительно бросаемся в кухню, наливаем ведро воды и тащим в кабинет Михалыча. Несём оба, так легче, а главное, никому не обидно.

У обоих штаны, чулки, башмаки — всё мокрое. По полу, следом за нами, тянется целый ручей, но зато мы точно выполнили задание — налили ведро до самых краёв.

Завидя нас изрядно намокших, Михалыч смущённо качает головой:

— Вот уж постарались, достанется нам теперь от Самой, ох достанется! Ну, что поделать, пока она не пришла, скорей за работу.

Михалыч погружает леску с крючком и грузилом в ведро воды так, чтобы они опустились к самому дну. При этом мы смотрим, потянет ли груз под воду поплавок или тот удержится на поверхности. Если потянет, груз приходится уменьшать до тех пор, пока он не перестанет топить поплавок.

При этих опытах вода целыми струями стекает с лески и с наших рук прямо на пол. Она образует там причудливые заливчики и озёра. А мы с Серёжей, бегая и суетясь возле стола, превращаем их в настоящее болото. Но в пылу творчества никто из нас этого не замечает.

Кончается тем, что в кабинет заглядывает мама и приходит в ужас.

— Боже мой, какой свинушник! — И она гневно обращается к Михалычу: — Ну, они ещё дети, а ты-то хорош, неужто не видишь — ведь вы поплывёте скоро!..

Михалыч пытается защищаться:

— Какой там свинушник! Вы, мадам, ничего не понимаете в наших мужских делах.

— Да что там еще понимать! Уходите сейчас же отсюда! Я Дарью пришлю пол подтереть.

Тётка Дарья — наша домашняя работница. Её я помню с тех пор, как помню себя. Все у нас в доме, даже мама и Михалыч, её побаивались за решительный,

непреклонный характер. И вот она является в кабинет с огромной половой тряпкой.

— Ишь, набезобразничали! — сурово ворчит она. — Марш отсюда, а то вот я вас всех тряпкой!

— Сейчас, сейчас удалимся, — миролюбиво говорит Михалыч, пряча в ящик все наши доспехи.

И мы отступаем в другую комнату, оставляя поле сражения в руках грозного победителя.

МУКИ ТВОРЧЕСТВА

По вечерам мы с Михалычем занимались не только разборкой, налаживанием рыболовных и охотничьих принадлежностей. Нередко вместо этого Михалыч доставал из шкафа какую-нибудь из своих любимых книжек и начинал читать нам вслух. Чаще всего Некрасова или Алексея Толстого. Из Некрасова Михалыч обычно читал «Крестьянских детей», «Коробейников», «Мороз, Красный нос» или «Псовую охоту».

Всё это мы с Серёжей давно уже знали наизусть, но каждый раз слушали с одинаковым удовольствием.

Из Толстого нам больше всего нравился «Садко».

Михалыч читал его так здорово, что прямо казалось, будто ты и сам находишься на дне океана в подводном тереме.

Начнёт, бывало, Михалыч читать о том, как водяной царь готовится к пляске:

Сперва лишь на месте поводит усом,
Щетинистой бровью кивает...

И вдруг сам очень ловко станет пошевеливать усами и как-то особенно забавно приподнимать одну бровь. Выражение лица у него при этом получается такое задорное, весёлое, точно вот-вот притопнет ногой да и припустится в пляс...

Мы с Серёжей в таких местах от восхищения даже взвизгивали.

А как удивительно хорошо, как просто и душевно Михалыч не читал, а прямо рассказывал нам стихи Некрасова:

Опять я в деревне, хожу на охоту,
Пишу мои вирши, живётся легко.
Вчера, утомлённый ходьбой по болоту,
Зашёл я в сарай и заснул глубоко...

Слушаешь и не можешь понять, что это — Некрасов так написал или Михалыч вспоминает что-то своё, что с ним самим когда-то случилось.

В такие вечера мы обычно долго засиживались в кабинете Михалыча.



Придёт, бывало, мама, чтобы звать нас с Серёжей спать, придёт да и сама заслушается. А время бежит и бежит.

Вот уж часы в столовой бьют десять часов.

Мама будто очнётся:

— Что же это я делаю? Забыла, зачем пришла! Ну, дети, скорее, скорее умываться и спать!

Ох, как не хочется уходить в спальню, кажется, так бы всю ночь сидел и слушал.

Михалыч читал нам не только Некрасова и Толстого, но и других поэтов. Читал он и Лермонтова и Пушкина.

У Лермонтова мне больше всего нравился кулачный поединок из «Купца

Калашникова», а у Пушкина — «Полтавский бой».

Вообще я очень любил слушать, когда читают и стихи и рассказы. Даже не знаю, что мне нравилось больше. А вернее, всё было хорошо по-своему.

Придя после чтения в спальню, я обычно долго не мог заснуть, думал о только что прочитанном, а ещё о том, как это ловко придумано, как хорошо написано.

«А что, если мне самому попробовать сочинить стихи?» — мелькнула как-то смелая мысль. Мне показалось, что это совсем не так уж трудно. Сочиняли же Толстой, Некрасов, Пушкин да и многие другие. Почему же я не могу? Ну, если сразу не выйдет, попрошу помочь Михалыча. Он-то уж наверное сможет. Он всё может: и операции делает, и стихи читает так, что животики надорвёшь, и усами при этом шевелить умеет, точь-в-точь как царь водяной. Попрошу его — он и поможет написать поинтереснее.

Итак, я решил начать сочинять стихи. Затруднение было только в том, о чём их писать и кому.

Но вскоре подвернулся подходящий случай.

Нам с Серёжей кто-то из знакомых привёз в подарок по альбому для стихов. Они были очень красивые, в бархатном переплёте: мой в тёмно-красном, а Серёжин — в голубом. В верхнем уголке каждого из них был нарисован летящий белый голубок, он нёс в клюве письмо.

Что же написать на первой странице такого чудесного альбома? Мы решили написать друг другу на память стихи, но какие? Серёжа вышел из этого положения очень просто.

В моём альбоме чётко и ясно, без всяких помарок, он написал:

Когда мы будем жить в разлуке
И не увидишь ты меня,
Тогда возьми альбом сей в руки
И вспомни, кто любил тебя.

Стихи мне очень понравились. Только жаль, что их выдумал не сам Серёжа, а кто-то другой. Мне же захотелось написать ему на память именно своё собственное стихотворение.

Незадолго перед этим Михалыч опять читал нам Пушкина «Полтавский бой». И вот под этим впечатлением я решил тоже придумать что-нибудь военное. Сел и довольно быстро сочинил:

Когда войска зашевелились,
Наши полки уж на ногах.
Они ужасно ополчились
И колют, режут в пух и прах.

Эти стихи я и написал на первой странице Серёжиного альбома. К сожалению, я тогда только ещё начинал учиться писать. Учила меня мама и очень огорчалась, что я пишу на редкость грязно и некрасиво.

Увидя, что я натворил на самой первой странице его новенького альбома, Серёжа приуныл. Однако из чувства товарищества он не сказал мне ничего обидного, наоборот, даже поблагодарил за сочинённое стихотворение. Но скрыть своё огорчение он, конечно, не смог, и меня оно тоже очень опечалило.

И всё же эта первая литературная неудача не заставила меня упасть духом. Наоборот, я твёрдо решил продолжать писать стихи. Вставал только опять тот же вопрос: о чём писать?

На моё счастье, мама получила от кого-то по почте чудесную открытку. На ней была изображена широкая, спокойная река. Я взглянул на открытку, и в уме сразу же, как бы само собой, родилось четверостишие:

Река течёт, течёт куда-то.
Куда течёт, зачем течёт?
Она несёт меня куда-то.
Куда несёт, зачем несёт?

Даже в жар бросило от восторга. Стихи показались прекрасными. Только не забыть бы их, не растерять вдохновение.

Я опрометью кинулся в свою комнату, схватил лист бумаги и написал заглавие: «Пловец», а под ним все четыре строки. Написал и стал ждать, что подскажет мне вдохновение. Но вот чудеса — оно упорно молчало.

«Куда же может нести меня река?» Я мучительно ломал голову над этим вопросом и ничего поэтического придумать не мог. Что поделаешь! Нужно пойти спросить у мамы, может, она что-нибудь подскажет.

Я разыскал маму во дворе возле курятника и спросил, куда может унести река.

Мама удивилась:

— Да она ещё подо льдом.

— А весной, когда лёд растает?

Мама подозрительно взглянула на меня:

— Очень прошу тебя без взрослых на речку не ходить. Знаешь, прошлым летом сторож Дмитрий залез пьяный в лодку, а его подхватило и понесло, до самой мельницы водой тащило — чуть-чуть в омут не попал.

Я дал слово, что на речку один не пойду и ушёл от мамы. Толку от этой беседы не получилось — одна неприятность. Теперь всё лето будет беспокоиться и смотреть, куда я хожу.

Оставалось попытаться счастья у Михалыча. На мой вопрос о реке он охотно ответил:

— Смотря какая река. Вот наша, например, впадает в Зушу, Зуша в Оку, а Ока в Волгу. Если всё плыть и плыть, можно и в Каспийское море попасть. А хорошо бы, братец мой, совершить такое путешествие! — прибавил он, мечтательно улыбаясь.

Я знал по опыту, что теперь Михалыч начнёт фантазировать о плавании на лодке, на добрый час развезёт. А это совсем меня не устраивало. Для моего «творчества» такая поездка никуда не годилась.

Я поспешил вернуться в комнату. Увы, всё напрасно: вдохновение исчезло. Так и пришлось навсегда оставить своего «пловца» в самом начале его путешествия.

Но вскоре после неудачи с «Пловцом» моё поэтическое вдохновение пробудила живая предвесенняя сценка. Я выбежал из дома во двор и вдруг увидел на снегу трёх котов.

Они сидели друг против друга и вопили истошными голосами. Заметив меня, все трое бросились к сараю, в один миг очутились на крыше и там снова начали свой концерт.

Солнце, крыша сарая, освещённая яркими лучами, и на ней поющие коты — всё это показалось мне так прекрасно, что я тут же решил запечатлеть

виденное в поэтических образах, вернулся домой и начал творить. Первые две строчки удались почти без всяких усилий:

«Ура, ура!» — кричат коты
И носятся по крыше.
Хвосты их кверху...

Дальше я никак не мог придумать рифму к «коты». Не беда, останавливаться не нужно, решил я. И, пропустив заупрямившуюся рифму, успешно закончил четверостишие:

Глаза весельем дышат.

Хорошо, а как же быть с хвостами? Наконец после долгих усилий я придумал — «задраты».

Конечно, написать можно, но как-то это нескладно. Допустима ли такая вольность ради рифмы? Я был неуверен. Можно, правда, написать «задрались», тогда будет всё правильно, но зато не получится рифма к слову «коты». Я оставил первый вариант и написал всё четверостишие:

«Ура, ура!» — кричат коты
И носятся по крыше.
Хвосты их кверху задраты,
Глаза весельем дышат.

Прежде чем продолжать дальше, я решил всё-таки посоветоваться с мамой насчёт сомнительного положения с хвостами.

К моему удивлению, мама, всегда так хвалившая все мои стихи, вдруг сказала, что эти ей совсем не нравятся и что они даже неприличны.

Я недоумевал: что же в них неприличного?!

Ещё обиднее отозвался о них Михалыч. Услыша мои стихи, он громко расхохотался и, хлопнув меня по плечу, сказал:

— Эх, брат, у вас у всех хвосты «задраты»!

«У кого у нас у всех? Какие хвосты?» Я терялся в полном недоумении.

Но хуже всего было то, что ни мама, ни Михалыч не поняли самого главного — ведь эти стихи должны были отразить всю радость наступления весны. А мама нашла их неприличными, а Михалыч вовсе смеялся. Было больно сознавать своё творческое бессилие. В душе жило одно, а на бумаге получалось совсем иное.

Помню ещё и другое своё стихотворение, которое я написал в эти же дни. Сочинить его помог мне тоже предвесенний поединок котов. Его я запечатлел в следующих строках:

Здесь дерутся два кота,
Лихо состязаются:
Один залез на ворота,
Другой за ним бросается.

Стихи, по-моему, вышли неплохие. Вот только «ворота» портили всё дело — ударение не там, где ему полагается. Я приходил в отчаяние, не мог понять, почему именно в стихах ударение обязательно попадает не туда, куда следует. Спросил об этом у Михалыча. Он чуть-чуть улыбнулся и ответил:

— Совсем необязательно. Например, в стихах у Пушкина оно попадает куда следует.

— Значит, стихи Пушкина лучше моих, — с горечью ответил я.

— Пожалуй, немножко получше, — охотно согласился Михалыч.

В общем, со стихами дело у меня не клеилось; я и сам начинал в этом убеждаться.

«Ну что ж, стихи не выходят, нужно попробовать написать какой-нибудь рассказ».

Я достал чистую тетрадь и принялся писать в ней рассказ об охоте.

К сожалению, на охоте я ещё никогда не бывал и все сведения о ней черпал из рассказов Михалыча и из книг Брема, дополняя всё это собственной фантазией.

Свой первый рассказ я написал об охоте на барсука. Закончил его я страшной сценой: раненый барсук стрелой взлетает на дерево, где затаился в засаде охотник, и там, на вершине, завязывается кровавый бой. Зверь победил. Растерзанный охотник падает мёртвым на землю. Но и барсук тоже смертельно ранен кинжалом в грудь. Он тоже падает мёртвым. Так трагично кончился мой рассказ.

Я прочитал его маме. Успех был полный. В самом напряжённом месте, где расвирепевший зверь вонзает зубы в горло охотника, мама даже всплеснула руками и прошептала:

— Как страшно!

А я, замирая от восторга, зловещим голосом продолжал читать кровавую сцену.

Когда я кончил, мама поцеловала меня и сказала:

— Очень хорошо! Поди почитай Михалычу.

Заранее предвкушая своё торжество, я вбежал к нему в кабинет и скромно попросил разрешения прочитать небольшой рассказик. Михалыч согласился.

Я начал читать, изредка украдкой поглядывая на своего слушателя.

По мере того как развивалось действие рассказа, лицо Михалыча принимало всё более и более заинтересованное, даже удивлённое выражение. Он несколько раз, видимо, хотел что-то спросить, но сдерживался, очевидно желая дослушать всё до конца. И вот под самый конец, когда я сам, захваченный трагизмом событий, читал кровавую сцену на дереве, Михалыч вдруг не выдержал и расхохотался.

Я онемел от изумления: над чем же он смеётся? А Михалыч, вытирая платком глаза, сказал наконец:

— Ой, брат, ну что ты только городишь! Барсук ведь — это самый безобидный зверёк, толстый, неповоротливый, на поросёнка похож. Он и на дерево-то залезть не может. Какую чушь ты придумал!

Я не знал, что отвечать. Чувствовал только, что сейчас разрыдаюсь: так было больно и так обидно.

Михалыч ещё что-то спросил, но я уже не мог говорить, только махнул рукой и выбежал из кабинета.

Прибежал к себе в комнату, схватил книгу Брема, и тут всё выяснилось: я спутал толстого увальня барсука с кровожадным барсом. Какая ошибка! Зачем учёные дали столь различным зверям такие похожие названия: барсук и барс? Думаю, не я один мог бы их перепутать.

Свою невольную ошибку я переживал очень болезненно.

Весь рассказ мне сразу опротивел. Я разорвал его, выбросил в печку и после этого дал себе клятву никогда в жизни больше не писать ни рассказов, ни стихов.

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ

В душе Михалыч был большой непоседа. Ему вечно хотелось переехать жить куда-то подальше, в другое место: то на юг, то на север, то на восток... Он выписывал медицинский журнал и, когда получал свежий номер, прежде всего заглядывал на последнюю страницу. Там печатались приглашения врачей на работу.

— Эх, братцы мои! — мечтательно говорил Михалыч. — Сколько хороших мест! Вот, например, приглашают врача-хирурга под Иркутск. Махнуть бы туда! Тайга, Байкал... Какая рыбалка, какая охота — медведи, лоси, глухари!..

— Это что же, в Иркутск приглашают? — осведомлялась мама.

— Нет, не совсем, но где-то там рядом, — уклончиво отвечал Михалыч. И тут же добавлял: — Если вы, мадам, этим серьёзно заинтересовались, мы сейчас же всё точно установим.

Михалыч доставал из книжного шкафа большой географический атлас и начинал водить пальцем по карте, где был изображён район Байкала. Мы с Серёжей не отрываясь следили за движением пальца по таинственным значкам на листе бумаги, изображавшим горы, реки, озёра. Наконец Михалыч находил то, что искал.

— Вот оно!

— Ну что ж, это рядом с Иркутском? — спрашивала мама.

— Ну, как тебе сказать, не очень, конечно.— Михалыч прикидывал по масштабу. — Вёрст полтора ста в сторонку. Но зато в самую глушь тайги. Боже, какие там, наверное, места!

— А железная дорога туда подходит? — допытывалась мама.

— Ах, оставь, пожалуйста! — негодовал Михалыч. — Тебе обязательно нужно, чтобы железная дорога под боком была. Там и без этого отлично люди обходятся. Кибитка, подвесной самовар, и летишь на перекладных через долины, через увалы. Кругом простор!..

— А как же ребят учить? Уж в Черни гимназии нет, а там, наверное, вообще никакой школы!

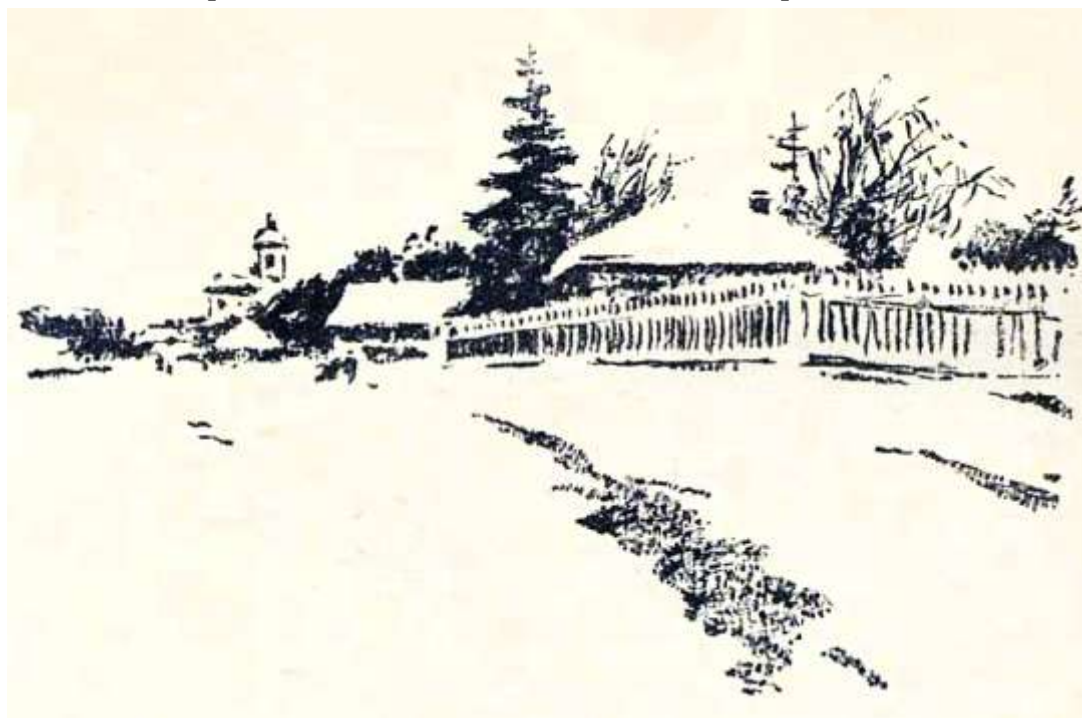
— Да, вот с этим, должно быть, туговато,— грустно вздыхал Михалыч. — Ну что ж, если это место не подходит, поищем другое. Да вот хоть, к примеру, под Астраханью, в плавнях Волги. Чем не житьё? Кругом болотные топи, заросли, целые моря камышей. А в них гуси, утки, пеликаны... Одной охотой прожить можно.

Мама слушала и только покачивала головой:

— Ох уж мне эти планы, проекты...

Правда, дальше планов дело не шло, и мы год за годом безвыездно жили в Черни.

Собственного домика у нас не было, мы снимали чей-нибудь на несколько лет. Так мы за всю жизнь в Черни переменили три квартиры. Вначале жили у самой реки, потом переехали в домик напротив земства, а когда его продали другим владельцам, переселились в такой же одноэтажный дом, возле церкви Николы. В нём мы прожили около десяти лет; в нём прошло всё моё детство.



Этот дом я вижу и сейчас, как наяву, с его небольшими уютными комнатками, с белыми изразцовыми печами, с керосиновой лампой, висящей над обеденным столом, с неторопливым тиканьем старинных настенных часов.

Сразу за домом был просторный зелёный двор, а дальше — старый, заглохший садик. Наверное, он был совсем невелик, но в детстве казался мне огромным и даже таинственным, особенно зимой, когда сплошь был завален снегом.

Наслушавшись рассказов Михалыча о таёжных лесах, об охоте, я воображал себя тоже охотником, следопытом, который, как по книге, читает по следам обо всех происшествиях осторожных лесных обитателей.

Утро. Слегка морозит. Сад ещё по-зимнему весь в снегу. Ветви яблонь и груш будто в белых пушистых рукавицах, а кусты смородины, малины и крыжовника совсем укрылись с головой белым блестящим покрывалом.

Я пробираюсь между сугробами, зорко осматриваюсь по сторонам.

Вот на снегу чётко выделяется цепочка свежих следов. Какой зверь проходил тут? Не хочется думать, что это наш старый кот Иваныч совершал свою утреннюю прогулку. Нет, это осторожный обитатель тайги, драгоценный соболь, крался здесь, выслеживая добычу.

— От меня не уйдёшь, — шепчу я и, проваливаясь в снег почти по пояс, направляюсь по следу ценного зверя.

Но вдруг какая-то птичка мелькнула передо мной среди заснеженных веток. Я сразу забываю о воображаемом звере. Живая, настоящая птица куда интереснее. Мне хочется скорее выследить её, подкрасться поближе, получше разглядеть.

Вот она перелетела с сучка на сучок, стряхнув с них облако снежной пыли. Это синица. Я хорошо знаю её, много раз видел у нас во дворе синиц, когда они вместе с воробьями копошились у забора, отыскивая в кухонных отбросах себе еду.

Но здесь, среди белых веток, синица выглядит совсем по-иному. Я словно впервые вижу эту птицу и, уже не играя, а по-настоящему затаившись в засаде, с восхищением рассматриваю её чудесный наряд. Она вся как будто нарочно разрисована: головка чёрная, щёчки белые, спинка и крылья зеленовато-серые, а грудь ярко-жёлтая и посередине сверху вниз тянется чёрный галстучек.

В то утро долго сидел я в своей засаде, наблюдая за тем, как расписная птица-синица перелетала с сучка на сучок, заглядывала в каждую древесную щёлку — охотилась за спрятавшимися там на зиму жучками и паучками.

А потом синица вдруг села на веточку да как запоёт:

«Чи-чи-ку, чи-чи-ку, ци-фи, ци-фи, ци-фи!..» — звонко так, весело, совсем не по-зимнему.

Я сразу вспомнил, как Михалыч нам говорил: «Синица запела — весна приспела».

И вправду, хоть и снег кругом, а уж будто весна. Солнышко из-за облаков показалось, весь сад осветило. Я глянул вверх. Так хорошо! Небо синее-синее, и на синем белые ветви деревьев. А сквозь ветви солнце глядит. Не поймёшь, что это: снег на ветвях или грозди розоватых цветов. Какими-то особенно белым и радостным выглядит сад. И в белом саду слышится звонкая птичья песенка.

Вечером Михалыч достал из ящика стола толстую тетрадь, куда записывал разные интересные наблюдения над птицами, над зверьками, и записал: «Сегодня утром Юра услышал в саду первую песню синицы». Подумал, улыбнулся и приписал: «Вот и опять до весны дожили, хорошо! Нужно почистить ружьё и набить патроны для тяги».

ВЕСНА-КРАСНА

На тополе, возле скворечника, пара воробьёв. Они распускают крылышки и с отчаянным чириканьем насакаивают друг на друга. Они спорят, кому занять для гнезда этот уютный домик. Наконец более решительный и смелый прогоняет другого. Он одержал победу. Весело чирикнув, победитель скрывается в скворечнике, потом, выбравшись из него, улетает куда-то и через минуту возвращается с пёрышком в клюве.

Я смотрю вверх на скворечник, на тонкие, голые ветки дерева. Они так хорошо выделяются на синем весеннем небе. По небу плывёт пушистое облако. Оно заплывает за дерево. Теперь на белом фоне и ветви и скворечник — всё кажется чёрным, будто нарисованным тушью на листе белой бумаги.

А вот ещё такое же белое пушистое облако, и ещё, и ещё... Они медленно плывут по весеннему небу, как стая огромных белоснежных птиц. Зимой таких облаков не бывает. Это весенние, кучевые облака.

На днях мама про них рассказала очень хорошую сказку.

— Когда-то давным-давно собралась Весна-красна в гости в северные края. Всю зиму она провела вместе с перелётными птицами на тёплом юге, а как стало солнышко всё выше и выше на небе подниматься, тут она и решила лететь. Просит Весна перелётных птиц — гусей, лебедей: «Отнесите меня подальше на север, там меня ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, и разные крохотные жучки-паучки».

Но птицы побоялись лететь на север: «Там, говорят, снег и лёд, холод и голод, там, говорят, мы все замёрзнем и погибнем». Сколько Весна ни просила, никто не хочет её в северные края отнести. Совсем она загрустила: что ж, видно, придётся всю жизнь на юге прожить. Вдруг она слышит голос откуда-то с вышины: «Не печалься, Весна-красна, садись на меня, я тебя быстро на север доставлю». Взглянула вверх, а по небу над ней плывёт белое пушистое облако.

Обрадовалась Весна, забралась на облако и полетела в северные края. Летит да вниз, на землю, поглядывает. А там, на земле, ей все радуются, все её встречают. В полях пестреют проталины, бегут ручьи, взламывают на речке лёд, а кусты и деревья в лесах и садах покрываются крупными, готовыми вот-вот уже раскрыться почками.

Полетела Весна-красна с юга на север на белом пушистом облаке, а следом за ней потянулись в родные края несметные стаи перелётных птиц — гусей, лебедей и всякой крылатой мелочи: жаворонки, скворцы, дрозды, зяблики, пеночки, славки... Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое пушистое облако, так, значит, на нём Весна-красна прилетела. Жди теперь со дня на день тепла, полой воды, жди с юга весёлых крылатых гостей...

Хорошо мама про первое весеннее облако рассказывала.

И Михалыч тоже сидел, слушал и не перебивал маму. А потом расправил усы и сказал:

— Отлично, братцы мои! Весенние облака — это вроде как корабли под белыми парусами. Надует их ветер, и поплывут они по небесному половодью. Зимой-то в ясный морозный день примечали небось, какое небо бывает? Прозрачное, зеленоватое, будто неживое, будто его ледком затянуло. А в марте, как только пригреет солнышко, тут небо и оживёт, заголубеет, словно вода в весеннем разливе. Вот тут-то и поплывут по нему белые корабли облаков. — Михалыч глянул на нас с Серёжей и, погрозив пальцем, добавил: — Смотрите у меня, не прозевайте первый воздушный корабль.

И вот теперь я стою во дворе под деревом, смотрю на плывущее в небе облако, смотрю и радуюсь. Как придёт Михалыч с работы, я ему тут же и отрапортую: «Первый корабль причалил сегодня прямо к нашему тополю».

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

Вот и грачи прилетели. Разгуливают по оттаявшей дороге, хлопчут во дворах, отыскивают разные остатки еды.

Как они хороши! Все иссиня-чёрные, только вокруг клюва широкое белое пятно. За это грачей и зовут белоносыми.

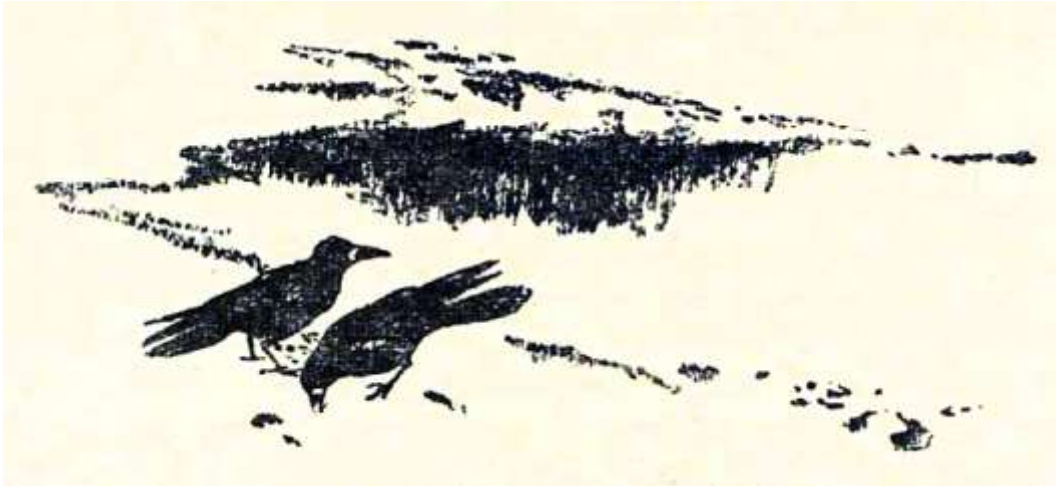
В нашем саду грачи все берёзы гнёздами позастроили. На некоторых сучьях прямо гнездо к гнезду. Я как-то смотрю на них и вижу: из одного гнезда чёрный хвост торчит, и из другого тоже. Чуть-чуть друг друга хвостами не задевают. И ничего — сидят, не ссорятся. А вечером, как рассядутся по сучьям, такой гвалт поднимут — за версту слышно.

Мама сердится, уши затыкает.

— Прямо житья нет, — говорит, — даже голова разболелась.

А вот нам с Михалычем их гвалт очень нравится. Михалыч, бывало, нарочно выйдет под вечер из дома, сядет на лавочку, слушает да похваливает:

— Отлично поют! Милые птицы, первые к нам весной прилетают.



Послушав грачей, Михалыч обычно возвращается домой, идёт к себе в кабинет. Там, на стене, напротив письменного стола, висит его любимая картина художника Саврасова: «Грачи прилетели».

Я тоже очень люблю смотреть на эту картину, особенно под вечер. Лучи заходящего солнца розоватым светом разливаются на стене. Вот они осветили картину, и вмиг оживает старая берёзовая роща, и ветхая колокольня за ней, и уходящие вдаль протаявшие весенние поля. Мне кажется, что я вижу всё это вовсе не на картине, а просто гляжу через окно на наш двор, на наши берёзы, на проталины в полях за рекой. Михалыч тоже частенько, сидя под вечер в кресле, смотрит на эту картину, смотрит и улыбается. И лицо у него тогда какое-то особенно доброе и счастливое и немножко грустное.

— Удивительная картина, — тихонько, как бы про себя, говорит он, — такая простая и такая глубокая! Глядишь на неё — и невольно вспоминается детство, первая весна, первые радости и невзгоды... Замечательная картина!

Я сижу обычно тут же, в уголке дивана, слушаю Михалычевы слова. Я плохо их понимаю. Но и мне почему-то становится особенно хорошо на душе, хорошо и тоже немножко грустно, и жаль старенького Михалыча, и хочется вместе с ним пойти далеко-далеко, туда, в эту тёплую весеннюю даль.

КОМУ ШУТКИ, А КОМУ И НЕ ДО ШУТОК

Михалыч вернулся с работы очень весёлый и возбуждённый.

— Ну, ребятки,— сказал он, входя в столовую, — весна пришла, настоящая весна. Сейчас иду из больницы, поглядел на поле за Казачью слободу, а бугор-то местами голый. Ночью дождичек был, снег с бугров и согнало.

Серёжа тоже подтвердил: из окон их школы видны за городом, в полях, первые проталины.

— Ох и досталось Борьке Денисову из-за этих проталин! — засмеялся он.

— Досталось? А при чём тут проталины? — заинтересовалась мама, садясь за стол и наливая Серёже суп.

Я сразу насторожился. Рассказы Серёжи про школу, где он учится и где с осени и мне предстоит учиться, меня живо интересуют. Это не казённая школа, а частный пансион. Его организовала у себя на дому одна важная и сердитая старуха — Елизавета Александровна Соколова, или, как её потихоньку зовут ребята, «бабка Лизиха». Она сама там и учит, готовит мальчиков и девочек в разные классы гимназии. О том, как Лизиха учит, я довольно уже наслушался от Серёжи. И всё-таки каждый новый рассказ слушаю с каким-то жутким замиранием сердца.

А Серёжа, уплетая суп, весело говорит:

— Отсадила Елизавета Александровна Борьку за отдельный стол, чтобы он французские слова учил, не отвлекался. А стол у самого окна. Вот Борька в окно глядит, ничего не учит, одно и то же слово твердит: «Сор-тир — выходить, сор-тир — выходить...» Громко твердит, нараспев, на разные голоса выводит. Мы тоже каждый своё во весь голос зубрим. Галдёж такой стоит, ничего не поймёшь. Но Елизавета Александровна Борькино «пение» всё-таки услышала. Глядим: встаёт и потихонечку к Борьке подкрадывается. Хватить его за ухо, он так и подскочил: «За что вы меня?» — «За ухо, негодяй». — «Я ж ничего не сделал». — «За это и деру, что ничего не делаешь. Покажи, сколько слов выучил». А он, а он... — Тут Серёжа не выдержал и прыснул со смеху. — А он, он за два часа только одно это слово и осилил. Елизавета Александровна как начала его линейкой обхаживать. Кричит: «На кого ты всё время в окно глаза таращил?!» Борька отвечает: «На проталинки». — «Ах, на проталинки! Так вот тебе, вот тебе!..» — И Серёжа снова залился весёлым смехом.

Смеялись и Михалыч и мама.

— Ох, негодник, негодник! — повторял сквозь смех Михалыч. — Выдрали, говоришь, как Сидорову козу, и поделом. Зато уж он теперь на всю жизнь эти проталинки запомнит.

Все смеялись, только одному мне было совсем не до смеха. В голове мелькали страшные мысли: а что, если и меня свирепая бабка Лизиха будет вот так же драть? Какой ужас!

ШКОЛА БАБКИ ЛИЗИХИ

Мама с Михалычем очень часто говорили между собой про бабку Лизиху. К их разговорам я тоже всегда со страхом и с любопытством прислушивался.

— И охота Елизавете Александровне на старость лет с ребятами возиться! — удивлялся Михалыч. — Просто понять не могу, зачем ей это нужно? Неужто ещё денег мало?

— При чём тут деньги? — возражала мама. — Просто не может жить без учения, без ребят. Это её страсть, как ты понять не можешь! Обожает ребят, вот и всё.

— М-да-а! Обожает! — недоверчиво усмехался Михалыч. — Обожает, а линейкой лупит, хорошо обожание! Ну да, впрочем, в этих делах я не знаток.

— Нужно её день и ночь благодарить, что ребят у нас учит. Гимназии в городе нет, реального нет, что без неё стали бы делать? — с жаром возражала мама.

— Да, да, конечно, — тут же охотно соглашался Михалыч. — Конечно, она большое дело, полезное дело делает. — Он умолкал и потом, лукаво улыбаясь, добавлял: — А линейкой поучить их, негодников, совсем не мешает. Дома этого кушанья они никогда не отвеживают, пусть хоть в школе попробуют, как это вкусно.

Так, слушая рассказы Серёжи и разговоры мамы с Михалычем, я уже заранее готовился к той страшной участи, которая меня с этой осени неизбежно ждала.

Но что же на самом деле представляла собой школа Елизаветы Александровны Соколовой? Что представляла собой эта таинственная, грозная бабка Лизиха? Откуда она взялась? Обо всём этом я должен обязательно рассказать. Ведь в этой школе мне пришлось потом учиться не один год. С этой школой неразрывно связано всё моё раннее детство.

...В маленьких городках в старые годы, ещё до революции, всегда бывало одно и то же: вся торговля находилась в руках какой-нибудь известной во всём уезде купеческой фамилии.

Так было и в Черни. У нас в городке торговлю держали купцы Соколовы. Они торговали галантереей, обувью, продуктами... вообще всем, в чём только случалась нужда у местного населения. Самый старший и самый богатый из Соколовых — Иван Андреевич имел магазин красных товаров (то есть

материи). Помещался он в центре города на Соборной площади.

Зайдёшь, бывало, туда вместе с мамой. У входа низким поклоном встречает седой благообразный старичок. Белые как снег волосы по старинке подстрижены в скобку, густо смазаны лампадным маслом. Белые усы, белая округлая борода. Одет во что-то чёрное, долгополое, наглухо застёгнутое до самого горла.

Во всей наружности так и сквозит желание каждому угодить. Посмотришь



на этого тихого, услужливого старичка и никак не подумаешь, что он и есть владелец этого лучшего в городе магазина, что все эти нарядные, франтоватые приказчики, которые лихо отмеривают аршинами разную материю и с треском рвут ситец и полотно, что все они исподтишка с робостью посматривают на своего грозного хозяина и трепещут от одного его недовольного взгляда.

Иван Андреевич Соколов был важное, уважаемое лицо в нашем городе — не только самый богатый купец, но ещё и церковный староста в соборе. Там по субботам и воскресеньям он стоял за высокой конторкой и продавал восковые свечи.

Иван Андреевич был известен всем своим благочестием. При добровольной подписке на новый колокол для собора первый подписал своё пожертвование — сто рублей.

— Ох уж этот мне святой угодник! — посмеиваясь, говорила мама. — Пришли к нему в лавку сатину на наволочки купить, уж он и о здоровье справился, и долгих лет жизни пожелал, и тут же на четверть аршина обмерил. Прямо гляди да гляди за ним, даром что старый. И куда ему столько денег? Ну, хоть бы на курорт за границу ездил, а то ведь из лавки в церковь, из церкви домой, и больше никуда.

Не меньшей, а, пожалуй, даже большей известностью, чем сам Иван Андреевич, пользовалась у нас в городке, да и во всём уезде, его жена Елизавета Александровна. Про них обоих частенько говорили: «Весь свет обойди, а второй такой пары не сыщешь». И вот теперь, спустя полвека, я тоже повторяю эти слова.

Иван Андреевич был пригожий лицом старичок, чистенький, аккуратный, смышлёный от природы, но почти неграмотный, что, впрочем, не помешало ему приобрести большой капитал. Единственной его целью в жизни была торговля и нажива денег. А душу свою он отводил по праздникам в соборе, где продавал свечи и замаливал грехи.

Елизавета Александровна ни в чём не походила на своего супруга. Она была на редкость страшна, неряшлива в одежде и больше всего напоминала огромную, разжиревшую и человекообразную обезьяну. В противоположность своему полуграмотному мужу, она была хорошо образованна, когда-то окончила Смольный институт и свободно владела несколькими языками. Цель её жизни заключалась в том, чтобы учить детей. Она обучала всем предметам мальчиков и девочек, начиная с первого и до пятого класса гимназии.

Ну, а как именно обучала, об этом я хорошо узнал, когда сам попал к ней в пансион.

Что же сближало между собой этих двух столь разных людей, проживших вместе долгую жизнь? У них были две общие склонности: ненасытная страсть к деньгам и трогательная любовь друг к другу. Эта любовь особенно заметно

проявлялась у Елизаветы Александровны. Впоследствии, учась в её школе, я мог почти ежедневно наблюдать одну и ту же сценку.

Под вечер Иван Андреевич возвращался из лавки домой очень усталый. Заслышав ещё в передней его шаги, Елизавета Александровна сразу будто оживала.

— Дедушка, не достать ли вам мягкие туфли? — заботливо говорила она, с трудом поднимая с кресла своё грузное тело и спеша навстречу мужу.

— Благодарствую вас, Елизавета Александровна. Не извольте беспокоиться, — обычно отвечал он и, окинув суровым взглядом столовую, превращённую в школьный класс, спешил к себе в спальню.

Воображаю, с каким наслаждением он выкинул бы вон из своего дома все эти географии, истории, грамматики, которых сам никогда не изучал; выкинул бы вместе с мальчишками и девчонками, отнимавшими у него немногие часы досуга.

Но что бы тогда стала делать одна-одинёшенька без этих учеников его престарелая взбалмошная супруга? А насколько уменьшился бы их ежемесячный доход? Ведь с каждого ученика Елизавета Александровна брала плату по десять рублей в месяц, а учеников бывало по два, а то и по три десятка. И вот старик скрепя сердце мирился с невероятной сумятицей, которую вносили в его дом и в его жизнь все эти глубоко ненавистные ему мальчишки и девчонки.

Так и доживали свой век самые старые представители купеческого рода Соколовых. Они жили в собственном двухэтажном доме на главной, или, иначе, Соборной, улице. Их дом был известен всему нашему городку, всему Чернскому уезду.

ПРО ТЕХ, КОМУ Я ЗАВИДОВАЛ

Василий Андреевич был родной брат мужа бабки Лизихи — Ивана Андреевича Соколова, того самого богатого купца, который имел магазин на Соборной площади и сам в нём торговал.

Когда-то, в молодости, Василий Андреевич тоже имел собственную торговлю, но давно уже бросил этим заниматься и жил на доходы со своего капитала.

Ни он, ни его жена Аделаида Александровна вообще ничем не занимались. Жили они, как сами любили говорить, в собственное удовольствие. А удовольствие заключалось в том, что Василий Андреевич осенью и зимой охотился с гончими на зайцев, а остальное время проводил, сидя у окна, раскладывая пасьянс и разглядывая редких прохожих. Вечером он обычно отправлялся в клуб поиграть в карты «по маленькой», чтобы много не проиграть. Вообще Василий Андреевич на купца ничуть не походил: стригся

бобриком, брил бороду, оставляя только усы. Одевался в пиджак, брюки навыпуск и штиблеты. Курил папиросы, в церковь ходил только раз в году — к заутрене и то, так сказать, компании ради, да и компанию водил не с купечеством, а с местной интеллигенцией.

Его жену Аделаиду Александровну все за глаза звали «Сорока». Она была высокая, тощая, очень вертлявая, всегда куда-то спешила и говорила без умолку. Если пошла по городу какая-нибудь сплетня, можно было не сомневаться, что это Сорокино дельце. Знать сплетни и новости всего городка, а главное, самой их распускать — без этого она и дня не могла прожить.

И всё-таки дом Василия Андреевича Соколова считался самым гостеприимным домом в Черни. Особенно часто заглядывали к Василию Андреевичу любители охоты с гончими. Ведь его гончие собаки были, бесспорно, самые лучшие не только в городе, но и во всём уезде.

Нередко заходили к Василию Андреевичу и мы с Михалычем.

Помню, с каким наслаждением слушал я их разговор о том, как собаки нашли зайца или лису и погнали зверя по перелескам, как он потом выскочил прямо на охотника. Тот — бац, бац, да мимо. Зверь дальше, собаки за ним...

В эти минуты я забывал всё на свете. Перед глазами, как наяву, вставали лесные поляны, все в белом снегу. По ним скакали зайцы, неслась, распушив хвост

трубой, огненно-рыжая лисица... «О, как чудесно должно быть всё это на самом деле! — думал я. — Поскорее бы вырасти, приобрести ружьё и вместе с Михалычем, с Василием Андреевичем тоже ездить на охоту». Это представлялось мне самым большим и почти несбыточным счастьем.

Но такое счастье становилось ещё заманчивее и даже как-то ощутимее, ближе, когда зимой на долгожданные каникулы к Василию Андреевичу приезжал из Москвы сын Кока.

Он казался мне верхом всякого совершенства. Во-первых, Кока был лет на семь, на восемь старше меня. Это был уж не мальчик, а молодой человек. Одна его ловкая, стройная фигура в чёрном мундире лицеиста с золотыми пуговицами уже приводила меня в восторг. Кока открыто курил папиросы и считался первым кавалером в Черни. Он



отлично танцевал, был находчив, остроумен. Я много раз слышал, как взрослые, смеясь, говорили:

— Ну, Кока приехал, теперь все наши барышни с ума посойдут.

Правда, подобные разговоры меня совсем не интересовали: какие там барышни и почему они должны теперь сойти с ума? Я понимал одно, что, раз взрослые, говоря о таких страшных вещах, смеются, значит, барышням не угрожает никакая опасность, а следовательно, о них и думать не стоит.

В тысячи раз интереснее для меня было совсем другое: частенько зимой, выбежав ранним утром на Никольскую улицу, я оказывался свидетелем чудесного зрелища. Вдруг возле дома Соколовых широко распахивались ворота, и из них на вороной лошади, запряжённой в розвальни, выезжал Василий Андреевич с Кокой. Оба в меховых куртках, у обоих за плечами ружья, и тут же, в санях, нетерпеливо повизгивали гончие собаки.

— Вишь, Соколов с сыном на охоту подались! — скажет кто-нибудь из случайных прохожих.

А я стою, онемев от восторга, и ещё долго смотрю в конец улицы, где давно уже скрылись за поворотом сани с охотниками.

А вечером мы с Михалычем отправляемся к Соколовым — узнать о результатах охоты.

Василий Андреевич, Кока и Аделаида Александровна весёлые, оживлённые сидят за самоваром. Тут же обязательно есть и ещё кто-нибудь из местных любителей охоты с гончими.

— А, самый главный охотник пожаловал! — шутливо встречает меня Василий Андреевич. — Ну, идём, идём со мной, погляди-ка, полюбуйся!

Он берёт лампу и ведёт меня в бревенчатые сени. Мы входим туда, и я невольно вздрагиваю от восторга: на вбитых в стену гвоздях висят привезённые с охоты зайцы. Они висят вниз головой, свесившись до самого пола. Тут же, в уголке, стоят ещё не вычищенные ружья. От зайцев и от ружей в сенях удивительно хорошо пахнет. Я даже не могу сказать, чем именно: не то порохом, не то шерстью. Но всё равно — это пахнет охотой!

Я трогаю, глажу густую, мягкую шкурку зверьков, даже нюхаю их. Потом мы возвращаемся в столовую. И начинаются рассказы о том, как гоняли собаки и кто застрелил какого зверя.

Чаще всего героем охоты является не Василий Андреевич, а Кока. Он и проворней отца, да и глаза помоложе: выстрелит — не промахнётся.

Как я ему завидовал, как бы хотел я тогда очутиться на его месте!

Что он ни делал, мне всё казалось прекрасным, и я в чём только мог старался ему подражать: так же ходить небольшими упругими шажками, так же склонять голову набочок, даже смеяться пытался так же, как он: мелко и дробно, щуря при этом глаза.

Один раз мама недовольно сказала:

— Что ты, Юра, так странно смеёшься, прямо как Кока Соколов. Очень нехорошо!

Милая мама! Она и не подозревала, до чего приятно мне было слышать эти её слова.

Просторный, красивый дом на углу Соборной и Никольской улиц. Как манил он меня к себе в годы моего детства! Там было всё, о чём я мог только мечтать. Зимой — собаки, ружья, охота, а летом — перепелиные сети, удочки... А сам хозяин — Василий Андреевич! Всегда свободный, готовый ехать и в лес и на речку. Но главное — юный обладатель всех этих сокровищ, ловкий, удалой, беззаботно весёлый Кока. Как завидовал я жителям этого дома!

Прошло немало лет, прежде чем я разобрался и понял, что завидовать там было вовсе и нечему. На деле Василий Андреевич жил скучной, бессмысленной жизнью, ничего ровно не делал, ничем, кроме зайцев, не интересовался. А сам Кока — кумир моих детских лет, — он был просто лодырь и недоучка.

На поверку у этих людей только и было хорошего, что оба они — и отец и сын — по-настоящему, всей душой любили охоту.

Охота! Беззаветная страсть всей моей жизни. В какие только края не заносила она меня потом, с какими только людьми с самых детских лет не сталкивалась, не сводила!

ТАИНСТВЕННАЯ ПОСЫЛКА

Мы с Серёжей копали во дворе канавки: отводили от погреба талую воду. Михалыч сидел тут же, на лавочке, покуривал и наблюдал за нашей работой.

Неожиданно отворилась калитка, и во двор вошёл почтальон. Он передал Михалычу какую-то бумажку.

Тот надел очки, прочёл и многозначительно взглянул на нас:

— Так-то, друзья, надо на почту ехать, получать кое-что.

— Что получать, откуда? — заинтересовались мы.

Но Михалыч не торопился удовлетворить наше любопытство.

— Привезут, тогда всё как следует разберём, разглядим.

Он сказал больничному сторожу Дмитрию, чтобы тот запряг лошадь, съездил на почту и привёз, что дадут по этой бумажке.

Конечно, после такой новости ни о каком гулянье и думать уже не хотелось. Мы пошли вслед за Михалычем в дом, надеясь хоть что-нибудь выпытать, но, увы, бесполезно — Михалыч только посмеивался.

Прошла, кажется, целая вечность, прежде чем Дмитрий вернулся с почты. На санях стояло что-то большое, обитое со всех сторон досками.

Непонятный предмет внесли в кабинет Михалыча и начали распаковывать, осторожно выдёргивать гвозди, освобождать от досок.

Пришла и мама. Она тоже не знала, что такое приехало к нам из Москвы прямо из магазина. Но мамино любопытство смешивалось с явной тревогой.

— Надеюсь, это не очень дорогая затея? — спрашивала она.

Михалыч молчал. Вид у него был таинственный, лукавый и немножко смущённый. В эту минуту он казался мне таким понятным, близким. Ничего, что он совсем седой... А вот напроказил, как мы, ребята, теперь отвечаю перед мамой.

Наконец упаковку сняли. И перед нами предстал чудесный, совсем новенький, пахнущий краской деревянный верстак. Его Михалыч выписал из Москвы из магазина «Роберт и Кенц».

Вместе с верстаком был прислан целый ящик различных столярных инструментов. Чего-чего там только не было: пила, топор, рубанки, фуганки, долота, стамески, свёрла, угольники!.. Каждую вещь мы бережно разворачивали и, полюбовавшись, тут же ставили на полку рядом с книгами.

Узнав, что верстак стоит недорого, мама вздохнула с явным облегчением и тоже заинтересовалась присланными инструментами.

— Теперь полку для них заказать нужно, — сказала она. — С книгами на одной полке нехорошо.

— То есть зачем это заказывать? — удивился Михалыч. — А верстак, а инструменты на что? Всё сами сделаем.

— Ну, тем лучше, — согласилась мама, недоверчиво улыбнувшись.

— И улыбаться нечего. Вот увидишь, сегодня же примемся.

Такое решение Серёже и мне пришлось как раз по душе.

На той же лошади съездили на дровяной склад и упросили хозяина, несмотря на воскресный день, продать доски. Не прошло и часу, а уж кабинет Михалыча превратился в настоящую столярную мастерскую.

Возле стены на полу были навалены доски. Целая груда курчавых стружек уже белела у верстака. В комнате пахло смолой и свежим деревом.

Михалыч, раскрасневшись от работы, в одной сорочке, без пиджака, пилил и строгал без передышки. А мы с Серёжей так и носились вокруг него, стараясь помочь хоть чем-нибудь: бросались наперегонки, чтобы подать молоток, рубанок или ещё какой-либо инструмент. Работа кипела до самого вечера.

Но только вот что странно: результат её получился совсем невелик, и уж, во всяком случае, не таков, какого мы ожидали. В столярном искусстве Михалыч был, как видно, не очень сведущ. Пила, топор и рубанок его никак не слушались. В результате к концу рабочего дня все привезённые доски оказались распилены и обстроганы, но как-то не так, как это требовалось для дела. Одни получились длиннее, чем нужно, другие короче, и все почему-то косили в разные стороны.

Но Михалыч не унывал. Когда весь материал оказался израсходован, он сел на стул, закурил и, весело подмигнув нам, сказал:

— Поработали, братцы, славно. Теперь и отдохнуть не грех.

Пришла мама, взглянула на кривые, косые обрезки досок и сокрушённо покачала головой:

— Я так и знала, что этим всё кончится!

— То есть что ты знала? Чем кончится? — возмутился Михалыч. — В основном всё сделано. Остаётся доделать самые пустяки: кое-что подогнать, поправить. На это я и время тратить не буду, отдам столяру — он мигом доделает.



— Вот именно «доделает»! — вздохнула мама и, улыбнувшись, добавила: — Ну, работники, пора кончать, идите ужинать.

— Резонное предложение, — обрадовался Михалыч, — действительно, пора закусить.

На этом, увы, и закончился наш первый столярный опыт. Полку для инструментов пришлось заказать в мастерской. Её сделали из новых досок, так как наши оказались совсем испорченными. Но Михалыч и мы с Серёжей не унывали. «Велика важность, что полка не вышла, зато из этих досок можно отлично сделать что-нибудь другое, поменьше — например, лопаточки для разгребания снега. Ими же можно будет и выколачивать пыль из зимней одежды во время её просушки».

Однако такая затея Михалычу показалась слишком простой и неинтересной.

— Не это нам надо сделать, — сказал он однажды. — Я давно уже подумываю: не начать ли нам собирать коллекцию бабочек и жуков. А для этого нужны

расправилки. На них мы будем расправлять и высушивать насекомых. Какого вы мнения на сей счёт?

Конечно, Серёжа и я сразу одобрили этот план. И вот из больших длинных досок после долгой и тщательной их обработки выросла целая груда обрезков, стружек, опилок и, наконец, появились на свет три тоненькие дощечки с желобками посередине — расправилки для насекомых.

Так покупка столярного верстака и работа на нём неожиданно для нас самих привела Михалыча к идее заняться сбором бабочек и жуков.

ЗАВЕТНЫЙ КОРАБЛИК

Снег тает прямо на глазах. На улице уже обнажилась булыжная мостовая, и по ней загремели колёса телег.

На высохшем бугорке, возле церкви Николы, ребята играют в бабки. Редко-редко кто ещё приедет из дальней деревни не на телеге, а в розвальнях, едет обочиной по ручьям, по навозу, еле-еле тащится.

В такие дни мне не сидится дома. С самого утра я одеваюсь и убегаю на улицу.

Наш крохотный городок весь залит весенним солнцем. Блестят окошки, крыши домов; весь городок выглядит таким нарядным, весёлым!

Зато под ногами сплошная грязь, сплошной кисель из тающего снега — ни пройти, ни проехать.

Взрослые сердятся, ругают весну, ждут не дождутся, когда же сойдёт весь снег и земля просохнет. Но для нас, ребяташек, это самое хорошее время.

Только, бывало, выбежишь из дома во двор, так и пахнёт в лицо свежим весенним духом. И какой это расчудесный дух: пахнет тающим снегом, размокшей землёй, конским навозцем и сохнущими тёплыми крышами!

От одного этого духа уже замирает сердце. Так бы и полетел над землёй прочь из города, туда, где пестреют проталинами оживающие поля. Но лететь над землёй в тёплой ватной куртке, в глубоких резиновых калошах, да ещё не имея крыльев, увы, никак невозможно. Над землёй — невозможно, зато пролететь по земле, да так пролететь, чтобы брызги кругом выше головы взвивались, это не только возможно, но просто необходимо.

Пускай и штаны, и куртка, и даже шапка на голове — всё будет мокрым-мокро, пускай дома под вечер мама всплеснёт руками и только ахнет:

— Ну и хорош, хоть выжми! — и сурово добавит: — Завтра весь день будешь дома сидеть!

Пускай случится всё это, но только потом, под вечер. А сейчас, пока так ярко светит солнце, пока кругом по канавкам журчат и булькают ручейки, времени терять нечего. Скорее за дело!

Во всех карманах уже заранее напихана белая бумага. Остаётся только аккуратно оторвать от неё четырёхугольный листочек, перегнуть его несколько раз по строго продуманному плану, потом взять за уголки... раз, два... потянул — вот и получился белый кораблик. Пустишь его на воду и любишься, как мутные волны весеннего ручейка подхватят твоё судёнышко, подхватят и понесут.

Ой, сколько радости! Бежишь рядом по грязи, стараешься не отстать от кораблика. В руках длинная палка. Ею надо вовремя ловко подправить судно, чтобы оно не наскочило на мель или на каменную скалу. Тут уж не зевай, смотри в оба, ведь ты одновременно и рулевой и капитан. Не усмотрел — конец: судёнышко опрокинулось, его захлестнула волна. Теперь ты уже не капитан, а спасательная команда. Концом той же палки подхватываешь потерпевший аварию корабль и ловко выбрасываешь на берег. Правда, восстановить судно невозможно — его корпус совсем размок, раскис, но это и неважно. Важно, что корабль спасён, благополучно доставлен на берег. А взамен его через минуту будет готов уже другой. И снова спуск судна на воду, стремительный бег по волнам, подводные рифы, крушение. И вновь спасательная команда, не щадя сил и собственного обмундирования, бросается на помощь погибающим.

Ну разве при такой спешной работе есть время думать о каких-то штанах, башмаках, калошах?! А вот мама этого никак понять не хочет и грозит, пока не подсохнут улицы, совсем из дому не выпускать. Впрочем, это только одни угрозы. За вечер, за ночь одежда высохнет и даже нагреется у жаркой печи. А мама за это же время немножко остынет от гнева и утром снова пустит гулять. Правда, перед гуляньем она берёт с меня слово, что я даже близко к ручьям и лужам не подойду.

Слово, конечно, даёшь и даже веришь сам, что его не нарушишь. Но как удержаться перед соблазном?

Сначала решаешь пустить только один кораблик и полюбоваться на него только издали. Потом — ещё один. А потом незаметно для себя увлечёшься и бултых по колено в воду! Ну тут уже всё равно, терять теперь больше нечего, да и, как говорится в пословице: «На миру и смерть красна!» Ведь все твои товарищи такие же мокрые, со всех хоть лопатой грязь скреби.

Весело пускать по весенним ручьям белые бумажные кораблики, но особенно интересно бывало удрать подальше от дома, на нижнюю улицу, к самой речке. Здесь, внизу, уже не ручьи, а настоящие потоки. Они не журчат, а прямо ревут, врываясь с брызгами, с пеной в широкий разлив реки.

Хорошо прибежать на нижнюю улицу, поглазеть на разлив, а потом запустить свой кораблик в бурный поток, несущийся в реку. Одно только плохо: ни один кораблик до реки не доплывёт, сразу его потоком подхватит,

перевернёт, захлестнёт волной; вот и пропал, даже спасательная команда помочь не успеет.

Бывало, носимся мы, ребяташки, по берегу, крик, визг:

— Ой, утонул, спасите!

Палки в ручей, шарим по дну. Нет, не спасти, унесло вместе со щепками, с разным мусором прямо в реку.

Только один раз, помню, совсем иначе вышло. Был у меня в кармане листочек бумаги поплотнее других, вроде восковки. «Дай-ка, — думаю, — из него кораблик сделаю». И хочется сделать, и жалко такой материал испортить, всё равно ведь сразу кораблик водой зальёт. Подумал, подумал и всё же решил — сделаю.

Хороший получился корабль: плотный, крепкий такой. Даже жаль его на верную гибель пускать, ну да уж будь что будет!

Пустил. Гляжу: подхватила вода мой кораблик и понесла. Кругом волны кипят, подбрасывают его, из стороны в сторону кидают. А он и не тонет, ему хоть бы что! Такой крепкий, устойчивый, только покачивается и плывёт всё дальше и дальше.

Я рядом с ним со всех ног бегу, и другие ребята за мной поспевают. Но вот и конец — бежать дальше некуда, дальше река. В этом месте поток с глухим рёвом вниз обрывается.

«Пропал мой кораблик!.. Нет, не пропал!» Перелетел на волне через страшное место и уже в реке.

Гляжу на него и глазам не верю. Поплыл мой кораблик в речную даль. Вот он всё меньше, меньше, вот уже крохотной белой точкой мелькнул и скрылся.

Ребята вокруг шумят, кричат:

— Юркин корабль не потонул, в реку уплыл! Может, до самого моря теперь доберётся!

Товарищи галдят, на меня с завистью, с уважением поглядывают. Я — герой, должен радоваться, гордиться своим успехом. А мне, помню, вдруг сделалось совсем не весело, стало жалко, что мой белый кораблик уплыл и больше уже никогда ко мне не вернётся.

Отошёл я тогда от ребят в сторонку и побрёл один вдоль реки. Иду, а сам на широкою водную гладь посматриваю — не видать ли где моего кораблика. Нет, нигде не видно. Значит, совсем уплыл.

Так я в тот раз к ребятам и не вернулся, а прямо пошёл домой.

Мама даже удивилась:

— Что это ты так рано, и даже сухой совсем? Почему такой невесёлый? Случилось что-нибудь?

Я только кивнул головой.

Мама забеспокоилась:

— Что, что случилось?

А я хотел рассказать и не смог, и вдруг в слёзы, только твержу одно:

— Кораблик, кораблик уплыл, совсем уплыл...

Мама сразу же успокоилась и даже рассмеялась:

— Вот так несчастье! Ещё сделаешь. Я тебе хорошей бумаги дам. Ну, успокойся. Стоит ли расстраиваться из-за какой-то бумажки?

Не поняла меня мама: не бумаги мне было жаль. Я знал, что мама мне ещё лучше даст; из неё я наделаю много-много корабликов. Но только того, самого первого, который в речку, а может, даже в море уплыл, никогда не увижу.

Кораблик-герой! Пусть он был сделан из листочка самой простой бумаги. Но ведь он первым преодолел все трудности, все преграды. И вот теперь он уплыл от меня, от своего капитана, и больше уже не вернётся. И от одной этой мысли я вновь был готов горько заплакать.

В ВЕСЕННЕМ ЛЕСУ

Середина апреля. Снег в полях уже весь растаял и только белеет кое-где по овражкам. Иной раз в полдень солнышко так пригреет, что становится жарко, совсем по-летнему.

В саду летают бабочки: пёстренькие крапивницы и жёлтые, как осенний листок, лимонницы.

Мы с Михалычем уже поймали по такой бабочке, усыпили эфиром и,

расправив им крылышки, оставили посушить. Это первые сборы нашей будущей коллекции.

По вечерам мы с Михалычем заняты важным делом — набиваем патроны для охоты на вальдшнепов. Трудимся только вдвоём — Серёжи нет, он уехал на весенние каникулы к своей маме.

Но зато я работаю за двоих: помогаю Михалычу насыпать дробь в патроны и затыкать их кругленькими картонными затычками. Они называются пыжи.

Когда мама проходит мимо нас, она неодобрительно покачивает головой:

— Смотрите, как бы всё это не взорвалось.

— Мадам, ну что вы только говорите?



— удивляется Михалыч. — Мы же дробью патроны заряжаем. Разве дробь может взорваться?!

— Всё может случиться, — уклончиво отвечает мама. — Вот упадёт на пол и взорвётся.

Тогда, чтобы доказать неосновательность подобных опасений, я вскакиваю со стула, бросаю на пол несколько дробинок и начинаю на них приплясывать:

— Вот видишь, ничего и не взрывается!

Но мама только отмахивается:

— Ну вас совсем, страшно глядеть!

Она поспешно уходит, а мы продолжаем прерванное занятие.

В эти весенние дни Михалыч не только готовился к охоте — он уже раза два побывал на ней, правда пока без результата. Говорит: ещё рано, холодновато в лесу, и вальдшнепы плохо тянут.

Но вот как-то днём небо заволокли тучи, блеснула молния, и над нашим домом треснул, оглушительно загрохотал первый раскат грома.

Где-то хлопнула дверь, по комнате пробежал холодок, послышался голос мамы:

— Затворяйте фортки, гроза!

В доме сразу потемнело. А сквозь стёкла окна я увидел, как голые вершины берёз в саду будто покосились все в одну сторону и затрепетали ветвями. Вспышка молнии, ещё удар грома, и вот уже крупные капли дождя забарабанили по крыше, по стёклам окон.

В это время входная дверь широко распахнулась, в переднюю вошёл Михалыч. На его шляпе, на пальто тёмными кружками виднелись следы дождя, на носу сверкала крупная капля, а всё лицо так и сияло.

— Поздравляю с первой грозой! — объявил он. — Вот теперь сразу потеплеет. — Он многозначительно взглянул на меня. — Ну-с, молодой человек, если к вечеру дождь утихнет, не проехать ли нам с вами в лес, не поглядеть ли, как там наши долгоносики поживают? После тёплого дождичка они, наверное, хорошо потянут!

Я с мольбой и надеждой взглянул на маму: позволит или нет.

— Да уж поезжайте, что с вами поделаешь!

В ответ я издал такой торжествующий крик, что толстый кот Иваныч от испуга спрыгнул с дивана и стрелой взлетел на шкаф.

«Только бы дождик не помешал!» — волновался я.

Но не прошло и получаса, как ливень кончился, тяжёлые тучи свалились за вершины сада, выглянуло солнце и тёплая мокрая земля во дворе и в саду будто задымилась.

После обеда начались сборы на охоту. Я оделся в короткую тёплую куртку и с грустью стал натягивать на башмаки глубокие калоши. «Ну какой же охотник ходит в калошах!»

— А вот это от меня подарок! — неожиданно сказала мама, входя в комнату и протягивая мне настоящие новенькие сапоги.

У меня даже в глазах потемнело. Я схватил сапоги, не помню уж, поблагодарил ли за них. Но что могут прибавить слова там, где и так всё понятно без всяких слов.

Короткая курточка и брюки, заправленные в сапоги, — это уже не шутка!

Я сразу почувствовал себя настоящим охотником. Очень хотелось проскакать козлом, но никак невозможно. Я сунул руки в карманы и степенно прошёлся по комнате, с наслаждением принюхиваясь к кислотовому запаху свежей яловичной кожи, который, как аромат духов, струился от моих новых сапог.

Я прохаживался взад и вперёд, а мама стояла в уголке и с улыбкой поглядывала на меня. Трудно сказать, кто в эту минуту из нас двоих был счастливее.

Вдруг за дверью послышались уверенные шаги. Вошёл Михалыч, уже готовый в путь, в ватной куртке, в сапогах и к тому же ещё с ружьём, с патронташем, с сумкой для будущей дичи.

— Э-э, брат, — воскликнул он, взглянув на мои сапоги, — да ты совсем по-настоящему, по-охотничьему! Вот это дело! Ну, пошли, пошли, нечего зря время тратить.

Мы вышли на крыльцо. И тут совсем неожиданно Михалыч снял с плеча ружьё и подал мне:

— Подержи-ка, а то мешает править.

О счастье! Я не только в сапогах, но и с настоящим двуствольным ружьём. Сейчас поедем по улице. Наверное, все будут смотреть на меня.

Мы уселись в шарабанчик и покатали.

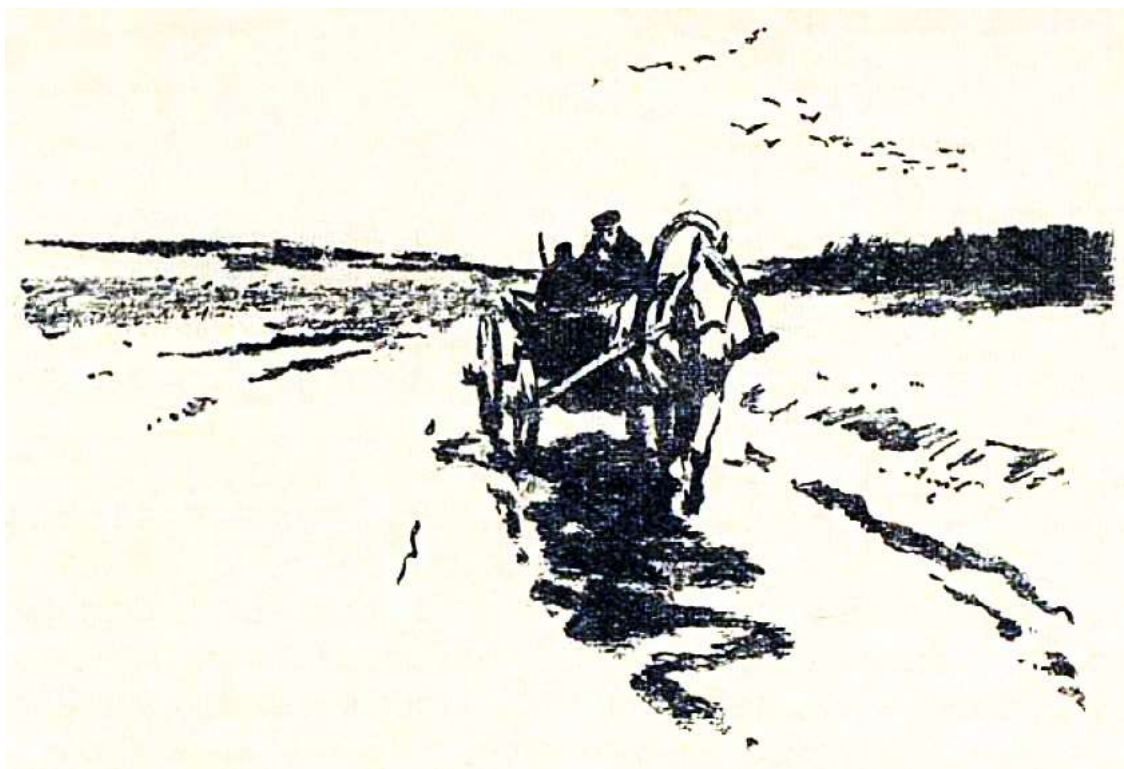
В этом году, после зимы, я ещё первый раз ехал не на санях, а на колёсах. Как весело тарыхтят они по неровной булыжной мостовой! Михалыч правит, а я сижу рядом и держу в руках ружьё, держу так, чтобы его было как можно лучше отовсюду видно. Пока проезжаем по городу, на каждом шагу попадаются знакомые. Мы со всеми здороваемся, и все они, конечно, с уважением, а может быть, и с завистью поглядывают на выставленный мной из шарабана сапог и на моё ружьё. Несомненно, они уверены, что это именно моё ружьё, а Михалычево лежит тут же, где-нибудь на сиденье. Но вот городок остался позади, и мы шибко покатали по ровному, гладкому шоссе.

Кругом поля. Молодые озими уже очнулись от зимнего сна, стоят ровные, зелёные, местами даже загустели. Тут и там по яркой, сочной зелени разгули-

вают грачи или летают над полем, весело покрикивая: «Гра-гра-гра!» Михалыч натягивает вожжи, останавливает лошадь, чтобы достать папиросу и закурить.

— Слышишь, Юра? — говорит он, к чему-то прислушиваясь.

Я сразу понимаю, о чём идёт речь. Откуда-то с высоты доносятся неумолкаемые песни жаворонков. Они звенят и справа и слева, звучат отовсюду. Всё небо, весь воздух наполнен ими. А самих певцов сразу и не заметишь. Да вон, вон один из них будто повис на невидимой нитке и дрожит высоко-высоко над полем.



Чиркнула спичка. Приятный дымок от папиросы пахнул мне в лицо. Мы поехали дальше.

— Михалыч, это кто там летает? — спросил я, указывая на двух птиц с галку величиной.

У них были чёрные крылья и чёрная голова, а брюшко совсем белое. Они забавно гонялись в воздухе друг за другом, кувыркались на лету, будто играя, и громко, хриповатыми голосами покрикивали. Казалось, они спрашивали друг друга: «Чьи вы, чьи вы?»

— Неужели не узнаёшь? — удивился Михалыч. — Да это же чибисы. Я в прошлом году такого с охоты привёз.

— Помню, помню, — обрадовался я, — красивый, с хохлом!

— А как вкусен был! — подмигнул Михалыч. — Помнишь, поджаренный, со сметанкой!

Об этом я, конечно, давно забыл, но, чтобы не огорчать Михалыча, утвердительно кивнул головой.

Миновали поле. Вот и лес впереди. Он не тянется сплошным массивом, а расползается отдельными отвертками по склонам бугров. В стороне от шоссе,

на самой опушке, виднеется деревенька. Михалыч сворачивает на просёлок, и наши колёса мягко катятся по не обсохшей ещё колее. Копыта лошади громко чмокают по грязи, серые грязевые лепёшки летят прямо в лицо.

Подъезжаем к деревеньке и у самого крайнего домика оставляем лошадь.

«Ах, как не хочется отдавать Михалычу ружьё! Оно хоть и очень тяжёлое, но я рад бы нести ещё втрое тяжелее, только бы не расставаться с ним».

Вошли в лес. Молодые осинки и берёзки спускаются здесь по косогору к широкой луговине. Среди деревьев идёт дорога. По ней зимой возили дрова, а теперь колеи до краёв полны талой водой — такая грязь, что не проедешь ни на санях, ни на телеге. Зато рядом, по обочине, вьётся совсем сухая пешеходная тропка. По ней мы и углубляемся в лес.

Вот где по-настоящему чувствуется весна! Ветви осин кажутся пушистыми от длинных серёжек, похожих на серых мохнатых гусениц, и вершины молодых берёз тоже как будто загустели; они стали совсем шоколадного цвета. Посмотришь вблизи на берёзовую веточку, а она вся в крупных надувшихся почках. Ещё день, другой — почки лопнут, и из них покажутся ярко-зелёные язычки молодых листьев.

Но пока ещё ни на берёзах, ни на осинах листьев нет.

Это самое хорошее время в лесу. Он ещё не зазеленел, стоит такой прозрачный, радостный, по-весеннему полный солнца и не умолкающего ни на минуту птичьего пения, свиста и щебета.

А как чудесно пахнет оттаявшей землёй, прошлогодними прелыми листьями и горьковатой свежестью древесных почек!

— Нюхай, брат, нюхай получше! — весело говорит Михалыч. — Это ведь самой весной пахнет. Таких духов ни за какие деньги не купишь.

И я нюхаю, изо всей мочи втягиваю в себя бодрящий запах весеннего леса.

Зорко оглядываюсь по сторонам. Всматриваюсь в пёстрый полог опавшей листвы: не примечу ли где-нибудь под кустом притаившегося лесного кулика-вальдшнепа.

Вальдшнепа нигде не видно, но зато на полянке, возле большой светлой лужи, я замечаю что-то розовато-синее. Бегу поглядеть. Это распустился цветок медуницы. На толстом зелёном стебле красуются отдельные цветочки, похожие на крохотные кувшинчики; верхние из них нежно-розовые, а те, что пониже, — лиловые.

— Михалыч, почему это у медуницы цветы разного цвета? — спрашиваю я.

— От времени, — говорит Михалыч. — Сначала они розовые, а затем через денёк-другой синеют.

Михалыч смотрит на цветок, любит его.

— Ме-ду-ни-ца! — как-то нараспев говорит он. — Помнишь, Юра, как вспоминает о ней Садко в подводном дворце водяного царя:

Теперь, чай, и птица, и всякая зверь
У нас на земле веселится;
Сквозь лист прошлогодний пробившись, теперь
Синеет в лесу медуница.
Во свежем, в зеленом, в лесу молодом
Берёзой душистою пахнет —
И сердце во мне, лишь помыслю о том,
С тоски изнывает и чахнет.

Сколько, сколько раз читал мне Михалыч эти стихи по вечерам в своём кабинете! Но здесь, в весеннем лесу, когда я собственными глазами вижу цветок медуницы среди прошлогодней опавшей листвы, знакомые строчки звучат как-то по-новому, как-то особенно ярко.

Мы выходим на небольшую поляну. Вокруг неё толпятся молодые берёзки. Посредине синеет, как продолговатое зеркало, весенняя лужа, полная до краёв прозрачной снеговой воды.

Я подбегаю к ней, заглядываю в воду. Она так чиста, что на дне отчётливо виден каждый прошлогодний листок, каждая затонувшая веточка.

По поверхности лужи оживлённо плавают лягушки. Они таращат на меня выпученные глаза, но не боятся, не хотят нырять, наоборот, как бы здороваясь со мной, они издают какие-то урчащие приветственные звуки.

— Здравствуйте, здравствуйте! — отвечаю я им. — Поздравляю вас с лёгким паром!

— Да они вовсе не купаться пришли,— говорит, подходя ко мне, Михалыч. — Они за важным делом сюда пожаловали: икру откладывать.

Мы отходим к краю поляны. Михалыч садится на широкий пенёк, прислоняет к берёзе ружьё, вынимает папиросу, закуривает.

— Хорошо, братец мой! Вот до весны и дожили.

Уже вечерет. Солнце, как начищенный медный таз, будто висит над дальним лесом. Оно совсем не слепит глаза, такое огромное, красноватое. А вот прямо на нём появилось длинное серебристое облачко.

— Смотрите, рыбу в медный таз положили,— показываю я Михалычу.

— Да ты уж вечно придумашь! — улыбается он и тут же добавляет: — Вот как закатится солнце за лес, так тяга и начнётся.

— Ой, хоть бы скорее садилось! — говорю я, от нетерпения перепрыгивая с ноги на ногу.

— Всё в своё время будет,— отвечает Михалыч. — А ты не прыгай. Погляди лучше, как хорошо кругом, послушай, как птицы поют. Дрозды-то, дрозды что разделявают!

Действительно, из ближайших кустов слышится отчаянная трескотня дроздов.

Рыжеватая сойка быстро перелетает через поляну, скрывается в лесу. И сейчас же оттуда раздаётся её громкий неприятный крик, похожий на крик испуганной кошки.

Наконец солнце совсем скрылось за лесом. По небу ярко разлилась тёплая вечерняя заря. Птичий гомон стал понемногу стихать. Зато громче и возбуждённее заурчали в луже лягушки.

— Ну, брат, теперь давай смотреть и слушать в оба, — сказал Михалыч. — Станем вот тут, под берёзой. Здесь нас не очень заметно.

Мы устроились получше и замерли в ожидании. Я изо всех сил напрягал слух и зрение. Очень хотелось первому услышать желанного долгоносика. Но не так-то это легко, когда лягушки без удержу разворчались в луже. А тут ещё певчий дрозд уселся на самой вершине старой берёзы и засвистел, защебетал на весь лес. Попробуй-ка в такой шумихе услышать хорканье вальдшнепа.

— Слушай, летит! — взволнованно шепнул Михалыч.

— Где, где? — Я ничего не слышал.

Но Михалыч только рукой махнул: молчи, мол, и, приготовив ружьё, стал напряжённо глядеть вдаль, туда, где над мелколесьем широким золотым потоком разлилась заря.

И вдруг я ясно увидел над верхушками молодых берёзок тёмный силуэт какой-то забавной, бесхвостой птицы с голубя величиной.

Мерно махая короткими крыльями, птица летела над мелколесьем. В тот же миг я услышал и её голос: короткий, отрывистый посвист: «Сцик-сцик, сцик-сцик!» — и затем низкое гортанное хорканье: «Хор- хор, хор-хор!»

Вальдшнеп! В этом не было никакого сомнения. Сколько раз зимой Михалыч рассказывал мне о тяге, подражал голосу лесного долгоносика. Теперь мы оба затаив дыхание вслушивались в эти странные, ни с чем не сравнимые звуки и следили за направлением полёта желанной птицы. Увы! Вальдшнеп пролетел шагов за двести от нас, далеко вне выстрела. Вот он и скрылся за верхушками леса.

Снова минуты томительного ожидания. Но теперь я уже слышал, как именно кричит настоящий живой вальдшнеп, знал, к чему прислушиваться, чего ожидать. И вот до моего уха донёсся едва уловимый уже знакомый посвист. Громче, ещё громче.

— Летит, летит! — задыхаясь от волнения, зашептал я.

— Где, где? Не слышу!

— Да вон, где-то справа.

Свист и хорканье раздалось уже отчётливо. И прямо на нас из-за ближайших берёзок вылетел вальдшнеп. Он летел на зорьку и казался уже не тёмным, а

каким-то рыжим. Особенно чётко был виден его прямой, как палочка, опущенный книзу клюв.

Мне показалось, что он не летит над лесом, а собирается сесть к нам на поляну. Но в это время над самым ухом грохнул выстрел. Вальдшнеп метнулся в сторону. Снова выстрел. И лесной долгоносик, как бы не придавая больше значения этим оглушительным звукам, так же ровно махал крыльями и, так же свистя и хоркая, полетел дальше над лесом.

— Эх, досада какая! Прямо на голову налетел, — огорчился Михалыч, доставая папиросу и нервно закуривая. — Не мог же я так промахнуться. Видно, порох старый, отсырел, негоден совсем.

— Значит, домой сейчас, больше стрелять не будем?! — ужаснулся я.

Но Михалыч покурил и немножко оправился от волнения.

— Ну, почему же не будем? — сказал он. — Один патрон мог отсыреть, а другие хорошие.

Вновь началось мучительное ожидание. Несколько раз мы слышали желанные посвист и хорканье, несколько раз видели пролетающих вальдшнепов, но все они летели далеко вне выстрела.

Начало быстро смеркаться. Небо посинело, в нём уже зажигались первые тусклые звёзды, а заря над лесом почти совсем погасла.

— Ну, пора домой! Сегодня опять без дичи, — грустно сказал Михалыч, скидывая ружьё на плечо.

— Стойте, летит! — чуть не вскрикнул я. — Вот он, над нами.

Тёмный силуэт птицы едва был заметен в сумерках вечера.

— Не вижу!

Вальдшнеп вылетел на зарю.

— Ах, вот он!

Выстрел, второй... И птица, взяв наискось вниз, будто нырнула в тёмную чашу леса.

— Кажется, готов! — возбуждённо крикнул Михалыч, бросаясь в ту сторону, где исчез вальдшнеп.

Издали в темноте там казалась густая чаща, а на деле это была редкая поросль березняка и осинника. Но разве найдёшь в темноте птицу такой же окраски, как опавшие листья и сухая прошлогодняя трава? Обыскали всё кругом, кажется, каждую ямку, каждую кочку осмотрели. Михалыч сжёг почти все спички. Нет, нигде нет.

— А может, он и не упал, — сказал Михалыч. — Вальдшнеп частенько после выстрела кувыркнётся вниз, а потом выровняется и полетит дальше. Пойдём, брат, домой. Всё равно ничего не увидишь.

Я уныло поплёлся вслед за Михалычем. Прошёл мимо молоденькой берёзки. Вдруг мне показалось, что на ней что-то шевельнулось. Птица, зверёк? Я

приостановился. И вот прямо перед моими глазами, в развилке ствола, вновь едва заметно кто-то шевельнулся.

Не раздумывая, я протянул руку и схватил что-то тёплое, покрытое перьями.

— Вальдшнеп! Ура, вальдшнеп! — завопил я на весь лес.

— Какой вальдшнеп, где он? — подбежал ко мне Михалыч. — Где ты его нашёл? Ай да молодец!

— На дереве, ещё живой был, крылышком затрепыхал.

Я показал развилину на стволе берёзы.

— Это он, падая, значит, застрял здесь, — догадался Михалыч. — И трепыхнулся в последний раз. А может, ветерок крыло пошевелил, ты и заметил. Ну и глаза! Прямо как у совы — даже ночью видят.

Михалыч снял с плеча сумку, положил в неё убитого вальдшнепа и надел сумку мне через плечо.

— Неси сам. Это твоя добыча.

— И ваша тоже, ведь вы его застрелили.

— Ну хорошо, пусть общий будет! — ответил Михалыч. — Ради такой удачи нужно посидеть минутку — папиросочку выкурить.

Мы сели посреди полянки на бугорок над самой лужей. Оттуда слышалось мелодичное урчанье лягушек.

Голубая, похожая на светлячка звезда неярко отражалась в тёмной воде.

Михалыч взглянул на неё и, будто припоминая что-то, стал читать стихи А. Толстого:

И глушь, и тишина. Лишь сонные дрозды
Как нехотя своё доканчивают
пенье;

От луга всходит пар... Мерцающей звезды
У ног моих в воде явилось отраженье...
Он помолчал немного и продолжал:
Но отчего же вдруг, мучительно и странно,
Минувшим на меня повеяло нежданно...
И снова предо мной, средь явственного сна,
Мелькнула дней моих погибшая весна?

Да, брат, «погибшая весна», — повторил он, вставая. — Грустно всё это. Но ничего не попишешь.

— Что же тут грустного: и тяга хорошая, и вальдшнепа нашли? — удивился я.

— Проживи, сколько я прожил, тогда поймёшь, — ответил Михалыч.

И мы пошли в деревню.

КАК МЫ ИГРАЛИ В ПАПУ И МАМУ

Пришёл я однажды с гулянья, а у нас гости. Приятели Михалыча зашли в карты — в преферанс — поиграть. Все они старые, такие же, как сам Михалыч.

Какой в них интерес! Я уж хотел к себе в комнату пройти. Вдруг слышу, мама зовёт;

— Юра, иди сюда! Куда ты прячешься?

Вхожу и вижу: на диване рядом с мамой сидит какая-то девочка. Только взглянул на неё, сразу понял — красавица. Лицо кругленькое, носик пуговкой, а больше я ничего и не заметил — в глазах какой-то туман. Не помню, как и подошёл, как поздоровался, ведь до этих пор у меня ни одной знакомой девочки не было.

А мама совсем спокойно говорит, как будто ничего особенного и не случилось:

— Познакомьтесь, дети. Это наша новая соседка — Катя. Она приехала в Чернь к своему дяде. Будет жить рядом с нами. Можете и играть и гулять вместе. Покажи ей, Юра, свои игрушки.

Я стоял перед диваном, слушая мамины слова, но вряд ли понимал их смысл. Что же мне теперь делать?

Выручила сама Катя. Она вскочила с дивана, протянула мне руку и весело, по-приятельски сказала:

— Ну, бежим. Покажите, что у вас есть интересного.

Этот простой, дружеский тон сразу вернул меня к действительности. И как хороша была теперь эта действительность! Мы взялись за руки и побежали в соседнюю комнату.



Я тут же вытащил и показал Кате все свои сокровища — в основном крючковатые палки и корешки. Одни из них изображали птиц, другие — зверей. Особенно хороша была большая коряжина. Её я с трудом притащил из леса. Вся серая, головастая, очень похожая на медведя. Даже Серёже она нравилась. Мы её частенько вытаскивали в сад, прятали в кусты и устраивали медвежью охоту.

Но, странное дело, все эти замечательные вещи Кате, кажется, совсем не понравились. Зато она очень обрадовалась кубикам и сразу предложила:

— Давайте строить из них квартиру. Выстроим столовую, гостиную, спальню... А куклы у вас есть?

Я в смущении ответил, что нет.

— Так кто же будет жить в нашей квартире?

— Не знаю. Может, солдатиков можно?..

— Нет, солдатики не годятся, — строго ответила она.

— А медвежата плюшевые тоже не годятся?

— Ну, какие же это дети! — возмутилась Катя. — А впрочем, покажите.

Я достал из шкафа медвежат, обезьянок и зайчонка.

— Какие смешные! — расхохоталась Катя. — А знаете — ничего. Мы их сейчас оденем в штанишки, в платица. Они будут наши сынки и дочки. Наверное, у вас и посуды игрушечной нет?

Я смущённо покачал головой.

— Так я и знала. Эх вы, мужчины, никакого уюта создать без нас не можете!

И она презрительно покосилась на мои сучки и палки. Я чувствовал свою вину, но не знал, как её исправить.

— Не горюйте, — вдруг ласково сказала Катя. — В следующий раз я принесу свою кукольную посуду и даже, пожалуй, куклу Матильду тоже в гости к вам приведу. А сейчас давайте вырезать из бумаги и клеить штанишки и юбочки для наших детей. Надеюсь, бумага и клей у вас найдутся.

Бумага нашлась, даже разноцветная, клей тоже, нашлись и какие-то тряпочки. И мы с жаром принялись за работу.

Какой это был замечательный вечер! Как мне было грустно, когда Катю позвали идти домой. И ей, видно, тоже очень не хотелось уходить.

— Я обязательно к вам на днях опять приду, — кивнула она мне на прощанье.

В эту ночь я никак не мог уснуть. Всё думал о Кате, о том, что она скоро опять придёт и принесёт с собой настоящую крохотную посуду. Думал о том, что плюшевые мишки и зайчата теперь наши сынки и дочки... От всего этого сладко сжималось сердце и совсем не хотелось спать.

— Почему ты ворочаешься, не спишь? — недовольно проворчала мама. — Наверное, блохи кусают? Говорила тебе — не клади Иваныча на постель. Вот блох и напустил. Сейчас простыню ромашкой посыплю.

Ах, мама, мама! Разве могла она угадать, что творилось в моей душе? Пусть сыплет в постель ромашку, пусть хоть засыплет ею весь дом. Но ей не убить того счастья, которым теперь полно моё сердце.

Чтобы не сердить маму, я свернулся калачиком в постели, стал думать о Кате, о предстоящих чудесных днях; всё думал, думал да и не заметил, как заснул.

Наступили поистине волшебные дни. Мы с Катей совсем подружились, постоянно бегали друг к другу, играли в папу, маму и деток. Катя сшила всем моим зайцам и медвежатам штанишки, платица, юбочки. Они пили и ели из настоящих крохотных чашечек, блюдец. Для такого угощения мама давала нам хлеба, сахару, а иногда и печенья или пастилы. Дети у нас были послушные, они никогда не дрались, не ссорились. Мы с Катей — тоже. Казалось, счастьем нашему ничто не угрожает.

И вот как-то утром приехал Серёжа. Я ему очень обрадовался, начал расспрашивать, что интересного он видел за эти две недели в Москве, ходил ли с мамой в цирк или хотя бы в театр.

Серёжа охотно обо всём рассказывал и вдруг с изумлением спросил:

— А это что за зверинец?

В углу комнаты мной и Катей были выстроены из кубиков комнаты, и в них на крохотных стульчиках чинно сидели за столом наши сынки и дочки.

— Зачем ты медведей в какие-то лоскуты нарядил? — не понял Серёжа.— Как же мы теперь на них охотиться будем? И клетушки им настроил. Какая чепуха!

Серёжа тут же хотел разорить всю квартиру и сорвать одежду с моих детей. Но я поспешил им на помощь.

— Не трогай, не трогай! Это наши сынки и дочки!

— Твои сынки и дочки? — изумился Серёжа.

Я тут же рассказал ему о Кате и о том, как мы с ней подружились и вместе играем.

— Если хочешь, мы и тебя примем с нами играть.

Но Серёжа только презрительно усмехнулся:

— Играть с девчонкой в папу и маму! Нет уж, играйте вдвоём. Я вам не товарищ.

Не знаю почему, но я вовсе не обиделся на него за такой отказ, даже его пренебрежительный тон меня вовсе не огорчил. «Не хочет, и не надо, — подумал я. — Нам с Катей и вдвоём очень весело».

В этот же вечер Катя, как обычно, прибежала к нам. Мамы и Михалыча дома не было: они ушли в гости. Я немного волновался, как буду знакомить Катю с Серёжей. Но всё вышло очень просто. Увидя Катю, Серёжа почему-то совсем не растерялся, а поздоровался с нею так, будто знал её уже давным- давно.

Чтобы не терять золотого времени, я тут же предложил Кате продолжать игру в папу и маму.

— А вы будете с нами играть? — весело спросила она Серёжу.

— Нет, не буду, — так же весело и даже небрежно ответил он.

— Почему?

— Потому, что это смешно и глупо. В это только малыши играют.

И вдруг, к моему изумлению, Катя вся покраснела.

— Ну, не хотите, давайте во что-нибудь другое играть, — смущённо сказала она. — Хотите в салочки?

— Вот в это хочу, — кивнул Серёжа. И тут же крикнул: — Катя салочка! Спасайся кто может!

Мы побежали от неё в разные стороны. Катя погналась за Серёжей. Вбежали в столовую. Серёжа ловко увёртывался. Катя никак не могла его поймать и осалить. Видя, что меня никто не ловит, я сам подбежал к Кате, дразня её:

— Салочка, салочка, не боюсь тебя!

Но Катя даже не обратила на меня никакого внимания, будто меня и вовсе не было. Раскрасневшись и запыхавшись от беготни, она гонялась за Серёжей вокруг обеденного стола и всё повторяла:

— У, противный, противный, всё равно осалю!

Наконец Серёжа нарочно поддался ей. Катя его осалила и со смехом побежала спасаться.

Серёжа — за ней. Они выбежали из столовой к Михалычу в кабинет.

Чувствуя себя совсем лишним, я уныло поплёлся следом. Кабинет был разгорожен ширмой для приёма больных. Катя с Серёжей меня не видели.

В кабинете Серёжа сразу же догнал и осалил Катю.

— Ага, поймал! — крикнул он. — Теперь не пущу. — Он крепко обнял девочку.

— Пустите же, какой несносный!

Катя вырвалась, но не убежала и совсем не рассердилась.

— Устала, не хочу больше в салки играть,— сказала она, чему-то лукаво улыбаясь. — Жарко очень. — Она подбежала и распахнула настежь окно.

— Закройте, — сказал Серёжа.

Катя вопросительно взглянула на него:

— Почему?

— Сквозняк. Юра войдёт — простудится, — ответил Серёжа.

Катя торопливо закрыла. Кажется, ничего обидного не было в словах Серёжи. Но он сказал их таким тоном, что я сразу почувствовал себя, по сравнению с ними, каким-то маленьким, ненужным и смешным.

Они сели рядышком на подоконник и начали о чём-то оживлённо разговаривать.

Я потихоньку вышел из кабинета, побежал в нашу спальню, разрушил, раскидал всю квартиру, где жили наши дочери и сынки, а с них сорвал всю лоскутную одежду.

«Не буду больше играть с ней в папу и маму! — с горечью думал я. — Пусть со своим Серёжкой играет!»

Увы, моя месть оказалась совсем не страшной: больше Катя о наших сынках и дочках ни разу даже не вспомнила.

На этом и кончилась моя первая дружба с первой девочкой, какую я встретил на своём пути.

НЕХОРОШО БЫТЬ МЛАДШИМ

Печальный конец моей дружбы с Катей почти совсем не испортил наших отношений с Серёжей.

Конечно, я на следующий день сказал ему о том, что слышал, как он говорил, чтобы Катя закрыла окно, а то я простужусь.

Но Серёжа изумлённо взглянул на меня и спросил:

— А что же тут плохого, что я так сказал? Ведь ты действительно постоянно простуживаешься.

Что мне было ему на это ответить? Сказать, что он этим унизил меня в глазах Кати, выставил в каком-то недостойном ребяческом виде? Сказать всё это не позволяло моё самолюбие. Ведь это значило бы признаться, что я действительно не ровня им, что я ещё маленький. Поэтому я ничего ему не ответил и постарался поскорее забыть весь этот грустный для меня вечер. Забыть о нём оказалось не так уж трудно, так как Катю вскоре увезли из Черни не то в деревню, не то в соседний городок к каким-то её родственникам. И я совсем успокоился.

Мы по-прежнему с Серёжей дружили, хотя к этой дружбе у меня начало всё больше и больше примешиваться совсем другое чувство — чувство зависти и грустного признания его превосходства надо мной.

Серёжа был на два года старше меня и вообще как-то гораздо взрослее, мужественнее.

Это невольно признавала и мама. Серёжа, например, мог совсем один пойти на реку искупаться или поудить рыбу. А меня одного мама и близко к реке не подпускала.

— Пойдёт Серёжа удить, — обычно говорила она, — тогда и ты пойдёшь.

Что поделать? Приходилось подлаживаться к Серёже; а то ещё, глядишь, и не возьмёт с собой. Но обычно он брал меня очень охотно, и мы, как только стало совсем тепло, частенько бегали за мельницу на мелкий брод ловить пескарей.

Однако во время этих прогулок Серёжа постоянно давал понять, что он мне не ровня, — он старший, и я отпущен только под его ответственность. Поэтому я должен был его слушаться беспрекословно, иначе он грозил вернуть меня домой.

Иной раз свою власть Серёжа употреблял даже не совсем бескорыстно.

Помню, я как-то перебрался по камешкам на середину брода, пристроился на большом камне, пустил леску вдоль по течению и ну давай таскать одного пескаря за другим. А Серёжа с берега ловит, у него куда хуже получается.

Вдруг слышу, Серёжа кричит мне:

— Куда ты забрался? А ну-ка, иди сейчас же на берег, ещё утонешь, отвечай тогда за тебя!

— Как «утонешь»? — возмутился я. — Да тут воробью по колено.

Но Серёжа и слушать не стал:

— Сейчас же вылезай на берег, а то пойду домой, скажу маме, что ты посреди реки на камнях сидишь.

Я сразу сообразил, что тогда будет. Мама, конечно, ахнет: «Юра посреди реки, кругом бурлит вода...» Пожалуй, после этого и на рыбалку не пустит.

Так и пришлось перебраться на берег. А я ведь отлично понимал, зачем Серёжа меня с камня согнал: чтобы я больше его рыбы не наловил. На берегу-то он меня сразу обловит. Ведь он и ловчее меня, и закинет подальше, и подсечёт получше.

Вообще, несмотря на нашу дружбу, мы с Серёжей во всём соперничали. И надо сознаться, что он во всём был впереди. Я очень ему завидовал. Завидовал даже тому, что он учится у злющей бабки Лизихи, а я ещё не учусь. Его рассказы о её школе, об ужасных издевательствах над несчастными ребятами я слушал как страшную сказку, от которой и жуть берёт, и невозможно оторваться.

— Ты знаешь, Юрка, — таинственным голосом начинал он обычно свой рассказ, — меня сегодня Лизиха так за ухо драла, думал — совсем оторвёт.

Я замирал от ужаса.

— За что же она тебя?

— А вот за что. Велела мне наизусть всю таблицу умножения написать. Я, известно, ни в зуб ногой.

— Куда ногой?

— Да молчи, не перебивай. Ну конечно, незаметным образом вытаскиваю из ранца шпаргалочку, кладу её на колени и начинаю сдувать.

Я с восхищением смотрю на Серёжу. Правда, мне не совсем понятно, откуда и что именно он сдувает, но я чувствую, что за этим кроется какая-то тайна, какое-то страшное преступление и геройство.

А Серёжа продолжает:

— Дую я, братец мой, уже больше половины содрал, уже шестью восемь, шестью девять валяю. И вдруг как она хватить меня за ухо! Да как заорёт: «Давай шпаргалку, подлец! Вижу — на коленях у тебя!»

От ужаса я широко раскрываю рот. Не прерывая рассказа, Серёжа, так, между прочим, суёт в него палец: «Закрой, а то галка влетит!» — и продолжает:

— Что тут делать? Эх, была не была! Только она отвернулась, я — раз! — шпаргалку в карман, а вместо неё подаю ей какую-то бумажку: «Вот, Елизавета Александровна. Я не списывал. Это так просто, бумажка на колени свалилась». Ну, тут она и разъярилась, вскочила со стула, глазищи выпучила, даже все кровью налились. Видит — обдул я её, а в чём дело, понять не может. Схватила меня за вихры, за уши и давай таскать! «Отдай шпаргалку! — орёт. — Всё равно убью, коли не отдашь!»

— И ты не отдал? — едва слышно спрашиваю я.

— Вот дурак-то! — пожимает плечами Серёжа. — Да она ведь на пушку и брала. Если бы отдал, ну и капут мне. Сколько ни зверствовала, я всё на своём стою. Нет у меня шпаргалки, и конец.

— А если бы она к тебе в карман полезла?

Серёжа презрительно усмехался:

— Эх ты, пупочка-мумочка! Да у меня все карманы с дырками. Я уже давно её куда следует пропихнул. Гляди — учись...

Серёжа выворачивает карманы штанов и с гордостью показывает огромные дырки. Они кажутся мне какими-то потайными лазейками, в которых бесследно исчезают шпаргалки и прочие таинственные вещи.

После таких рассказов, выслушанных обычно поздно вечером, «на сон грядущий», я, бывало, долго не мог заснуть: всё думал о том, что ждёт меня этой осенью, когда я тоже попаду в лапы кровожадной бабки Лизихи. И, чем больше думал, тем безнадежнее казалось мне моё будущее. А Серёжа, как и подобает настоящему герою, претерпев все дневные школьные ужасы и выйдя из них победителем, спокойно спал, приоткрыв рот, сладко посапывая и даже чему-то улыбаясь.

С наступлением весны Серёжа всё больше и больше проводил время в школе у бабки Лизихи. Каждую весну она возила всех своих учеников держать переходные экзамены при гимназии в городе Серпухове. Вот Серёжа целые дни и готовился к этим экзаменам.

В мае он уехал со всей школой в Серпухов, сдал экзамен, перешёл в другой класс и, наверное, счастливый, довольный, покотил отдыхать к своей маме в Москву, а оттуда в Подмосковье на дачу. Я немного поскучал о нём, но долго скучать было некогда — наступало лето, самая чудесная, самая хлопотливая пора.

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ

Михалыч всегда чем-нибудь увлекался. Правда, его увлечения очень быстро проходили и сменялись новыми, но, может быть, именно поэтому они были для меня так заразительны и интересны.

Ещё весной Михалычу вдруг пришла идея в уголке сада устроить свой собственный маленький огород.

— Ну зачем он тебе? — недоумевала мама.— Любых овощей на рынке сколько угодно. Дарья каждое утро всё свежее покупает. Если времени некуда девать, лучше бы к больным куда-нибудь съездил. Ты смотри, Лупанов всё время разъезжает.

— Всех денег, мадам, всё равно не соберёшь, — отвечал Михалыч своей любимой поговоркой. — У Лупанова на уме одни только меркантильные интересы. Он и не может воспарить в мечтах.

— Ах, если бы у тебя этих интересов побольше было! — вздыхала мама.

Но Михалыч её уже не слушал.

— Вы представьте себе, мадам,— мечтательно говорил он, — к ужину подаст Дарьюшка, ну, например, котлеты со свежей картошкой. И вот к ним-то из собственного огорода укропцу нарвать, прямо с грядки, с душком. Или свежего лучку в суп покрошить. Нет, с базара это совсем не то, там всё вялое, пыльное, а тут, можно сказать, прямо с росиночками.

— Да, да, с росиночками,— кивала головой мама. — Вот из-за этих самых росиночек и сидим весь век без гроша.

— Мадам, вы уподобляетесь «скупому рыцарю»! — возмущался Михалыч. — Скажу вам прямо: стяжательные интересы чужды моей натуре.— И он уходил в кабинет, бодро напевая:

На земле весь род людской
Чтит один кумир священный.
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир — телец золотой...

Чтобы наш огород был по последнему слову науки, Михалыч ещё заранее выписал из Москвы специальный справочник и в свободное время внимательно его изучал, пытаясь и меня привлечь к этому изучению. Но оно показалось мне уж очень скучным. Пусть лучше Михалыч выучит всё один, решил я, а копать грядки и сажать будем вместе.

И вот, помню, ранней весной, как только земля в саду подсохла, мы сразу же приступили к работе. Однако вскапывание земли под грядки оказалось делом совсем не лёгким. Мы трудились полдня и вскопали только три гряды. Наконец тётка Дарья пришла звать нас обедать.

— Ох уж и работнички! — насмешливо сказала она. — За такую работу и обедом кормить не стоит.

— Критиковать, Дарьюшка, всегда легко,— отвечал Михалыч. — Попробовала бы сама здесь покопать. Тут сплошной дёрн, лопата никак не берёт.

— Не за своё дело взялся, вот и не берёт, — сурово промолвила тётка Дарья. — Ну, землекоп, иди, а то суп простынет.

После обеда Михалыч пошёл к себе в кабинет на часок «кое-что обдумать». А я побежал к Соколовым. У гончей собаки Зорьки родились щенки. И Василий Андреевич прислал за мной, чтобы их показать.

В этот раз, устав от трудов в огороде, Михалыч «продумал» не часок, а целых три. Я успел вернуться домой, а он только что встал, и мы снова отправились в огород трудиться.

О чудо! Он был весь вскопан, и даже грядки сделаны.

— Кто же это нам тут немножко помог? — удивился Михалыч. — Правда, всё основное мы ведь уже сами до обеда сделали, но всё-таки интересно, кто за нас тут заканчивал?

За вечерним чаем Михалыч осторожно навёл разговор на тему: «Что вот, мол, у нас в доме завелись добрые духи, которые помогают тем, кто трудится в поте лица».

— Да это Дарья! — ответила мама. — Говорит: «Тошно глядеть, как он там пыхтит, в земле ковыряется». Взяла лопату и за полчаса всё вскопала.

— Не женщина, а просто чудо-богатырь! — восторженно произнёс Михалыч.

В это время Дарья принесла из кухни хлеб и масло к чаю.

— Уважаемая Дарья Степановна! — обратился к ней Михалыч. — От души благодарим вас за вашу посильную помощь. Можете пользоваться любыми плодами, которые мы вырастим в нашем огороде.

— Да ничего ты и не вырастишь, кроме крапивы да лопухов, — отмахнулась тётка Дарья, уходя в кухню.

— Сущая ведьма! — сурово заметил Михалыч ей вслед.

В огороде мы посеяли редис, салат, морковь, репу и разные другие овощи.

Каждый вечер мы с Михалычем добросовестно поливали гряды, и они скоро зазеленели первой изумрудной зеленью.

— А наш лютый враг уверяла, что только одна крапива вырастет, — весело говорил Михалыч. — Теперь небось попритихла.

И вот однажды мы все сели обедать. Подали суп.

— Дарыошка, принеси, пожалуйста, укропу, — попросила мама.

— Нет укропа, забыла ноне купить, — отозвалась из кухни тётка Дарья.

— То есть как это нет? — вмешался Михалыч. — А собственный огород на что? Сейчас схожу и принесу.

Мы посыпали суп нашим укропом. Такого вкусного супа я ещё в жизни никогда не едал.

НА ЗЕЛЁНОМ ЛУГУ

Как хорошо солнечным летним утром выбежать с сачком в руках в сад или во двор, побегать, погоняться за пролетающими бабочками и мушками!

Но ещё веселее, если в этом деле примет участие сам Михалыч. Тогда уже получается настоящая охота. Увы, она бывала только по воскресеньям.

На такую охоту мы брали с собой, кроме сачков, ещё походную брезентовую сумку. В неё Михалыч осторожно укладывал несколько стеклянных банок.

Горлышко каждой из них было плотно заткнуто широкой пробкой, а внутри лежал кусок ваты, смоченной эфиром. Эти банки-морилки предназначались для пойманных насекомых.

Мне очень хотелось нести сумку с банками самому, но Михалыч не доверял — боялся, что я увлекусь ловлей бабочек, упаду и побью все банки. Поэтому сумку он нёс обычно сам, перекинув её на ремне через плечо. В эту сумку, помимо морилок для насекомых, Михалыч клал несколько бутербродов для нас самих, на тот случай, если мы забредём далеко от дома и проголодаемся.

Но вот сборы закончены, и мы трогаемся в путь — отправляемся к речке на луг.

До чего же хорошо там в начале лета! Трава высокая, густая. А сколько кругом цветов! А какой запах! Особенно сильно пахнут большие, похожие на белые кисти соцветия таволги. Тут и там они высоко поднимают свои головки, и от них по всему лугу разливается душистый запах свежего мёда.

Над цветами гудят и летают пчёлы, шмели, разноцветные бабочки. Даже глаза разбегаются — не знаешь, куда и глядеть, кого и ловить. Мы с Михалычем идём неподалёку один от другого, держа сачки наготове.

Я невольно люблюсь Михалычем. Он одет в лёгкий чесучовый пиджак, на голове — соломенная широкополая шляпа от солнца, через плечо — сумка с усыпляющими средствами для насекомых и с подкрепляющими силы — для самих ловцов.

Вид у Михалыча боевой. Даже его излишняя полнота как-то не так здесь заметна, не так бросается в глаза среди просторного, залитого солнцем луга.

Перепрыгивая через лужицы, Михалыч спешит вперёд, за ним еле-еле угонишься. Ветерок развеивает полы его чесучового пиджака. И в этом наряде он сам похож издали на какую-то огромную белую бабочку, такую лёгкую и такую весёлую.

Но особенно радует меня то, что Михалыч занимается этой охотой совсем не в шутку, а вполне серьёзно, с таким же азартом, как и я. Каждому из нас хочется обловить другого, поймать что-нибудь интересное, редкое.

Вот на влажной земле возле лужицы сидит целая стайка голубых мотыльков. Они плотно сложили вверху над спинкой свои лёгкие крылышки и как будто дремлют.

А что это за странный тёмно-бурый листок торчит между ними? Я подхожу ближе, и вдруг листок будто раскрывается, опуская вниз два чудесных чёрных крылышка с белой кружевной оторочкой. Бабочка! Да какая большая, какая красивая! Такой в нашей коллекции ещё нет.

Я пытаюсь накрыть её сачком прямо на земле, но она замечает моё движение, взлетает и не спеша, то поднимаясь вверх, то опускаясь до самой травы, как бы играя в воздухе, отлетает в сторонку.

Я — за ней, она — от меня. И всё не спеша, играючи, будто поддразнивая, летит прямо к Михалычу.

Вот он заметил её, весь как-то подтянулся и тоже в погоню. Мы бежим рядом, явно пугая добычу и мешая друг другу.

— Уходи от меня! — сердито шепчет Михалыч. — Разве места на лугу не хватает?

Я отбегаю в сторонку, с завистью наблюдаю за ловлей. Неожиданно бабочка присаживается на зелёный травяной стебелёк.

— Ага, попалась! — торжествует Михалыч. Нацеливается, взмах сачка... и сам ловец, споткнувшись о какую-то кочку, падает в траву, а испуганная бабочка взлетает вверх и улетает прочь.

— Лови, лови! — отчаянно кричит Михалыч, вскакивая с земли.

Увы, всё кончено — бабочка улетела.

Во мне кипит негодование — зачем он отбил у меня добычу? Куда ему, толстяку, за бабочками гоняться!

Но ещё возмутительнее, что Михалыч пытается на меня же свалить вину за свою неудачу.

— Эх ты, разиня! — махнув рукой, говорит он, — Кричат ему: «Лови!» — а он разинул рот и ни с места. Вот я старик, а видишь...

Михалыч неопределённо показывает рукой на свой перепачканный в земле пиджак и неожиданно весело улыбается:

— Оба, брат, сплеховали! Ну, не беда, ещё такую поймает.

— А что это за бабочка? — соглашаясь на мировую, спрашиваю я.

— Траурница. Видал, каков у неё наряд? Чёрный бархат с белой кружевной отделкой. Очень красива! Если бы не эта проклятая кочка, я бы её не упустил.

Немного успокоившись после неудачи, мы продолжаем охоту. Наши дела идут неплохо, особенно у меня. Мне удаётся поймать две пёстренькие перламутровки, золотисто-зелёного жука — бронзовку и огромную стрекозу — коромысло. У Михалыча тоже свои трофеи: он поймал белую с коричневатыми кончиками крыльев аврору и расписного красавца адмирала.

Луг кончается, мы подходим к небольшому лесочку. Сходимся вместе, и вдруг оба разом замечаем добычу. Не нужно и в атлас заглядывать, чтобы сказать, что это павлиний глаз. Два голубоватых глазка на нижних крыльях говорят сами за себя.

Бабочка сидит на земле, то распуская, то складывая свои чудесные крылышки.

Я нацеливаюсь сачком. Михалыч — тоже.

— Не мешай! — шепчет он.

— Опять упустите! — шепчу я.

Михалыч отступает.

А бабочка всё сидит перед нами, будто ждёт своей участи. Затаив дыхание заново над ней свой сачок и мягко накрываю добычу.

— Молодец! — одобряет Михалыч. — Давай-ка её сюда. Вот мы её сейчас в баночку и посадим.

Павлиний глаз в банке. Пары эфира сразу одурманивают его. Уснувшая бабочка замирает на ватке, распустив свои глазастые крылья.

— До чего же красив! — любуется Михалыч. — Ты только, Юра, представь себе: устроим этого красавца в ящик под стекло, а зимой поглядим на него и вспомним лето, солнышко, луг. Хорошо, брат, тому, кто любит всё это.



А теперь после успешных трудов и закусить не грех, — вспоминает он о захваченных с собой бутербродах.

Мы садимся тут же на бугорках и с аппетитом уплетаем хлеб с колбасой и с сыром.

Отсюда, с луга, виден наш крохотный городок. Он весь как на ладони. Красные и зелёные крыши домиков весело выглядывают из густой зелени старых, запущенных садов.

Издали городок похож на пчелиную пасеку. Одноэтажные деревянные домики будто разноцветные ульи, и это впечатление ещё усиливает крепкий медовый запах таволги. Он плывёт над согретой солнцем землёй; кажется, даже сам воздух от этого запаха стал каким-то густым, тягучим. Воздух дрожит, колеблется вдали над лугами и золотится от солнца, словно жидкий прозрачный мёд.

Закусив и немножко отдохнув, мы тем же путём возвращаемся домой.

НАТАША ПРИЕХАЛА

Дома нас ждала замечательная новость — из Москвы приехала Наташа.

Она выбежала нам навстречу, расцеловала меня и бросилась к входящему следом за мной Михалычу.

— Папа, здравствуй! Какой ты нарядный, весь в белом! — весело приветствовала она. — А это что у тебя, сумка какая-то?

— Тише, тише, там банки, бабочки... ради бога, не разбей! — защищал Михалыч наши трофеи. — Ну, здравствуй. Как доехала?

— Хорошо, всё очень хорошо! Я в последний класс перешла. Поздравь меня!

— Умница, умница, поздравляю! Дай мне только наши сборы отнести, на место поставить.

И мы проследовали к Михалычу в кабинет.

Весь этот и следующий день я почти не отходил от Наташи. Какая она стала большая, совсем почти взрослая! И такая красивая! Стройная, худенькая, лицо смуглое. Где же она успела так загореть? А как хорошо, когда она засмеётся, — зубы белые-белые!

— Ты прямо как негритёнок! — удивлялась, глядя на неё, мама. — Можно подумать, что с юга приехала.

— А я и сама не знаю, где я так загорела. Может, под лампой, когда к экзаменам готовилась, — смеялась Наташа, забавно морща при этом свой носик.

— Совсем, совсем взрослая! — говорил, глядя на неё, Михалыч. — И причёску себе устроила. Прямо невеста! Придётся, видно, жениха поискать...

— Ну, папа, как не стыдно надо мной смеяться! — перебивала его Наташа, густо краснея и становясь от этого ещё лучше.

— Да я вовсе и не смеюсь, — отвечал Михалыч. — Один жених уже есть: вон Кока Соколов. Он уже, почитай, целый месяц здесь околачивается.

— А как же учение? — удивилась Наташа.

— Кажется, доучился, вон выгнали, — махнул рукой Михалыч.

— Бедный, как жалко! — усмехнулась Наташа. — Нужно пойти его навестить.

Не знаю почему, но это намерение Наташи мне совсем не понравилось. Зачем ей идти куда-то навещать Коку? Шла бы лучше с нами на луг ловить бабочек.

После обеда Наташа надела нарядное платье, а на шею нацепила коралловые бусы. Из своих чёрных кос она сделала большой пучок и стала настоящей красавицей. «Куда лучше задавалки Катьки!» — подумал я.

— Ну как, хорошо, идёт мне эта причёска? — спросила она меня. — Или лучше косы оставить, как ты думаешь?

Ах! Я уже ничего не мог думать, я только чувствовал, что сердце моё не то сейчас остановится, не то совсем выскочит из груди.

Наташа ещё раз взглянула на меня и лукаво улыбнулась:

— Нравлюсь я тебе?

Я краснел и молчал.

— Идём со мной Коку навещать.

И мы пошли. К Соколовым в дом идти нам не пришлось. Коку мы встретили на улице. Он сам шёл к нам навстречу — узнал от кого-то, что приехала Наташа. Пошли все втроём в городской сад.

Я искоса поглядывал на Коку. Он был очень хорош. В белой рубашке, ловко перетянутой ремнём, и в смятой форменной фуражке, которую он лихо сдвинул на затылок. Из-под козырька выглядывал завиток белокурых волос.

— Ты что же так рано на каникулы явился? — спросила Наташа. — Разве занятия уже кончились?

— Для меня кончились, — весело ответил Кока. — Выгнали меня из лицея. Сказали — все науки усвоил, можешь теперь отдыхать! — Он беззаботно рассмеялся.

Наташа неодобрительно покачала головой:

— Что ж ты теперь думаешь делать?

— Да ничего. Летом в футбол играть, за барышнями ухаживать. А придёт осень — ружьё, собаки... и поминай как звали!

— А учиться когда же?

— А зачем мне учиться? — наивно переспросил Кока. — Денег у отца хватит.

— Да ведь это не твои, отцовские...

— Ну и что же? Солить их, что ли? Слава богу, вон сколько нажил, а куда тратить, не знает. Я ему помогу — у меня долго не залежатся.

Кока вынул из кармана серебряный портсигар и закурил.

— Зачем мне учиться? — повторил он. — Отец в школу и не заглядывал, а денежек накопил дай боже. На мой век хватит. — Он пустил через нос две тонкие голубые струйки дыма и озорно сбоку взглянул на Наташу, — Учиться хватит. Вот высмотрю за лето невесту да и женюсь, чего зря время терять!

— Кто же за тебя, обормота такого, пойдёт-то? — рассмеялась она, вызывающе глядя ему прямо в лицо.

— Да ты первая! — весело отвечал он. — Разве не пойдёшь? Говори, не пойдёшь, если посватаюсь?



При этих словах я почувствовал, что у меня замерло сердце и подкашиваются ноги. Я не смел взглянуть на Наташу. А она как ни в чём не бывало только звонко расхохоталась:

— Ну и жених!..

Кока всё так же искоса испытующе поглядывал на неё и вертел в руках недокуренную папироску. На его безымянном пальце что-то поблёскивало.

Наташа тоже заметила.

— Что это у тебя, кольцо? Покажи какое?

Кока показал. Кольцо было серебряное, с изображением человеческого черепа.

— Это смерть всем девушкам, на которых я только взгляну, — лихо тряхнув головой, сказал он.

— Отчего же они умрут? — удивилась Наташа.

— От любви ко мне, — не задумываясь, пояснил Кока.

— Тогда я на тебя и смотреть не буду — ответила Наташа, — а то и вправду ну-ка помрёшь, а мне жить ещё хочется.

— Нет, я тебя пощажу, — успокоил её Кока. — Зачем тебе помирать, коли я за тебя хочу свататься.

Наташа на это ничего не ответила, только рукой махнула — болтай, мол, что хочешь.

Я всё время молчал. Мне было очень обидно, что Кока так непочтительно разговаривает с Наташей. Я толком не мог понять: шутит ли он или правда хочет на ней жениться. При одной этой мысли я чувствовал, что у меня где-то внутри — то ли в сердце, то ли в желудке — всё сжимается и замирает.

Между тем мы дошли до городского сада и сели на скамейку под старой, дуплистой липой.

Кока наклонился и поднял с земли толстый сучок.

— Зачем он тебе? — спросила Наташа.

— А вот суну его в дупло, оттуда летучие мыши как выскочат, прямо тебе в волосы вцепятся.

— Ой, ой, не надо! — закричала Наташа, — Брось его, брось сейчас же!

— А что мне будет за то, что брошу?

— Всё, всё, что хочешь, только брось скорей!

Кока вскочил со скамейки, размахнулся и так ловко запустил сучок, что он взлетел до самых верхушек деревьев и упал на землю где-то далеко от нас.

— Чур, теперь не отказываться! — заявил он. — Что скажу, то ты и выполнишь. А не выполнишь — всё дупло разломаю, всех мышей на тебя напущу.

— Ладно, ладно, всё сделаю, только дупло не трогай! — смеялась Наташа.

— А откуда ты знаешь, что там летучие мыши есть? — заинтересовался я.

— Да они в каждом дупле днём сидят. Спрячутся туда от солнца и ждут, пока ночь наступит.

— А почему они Наташе на голову кинутся?

— Потому что на ней белый платочек. Летучие мыши белое любят, на него так и летят. Вцепятся коготками, их не отцепишь.

Я слушал Коку с большим вниманием, и вдруг в голове мелькнула гениальная мысль.

— Кока, а вечером летучие мыши тоже летают?

— Конечно. Как солнце сядет, так они и начнут летать.

— А где их больше всего?

— Над рекой, над лесом.

— А если в лесу на полянке белую простыню постелить, они на неё тоже сядут?

— Безусловно, — уверенно ответил Кока.

— Значит, их там и поймать можно?

— Ну конечно, хоть сто, хоть тысячу штук.

— Ой, как здорово! — взвизгнул я от восторга. — Давайте сегодня же вечером мышей ловить. В соседний лесок пойдёмте?

— Ну что ж, отличная мысль, — сразу согласился Кока. — И время терять нечего. Вон уже солнышко совсем низко. Беги скорее домой, неси простыню, сачок, банки, куда мышей будем сажать. А мы тебя здесь подождём.

Я вскочил, готовый бежать, и вдруг остановился:

— Простыню мама ни за что не даст, скажет — изорвём или потеряем.

— Ну, тогда я сам домой сбегая, свою принесу, — предложил Кока, — а ты беги за сачком и за банками.

Я полетел во весь дух. Дома мама хотела меня усадить за стол и поить чаем, но я отказался. О предстоящей ловле я маме ничего не сказал: ещё не пустит, скажет — вечером сыро в лесу, мало ли что придумает. Лучше уж пока помолчать.

С самым невинным видом я прошёл в свою комнату, взял сачок, большую металлическую банку, в которой мама раньше держала муку или крупу, а потом эту банку я выпросил себе, чтобы сажать в неё лягушек и ящериц.

— Куда это ты собрался? — спросила мама.

— Хочу головастиков в луже половить, — соврал я.

— Только этой гадости ещё не хватало! — неодобрительно ответила мама и ушла.

А я поскорее выскочил на улицу и помчался в городской сад.

Но что такое? Ни Наташи, ни Коки в саду нет. Наверное, вместе за простыней пошли и задержались дома. «Только бы в лес к вечеру не опоздать», — забеспокоился я. Сел на лавочку, тревожно поглядывая по сторонам.

Прошло не меньше часу, а Наташа с Кокой не возвращались. Уже солнце спустилось к вершинам деревьев, а их, как назло, всё нет и нет.

И вдруг я всё понял: «Обманули, обманули, ушли одни». При этой мысли даже кровь бросилась мне в лицо. «Ну, Кока, бог с ним, он известный обманщик. А Наташа? Как же она могла так бессовестно поступить?!»

Я поднялся с лавочки и пошёл домой.

— А Наташа где? — спросил Михалыч.

— Она с Кокой в лес удрала, — еле сдерживая слёзы, ответил я. — Взяли простыню и удрали в лес мышей ловить. А меня обманули, не взяли...

— Какую простыню, каких мышей ловить? — не на шутку заволновался Михалыч. — Что ты вздор городишь!

— Нет, не вздор, а всё правда!..

И я рассказал Михалычу, как я придумал новый способ приманивать на простыню летучих мышей и ловить их там. А Кока решил без меня этим способом воспользоваться.

— Стыдно так делать, ведь это не он, а я придумал!.. — горячился я.

Но Михалыч почему-то совсем не возмущился нечестным поступком Коки. Наоборот, он только добродушно рассмеялся.

— Ничего, брат, мы другой раз одни с тобой пойдём, больше их наловим.

— А пойдёте сейчас? — сразу оживившись, предложил я.

— Нет, сейчас уже поздно. Пока до лесу дойдём, совсем стемнеет и ночь настанет. Да, кстати, вот и наши ловцы уже домой вернулись.

Я взглянул в окно. Мимо него проходили Наташа с Кокой.

Я бросился им навстречу:

— Много наловили?

— Сто штук, — не задумываясь, ответил Кока.

— А где же они?

— По дороге всех упустили.

— Да что ты его слушаешь! — вмешалась Наташа. — Никого мы не ловили, просто ходили к речке гулять.

— А почему меня не подождали?

— Мы ждали, а потом решили, что тебя мама непустила, — с невинным видом ответила Наташа.

Я заметил, как она при этом лукаво переглянулась с Кокой.

Всё понятно. И здесь я оказался лишним, так же как и у Кати с Серёжей. И всё потому, что я самый маленький, моложе их всех. Но когда же наконец я вырасту, не буду мешать другим и от меня перестанут бегать?!

А пока оставалось только одно: опять отойти в сторонку и издали наблюдать за тем, как весело дружат между собой другие, счастливые люди, счастливые тем, что они старше меня.

На следующий день мы с Наташей как будто помирились. Собственно, она, кажется, и не заметила, как я на неё накануне вечером рассердился. Она так же весело разговаривала со мной и даже опять предложила идти вместе гулять. Но я холодно отказался, сказав, что мне сегодня, к сожалению, некогда.

— Ну что ж, очень жаль, — ответила Наташа и ушла одна.

В первые же дни по приезде Наташа обошла всех своих старых подруг и потом всё время проводила вместе с ними. Частенько к их компании присоединялся и Кока. Я держался от них в стороне, да, по правде говоря, меня они ни разу никуда и не пригласили. Ну и пусть. Мне и без них было очень хорошо и весело.

В это лето Наташа гостила у нас очень немного. Скоро она уехала обратно в Москву к своей маме.

ЗАЙКА И МУРКА

У нас в доме появился зайчонок. Его купила мама на базаре у каких-то ребяташек. Мама принесла зайку в маленькой, сплетённой из прутьев корзиночке. Зайчонок был ещё крошечный, но уже ловко грыз сочные стебельки травы, которые мы ему предлагали. С виду он был очень забавный: буровато-серенький, пушистый, с большими мягкими ушами. Когда зайка сидел спокойно, уши у него лежали на спинке, как два продолговатых листочка. Но как только он принимался бегать по комнате, сейчас же поднимал уши вверх.



— Траву-то он хоть и ест, — сказала мама, — а всё-таки его и молочком угостить не мешает. Ведь он ещё совсем малыш.

Мама налила в пузырёк молока, надела на горлышко соску и предложила её зайчонку.

Тот обнюхал соску, недовольно фыркнул и отпрыгнул в сторону.

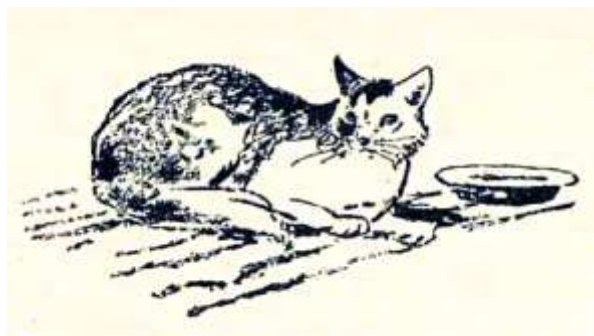
— Не нравится — резиной пахнет, — сказала мама. — Ну, если так попробовать? — И с этими словами она обмакнула горлышко пузырька вместе с соской в чашку с молоком. — Что вы теперь скажете? — обратилась она к зайчонку, поднося к его мордочке соску всю в молоке.

Если бы зайка умел разговаривать, он, наверное, бы ответил: «Вот это другое дело». Но говорить он не умел, а просто схватил кончик соски мягкими, бархатными губами и с аппетитом зачмокал, пуская большие молочно-белые пузыри.

С кормлением дело сразу наладилось. Малыш охотно пил молоко из пузырька и так же охотно уплетал предлагаемые ему стебельки травы.

Но приручить его оказалось труднее. Зайка был очень робок. Чуть стукнешь чем-нибудь или подвинешь стул, уж он удирает прочь. Забьётся куда-нибудь за диван или за шкаф, да так забьётся, что порой его и не найдёшь. И какой-то глупенький: увидит кота Иваныча, сам же к нему навстречу — прыг, прыг... уши поставит колышками, мордочку вытянет — давай, мол, с тобой познакомимся.

Иваныч тоже не прочь — добродушно замурлыкает, не спеша навстречу к зайчонку двинется. А тот вдруг ни с того ни с сего как бросится в сторону и бежать прочь от Иваныча. Тот даже усы растопырит от изумления: «Что за штука — сам же в знакомые напрашивался и сам же удрал».



Постоит Иваныч немного, будто обдумывая глупое поведение зайчонка, а потом фыркнет, потрясёт лапкой и отправится на диван поспать.

К людям зайка тоже долго не привыкал. Бывало, мама нальёт ему в пузырёк молоко, хочет зайку на стол посадить, чтобы удобнее его покормить, а малыш — удирать от неё.

— Несуразный какой-то! — сердилась мама. — Нужно его в лес отнести и выпустить, всё равно он ручным никогда не будет.

Но мне было жалко расставаться с зайчонком, и я просил маму подержать его ещё немножко дома — может, и привыкнет к нам.

Однажды утром я тихонько сидел в столовой на диване, разглядывал зверей в книжке Брема.

Зайчонок находился в этой же комнате. Мама только что обучала его искусству пить молоко не из соски, а прямо из блюдечка. Первый урок оказался не очень удачным: зайка не столько выпил, сколько разлил молока, весь им обрызгался. Теперь он сидел на солнышке и сушился. Окно было открыто.

Вдруг на подоконник вспрыгнула небольшая серая кошка. Она была беспризорная, недавно приютилась у нас. Мама прозвала её Муркой и очень хвалила за то, что она хорошо ловит мышей.

— Не чета этому лодырю! — сурово говорила мама, указывая на Иваныча, который мирно отдыхал на диване после сытного обеда.

Теперь второй день Мурка была в большой тревоге. Она бегала по двору, по саду и всё время громко, тоскливо мяукала. Мама решила, что у неё родились котята и их кто-то выбросил.

— Какие безжалостные! — говорила мама. — Кому они помешали, хоть бы одного оставили!

Я весь день проискал пропавших котят, но нигде не нашёл. Во время этих поисков Мурка неотступно бегала за мной, точно понимая, что я хочу ей помочь.

Вот и сейчас она снова пришла ко мне. Смотрит на меня тоскливыми, просящими глазами и тихонько мяукает.

— Киса, киса! — позвал я её.

Мурка доверчиво спрыгнула с подоконника, направилась в мою сторону и вдруг остановилась; она так и впилась глазами в угол комнаты — увидела там зайчонка.

«Как бы ещё не схватила вместо крысы!» — подумал я, готовясь прийти малышу на помощь.

Но Мурка приняла зайца совсем не за крысу, а за своего котёнка. Она радостно замыкала, подбежала к нему и принялась облизывать — кстати, вся шерстка его была в молоке.

Зайка тоже не испугался приветливой незнакомки, может, даже принял её за зайчиху. Ведь у зайцев так уж заведено, что любая зайчиха всем зайчатам и мать и кормилица.

Облизав малыша, Мурка тут же улеглась на бок, предлагая зайчонку позавтракать. Скопившееся за два дня молоко так и сочилось из её набухших сосков. Зайчонок его сразу учуял. Он удобно пристроился возле кошки и принялся за еду.

Я замер от восторга и удивления. Хотелось вскочить, позвать маму, чтобы и она полюбовалась этим зрелищем, но я боялся спугнуть зайчонка и испортить всё дело. Пришлось сидеть неподвижно, пока он насосался вдоволь и отпрыгнул в сторону. Очень довольная тем, что нашла своего малыша, Мурка тут же на солнышке свернулась клубком и сладко уснула. А я на цыпочках вышел из столовой и побежал рассказать маме обо всём, что увидел.

С этого дня Мурка совсем успокоилась. Она переселилась жить к нам в дом и почти ни на шаг не отходила от зайчонка.

Малыш тоже к ней скоро привык. Было очень забавно смотреть, как он радостно скакал к ней навстречу и подталкивал мордочкой под живот, требуя, чтобы она его покормила.

Но ещё забавнее было видеть, как Мурка начинала с ним играть. То мышонка ему притащит и никак не поймёт, почему же зайчонок его не ловит, а то найдёт какую-нибудь бумажку, давай её подбрасывать, гоняться за ней. Мурка ловкая, прямо в воздухе на лету бумажку хватает. А зайчонок в этой игре участия не принимает — сидит себе в уголке и только ушами поводит. Ему бы травки зелёной или морковки: с ними он живо бы расправился, а игра с мышонком или с бумажкой — это, уж извините, совсем не зайчиное дело.

ГАЛЯ

Я пошёл в сад нарвать для своего зайца травы.

Иду по дорожке и вдруг вижу: впереди меня скачет галчонок. Торопится удрать, а взлететь ещё не может. С виду совсем уже взрослая птица, в чёрных пёрышках, всё как полагается, только крылья ещё не окрепли.

Галки у нас часто в сарае под крышей гнёзда устраивали. И этот малыш, наверное, выбрался из гнезда, вниз-то слетел, а вверх — обратно в гнездо — взлететь не может.

«Вот беда! На земле его обязательно кошки схватят. Как же быть? Возьму-ка его домой, пусть поживёт у нас недельку, другую. Крылья за это время окрепнут, тогда уж лети куда хочешь».

Не без труда поймал я галчонка. Он от меня изо всех сил удирал. А когда попался, начал пребольно щипать меня клювом за пальцы. Щиплет, а у самого сердце так колотится, кажется, сейчас разорвётся.

Несу его домой, глажу по пёрышкам, успокаиваю:

— Не бойся, дурашка, я же тебе хочу добра, уберечь от кошек хочу.

Нет, ничего не понимает, так за палец схватил, что у меня даже слёзы на глаза навернулись. Но всё-таки я галчонка из рук не выпустил и принёс домой.

Гляжу — навстречу мама. Даже приостановилась от удивления:

— Этого добра ещё не хватало! Ну зачем ты его в дом притащил? Пусть себе на воле живёт.

Я рассказал, что галчонок, наверное, из гнезда вывалился. Летать не умеет. В саду его обязательно кошки загрызут.

Мама только рукой махнула:

— Ох уж это мне зверьё! Скоро житья совсем от него не будет. Кошки, зайцы, а теперь ещё галка заявила.

— Ну, если ты сердисься, я могу её обратно в сад отнести, кошкам на съедение.

— Да уж ладно, раз принёс — пусть у нас и живёт.

Я с благодарностью поглядел на маму. Мне даже стало немножко стыдно за свои слова. Ведь я заранее знал, что мама никогда не допустит, чтобы кошки задрали такого беспомощного малыша.

Понёс галчонка в свою комнату, но мама сердито крикнула вслед:

— Куда потащил? Его же накормить надо. Иди в столовую. Я сейчас ему каши с творожком принесу.

Мы посадили галчонка на стол. Поставили перед ним мисочку с творогом и гречневой кашей. Ничего не выходит — галчонок и смотреть на еду не хочет, всё норовит удрать.

— Подержи-ка его. Я ему попробую кусочек прямо в рот запихнуть, — сказала мама.

Я осторожно взял галчонка в руки, он запищал и уже приготовился меня ущипнуть, но мама ловко сунула ему в раскрытый рот кусочек каши. Галчонок её проглотил.

Мама поддела кончиком пальца второй кусочек и поднесла к клюву галчонка.

Тот внимательно посмотрел на еду и вдруг, широко разинув рот, громко запищал: «Каш, каш!»

Мама рассмеялась:

— Слышишь, Юра, он каши просит. Ну что же, дадим ему немножко. Только много давать нельзя, можно желудок испортить. Закусит, и хватит. А ты, Юра, беги во двор копать червяков. Может, гусениц каких-нибудь в огороде разыщешь. Такая еда ему полезнее. Ведь взрослые галки кашей его никогда не кормили. К этому кушанью он ещё не привык.

Но галчонку, видимо, очень понравилось новое угощение. Он даже поскакал по столу вслед за мисочкой, когда мама её уносила. Сам скачет, а сам крылышки топорщит и орёт на весь дом: «Каш, каш!»

— Не ори! Никаких каш больше тебе не будет! — решительно сказала мама.

Мы заперли дверь, чтобы галчонок куда-нибудь не удрал из комнаты. Мама пошла по делам на кухню, а я побежал во двор добывать своему питомцу червей и гусениц.

С этим делом я провозился, наверное, около часу, но результат получился отличный: целая баночка червяков и пригоршня жирных зелёных гусениц.

Прибегаю в столовую. Гляжу, галчонок сидит на краешке стола и как будто дремлет. Но только увидел меня — сразу оживился, затрепетал крылышками, широко разинул рот и что есть силы заорал: «Каш, каш, каш!»

— Подожди, подожди, — успокаивал я его. — Сейчас тебе не каша будет, а совсем другое кушанье.

Я взял кончиками пальцев гусеницу и сунул в рот галчонку. Тот сразу проглотил, опять рот открывает. Сунул вторую, третью, четвёртую... Так и глотает одну за другой, всех за один раз съел. А уж червей я ему давать побоялся: как бы не объелся.

Отнёс я его в свою комнату и посадил на книжную полочку. Сидит да поглядывает оттуда в окошко.

Но не прошло и часу, галчонок опять есть запросил. Ненадолго ему и моих червяков хватило; после обеда снова пришлось идти охотиться за гусеницами и червяками.

— Вот это аппетит! — изумлялся я.

С этого дня мой крылатый питомец совсем меня загонял, только и знаю — с утра до вечера в саду, в огороде за гусеницами охочусь. Хорошо ещё, что галчонок и от каши с творогом не отказывался, а то бы прямо хоть плачь.

Михалыч надо мной подсмеивался:

— Что, брат, нелегко приходится? Ничего, сам к галчонку в кормилицы напросился, теперь уж терпи.

— Сколько же галки своим птенцам за день гусениц, червяков приносят? — удивлялся я.

— Много, очень много. А ведь знаешь, Юра, большинство гусениц — враги растений, портят листья, цветы объедают. Вот теперь сам видишь, какую пользу нам птицы приносят, сколько разной нечисти уничтожают. Птиц, братец, охранять, беречь нужно. Подожди, придёт зима, мы с тобой бесплатную столовую для них устроим.

— Какую столовую?

— Очень простую. Расчистим в саду от снега точек и будем там разную птичью еду раскладывать.

— А давайте сейчас уже такую столовую устроим, — предложил я.

— Нет, летом она птицам не нужна: летом и так везде корма вволю. Подожди зиму, тогда мы с тобой всё как следует и наладим. Теперь же тебе и с одним иждивенцем заботы хватит.

Михалыч был прав. Чем галчонок становился старше, тем прожорливее. Очень скоро он уже начал понемногу летать. И тогда от него прямо проходу не стало. Из дома он переселился жить в основном на балкон. Бывало, только заметит кого-нибудь из людей, так вслед и полетит. Догонит, сядет на плечо и начнёт разевать свой огромный рот, требовать, чтобы его покормили.

Целый день во дворе только и слышно: «Каш, каш, каш!» Это значит — галчонок у кого-нибудь еду выпрашивает.

А потом повадился к обеду в столовую прилетать. Влетит в комнату и на стол либо на плечо кому-нибудь сядет, а то прямо маме на голову. Усядется и тотчас за своё принимается: «Каш, каш, каш!»

Все его, конечно, балуют: кто кусочек котлеты даёт, кто мятого хлеба, кто картошки. Всё галчонок охотно съест, только при одном условии, чтобы еду ему прямо в рот запихивали. А вот если лакомый кусок лежит на столе или в тарелке, ни за что его сам не возьмёт.

Научился галчонок самостоятельно есть для всех совсем неожиданно. Сел он как-то во время обеда маме на край тарелки и клянчит, чтобы его покормили. Но мама никакого внимания не обращает: ест суп с лапшой, под самым носом у галчонка ложку проносит.

Вот зачерпнула полную ложку. С неё длинная лапшинка свесилась. Поднимает ложку тихо, осторожно, чтобы не расплескать суп. Вдруг галчонок как подпрыгнет — цоп лапшинку с ложки. Потряс в клюве, как червяка, и съел.

— Ну что же это делается! — возмутилась мама. — Ложку супа в рот положить не дадут.

А сама вторую попопней зачерпнула, так же точно с неё лапша свисает. Несёт мимо галчонка и как будто нечаянно потряхивает. Лапшинка так и пляшет, словно живая.

И эту галчонок съел. Начал вниз в тарелку заглядывать — откуда, мол, такие вкусные вещи являются.

Мама стала зачерпывать в ложку лапшу и понемножку приподнимать над тарелкой. Галчонок наклонялся всё ниже и ниже, а потом стал хватать лапшинки и кусочки мяса прямо из тарелки.

— Вот и одолел всю премудрость еды,— сказал Михалыч и, обращаясь к маме, добавил: — Мадам, мы, покровители животных, приносим вам за этот урок нашу сердечную благодарность.

Мама сурово взглянула на Михалыча:

— Вы — покровители животных? Хоть бы раз кого-нибудь покормили или напоили! Заводить — все охотники, а вот ухаживать — никого нет. Не покровители вы, а просто лодыри записные.

— Ну, зачем же такие сильные выражения? — миролюбиво ответил Михалыч. — Мы только хотели вынести вам свою благодарность.

Но мама ничего не хотела слушать. Она молча отодвинула тарелку с супом, взяла другую и начала раскладывать всем котлеты.

Галчонок тем временем прогуливался по столу, изредка пытаясь склюнуть со скатерти крошку хлеба. Но, когда мама положила и себе котлету да ещё вилок раскрошила её, тут галчонок пришёл в большое волнение. Он снова вскочил на край маминой тарелки, стал топорщить крылья, открывать рот и кричать: «Каш, каш, каш!»

Мама берёт вилок кусочек, а галчонок цоп его клювом — и в рот.

Мама кричит:

— Ах ты разбойник! Уходи от меня, отправляйся к Юре!

Однако галчонок никуда отправляться не хочет — ему и тут хорошо.

И я и Михалыч в восторге, только боимся слишком явно его выражать, а то как бы нам не попало.

Но мама очень довольна проделками своего любимца. Она сердится только для виду, и мы с Михалычем это отлично понимаем. Незаметно подмигиваем друг другу и молча наблюдаем за тем, как мама воюет с галкой.

— Да погоди, остужу, обожжётся ведь. Вот я тебя... — Мама слегка шлёпает галчонка вилок по носу. Тот мигом принимает оборонительную позу. Весь распушился, клюв приподнял — только тронь ещё раз!

В самый интересный момент приходит из кухни тётка Дарья убирать посуду. Она не терпит никаких проделок.

— Это ещё что за новости! — гневно кричит она. — Зачем на стол посадили? Загадит всю скатерть, тогда стирай её. Марш отсюда! — И она своей широкой ладонью сгоняет галчонка со стола.

Но с таким озорником не скоро и справишься. Он не боится даже тётки Дарьи. Нисколько не смутившись, взлетает вверх, садится ей на плечо и орёт прямо над ухом: «Каш, каш, каш!»

Старуха сразу смиряется.

— Ах ты баловень! — усмехаясь, говорит она. — Ну ладно, ладно, не ори только, сейчас покормлю.

Она собирает тарелки со стола и вместе с Галей удаляется в кухню.

Так и прожил галчонок у нас всё лето. Вырос, окреп, стал настоящей взрослой галкой.

А к осени, когда все галки стали собираться в стаи, наша Галя сдружилась со своими дикими сородичами и улетела от нас. Ну и что же? Значит, в галчиной компании ей веселее, чем у нас. Мы только очень жалели, что не догадались нашить ей на лапку белую тряпочку, тогда можно было бы проследить: осталась ли Галя зимовать у нас в городке или нашла себе на зиму другое местожительство.

КТО КОГО ПЕРЕХИТРИТ!

В нашей реке под самым городом рыбы водилось мало, и притом одна только мелочь — пескари да плотички. Но зато было очень много раков.

Когда мы ловили пескарей на броду, на быстрине, раки там никогда не попадались. А как, бывало, закинешь удочку в тихом местечке, где нет течения и поглубже немножко, сразу червяка объедят, один голый крючок оставят. И вот ведь какие хитрющие: ни за что не подцепишь его на крючок, обязательно сорвётся.

Но Михалыч пескарей на броду ловить не любил.

— Что это за ловля! — неодобрительно говорил он. — Стоишь на камешках, сесть негде, глубина — воробью по колено. Течение быстрое, всё время удочку сносит, не успеваешь её перекидывать. То ли дело на лугу, под кустиком. Усядешься поудобнее, закинешь удочки в глубокую тихую воду. Сиди-посиживай, посматривай на поплавки.

Конечно, всё это хорошо. Но как же быть с тем, чтобы раки приманку не объедали или чтобы они сами попадались на крючок?

Помню, один раз под вечер сидим мы с Михалычем у реки, только и знаем червей на голые крючки насаживаем.

— Нет, это не ловля, а какая-то бесплатная рачья столовая! — не вытерпел наконец Михалыч, — Пора домой идти. Уверен, что эти негодяи опять всех моих червей объели.

Михалыч взял одну из удочек и очень осторожно стал приподнимать вверх. Леска натянулась. Чувствовалось, что где-то там, внизу, у самого дна, к ней прицепилось что-то тяжёлое; прицепилось и висит.

Михалыч всё так же осторожно приподнимал удилице выше и выше.

— Попробую дотащить негодя до самой поверхности, — сказал он, — а там сразу рывком на берег.

Я подбежал и стал рядом, глядя в воду и ожидая, чем кончится эта интересная ловля.

Вот уже из глубины показалось что-то похожее на тёмную, почти чёрную коряжину. Рак! Он прицепился к крючку и обсасывал червяка.

Михалыч подтащил его к самой поверхности воды. Мне было отлично видно, как рак то одной, то другой клешнёй держится за конец лески у самого крючка.

— А ну-ка, иди сюда! — С этими словами Михалыч быстро выхватил удочку из воды.

Рак даже подлетел над речкой, но всё же успел разжать клешню и выпустить леску. Он тяжело шлёпнулся обратно в реку и мигом исчез под водой.

— Никак не поймать! — с досадой сказал Михалыч. Но вдруг, видимо что-то придумав, многозначительно прибавил: — А впрочем, посмотрим ещё, кто кого перехитрит!

Мы смотрели удочки и отправились домой.

Мне очень хотелось узнать, что такое придумал Михалыч, как хочет попробовать перехитрить раков.

Но Михалыч, лукаво посмеиваясь, отвечал:

— Завтра всё сам увидишь. Только надо обязательно побольше выползков добыть, — прибавил он. — Крупного выползка рак не так скоро обсосёт и с крючка стащит.

— А где их накопать? — спросил я. — Сегодня и так полдвора перерыл, ни одного не попало.

— Их и копать не нужно, — сказал Михалыч. — Вечером, как только стемнеет, пойдём с тобой их ловить.

— Ловить червей?! — Я не мог понять, серьёзно ли говорит Михалыч или подшучивает надо мной.

— Вот именно ловить.

— Но как же их ловят?

— Придёт вечер — узнаешь.

Я едва дождался, пока наступил вечер и стало темно.

— Ну, пора отправляться на ловлю, — объявил Михалыч. — Бери с собой банку побольше. Да, кстати,ними свои туфли — подмётки очень скрипят. Надень сандалии. В них не слышно, когда ступаешь.

Все эти предосторожности ещё больше меня заинтересовали.

Надев сандалии и взяв большую банку для выползков, я вместе с Михалычем вышел из дому в сад.

Было ещё не поздно, но небо затянули тучки, собирался дождик, и поэтому быстро стемнело.

— Теперь иди как можно тише и смотри под ноги, — сказал Михалыч.

Он вынул из кармана электрический фонарик и осветил им дорожку. Перед нами лёг на землю яркий голубой кружок света — сразу стали видны каждая травинка, каждый листочек.

Мы бесшумно двинулись вперёд по дорожке, освещая её прямо перед собой. И вот я увидел то, что искал. Огромный червяк, вытянувшись поперёк дорожки, неподвижно лежал на земле.

Я нацелился — хватить его за головку. Мимо. Но куда же он девался? Неужто мне всё это только померещилось? Не может быть!

Михалыч наклонился к моему уху и тихо сказал:

— Так никогда не поймает. Он сразу удерёт. Хватай не за головку, а у самого хвоста.

Пошли дальше. Гляжу — второй, такой же огромный, прямо как змея. В лучах фонарика его тело, покрытое слизью, слегка поблёскивало. Теперь я уже не торопился. Вот его головка, а самый кончик хвоста в норе. Значит, он чуть заметит опасность — сразу в норку юркнуёт. Бесшумно опускаю руку и хватаю червя у самой норки. Ага, попался! Кладу в банку. Ловля продолжается.

За каких-нибудь полчаса мы с Михалычем наловили выползков полную банку.

— Теперь насадки у нас достаточно, — сказал Михалыч, — Завтра вечером можно опять на речку сходить, попытать счастья, только бы погода не подгуляла.

К ночи пошёл дождь, часто забарабанил по крыше. Ложась спать, я совсем приуныл: «Ну-ка зарядит на целую неделю?»

Но утро выдалось чудесное — тёплое, солнечное, и денёк разгулялся на славу.

Придя с работы, Михалыч быстро пообедал, и мы отправились на ловлю,

«А что как сегодня раки братья не будут? — не без тревоги думал я.— Ведь на рыбалке так часто бывает: клюёт хорошо — приманка кончилась, а приманка есть — клёва нет».

Наконец пришли на место. Надели на крючки толстых червей и закинули удочки.

Вот один из поплавков слегка закачался на поверхности воды. Но качается как-то вяло: взад-вперёд, взад-вперёд. А другой поплавок до половины погрузился в воду и совсем замер. А третий почему-то, наоборот, приподнялся и лёг набочок.

Глядя на полавки, сразу видишь, что их кто-то шевелит, кто-то тормозит на дне приманку. Но это клюёт не рыба. Такая вялая неопределённая поклёвка обычно бывает у раков.

— Ну, мы сейчас с ними по-другому заговорим,— подмигнул мне Михалыч, вставая и беря в руки одно из удилищ. — Юра, возьми-ка подсачек, держи его наготове.

Я мигом выполнил приказание и стал возле Михалыча. А тот, так же как и в прошлый раз, потихонечку подтянул рака, прицепившегося к червяку, к самой поверхности.

— Попробуй подвести под него подсачек,— сказал Михалыч.

Я окунул сетку в воду, опустил поглубже, подвёл к удочке и быстро приподнял вверх. В ту же секунду рак бросил червяка и нырнул в глубину — прямо в подсачек.

Я с торжеством вытащил из воды эту первую нашу добычу.

Михалыч поправил червяка на крючке и вновь закинул удочку в воду.

Теперь-то и я понял, в чём заключается секрет ловли раков на удочку. Не нужно пытаться вытащить рака на крючке из воды. Он всё равно успеет бросить приманку и улизнёт. Надо медленно, осторожно подтаскивать его к самой поверхности и в последний момент подставить снизу в воде подсачек.

От первой удочки мы перешли ко второй, третьей, четвёртой, и всё с таким же успехом. Раки ловились без промаха.



Зато уж вынимать их из подсачка оказалось совсем нелегко. Они так перепутались в сетке, так вцепились в неё клешнями, что я еле-еле их оттуда извлёк и посадил в ведро.

— Ну, как мой метод? — с гордостью спросил Михалыч.— Кто кого перехитрил? — И, обернувшись к ведёрку, где шуршали, копошились пойманные раки, он погрозил им пальцем: — Теперь будете

знать, с кем дело имеете!

Мы ловили до самого вечера, пока последние лучи солнца не залили розовым светом весь наш городок.

В соборе начали звонить колокола. Густые медные звуки потекли над рекой, над лугами. Казалось, кто-то огромный, невидимый выговаривал басом: «Бум, бум, бум!»

Михалыч прислушался и тихонько запел:

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном
Где я любил, где отчий дом...

Он пел, а колокола аккомпанировали: «Бум, бум, бум, бум!»

Я слушал и смотрел на Михалыча. Лицо у него было такое хорошее, доброе и почему-то грустное. Такое же, как в тот вечер в лесу на тяге, когда я нашёл на дереве убитого вальдшнепа.

Мне стало жалко Михалыча.

Желая его развеселить, я сказал:

— А вы всё-таки здорово раков перехитрили.

Михалыч потрепал меня по плечу, улыбнулся и вдруг совсем ни к чему сказал:

— Посмотри, Юра, как хорошо освещает солнце наш городок; будто прощается с ним. — Он помолчал и в раздумье добавил: — Лето, вечер, река... Хорошо, очень хорошо! Когда-нибудь, Юрочка, вспомни о раках, об этом вечере и о Михалыче тоже вспомни.

Я вспомнил о них теперь — спустя пятьдесят с лишком лет.

МЕРТВАЯ ГЛАВА

У нас в саду была клумба. На ней мама ещё весной посадила много разных цветов. Больше всех из них мне нравился душистый табак. Нравился прежде всего потому, что это были не совсем обыкновенные цветы. На день, и особенно в жару, сами цветы свёртывали свои лепестки, превращались в зеленоватые трубочки. Они поникали на своих стеблях головками вниз и казались совсем увядшими. Но как только заходило солнце, наступал вечер, цветы табака раскрывали нежные лепестки и поднимали головки. В темноте они походили на крупные белые звёзды, и от них исходил сильный, очень приятный запах. Этот запах разливался по всему саду и вместе с вечерней прохладой проникал в дом через настезь раскрытые окна.

Мы с Михалычем частенько сживали после ужина на лавочке перед клумбой и, как Михалыч любил говорить, «заправляли на ночь носы душистым табачком».

— Вот дух-то хорош! — восхищался Михалыч, всей грудью вдыхая запах белых ночных цветов.

Я тоже, подражая ему, старался дышать как можно глубже и даже свистел и сопел носом от особого усердия.

Так обычно сидели мы, дыша ароматом цветов, с полчаса. Потом являлась мама и уводила меня спать.

Но однажды вечером я открыл, что цветы душистого табака замечательны не только тем, что свёртывают днём и раскрывают на ночь свои лепестки, не только тем, что чудесно пахнут в часы вечерней прохлады, — я открыл, что эти цветы обладают ещё одним важным свойством. Об этом я сейчас и расскажу.

Был очень тихий и тёплый вечер, какой часто бывает уже в конце лета. Мы с Михалычем, как всегда, перед сном сидели в саду на лавочке. Стемнело. В траве на все лады трещали невидимые кузнечики, и где-то в разошедшей стенке сарая монотонно тюрлюкал сверчок.

Воздух был неподвижным, и как-то особенно сильно пахли цветы табака. Их крупные звёзды смутно белели на густо-зелёном, почти чёрном фоне клумбы.

— Как настоящие звёзды среди туч, — сказал Михалыч, указывая на клумбу.

Я стал не отрываясь глядеть на белые цветы, пытаюсь представить себе, что это действительно звёзды.

Вдруг мне показалось, что одна из этих звёздочек как будто замигала. Она то исчезала из глаз, то вновь появлялась. При этом она слегка покачивалась и вся дрожала. Звёздочка ожила. Я с удивлением смотрел на неё, думая, что, может быть, у меня просто рябит в глазах. Нет, это что-то другое. Вот теперь первая звёздочка уже не мигает и не дрожит, а замигала соседняя, потом ещё одна.

— Ты слышишь, что-то гудит? — сказал Михалыч.

Тут я обратил внимание на то, что со стороны клумбы до нас доносился какой-то слабый равномерный гул, похожий на пчелиное жужжание.

— А вы видите, как цветы мигают? — в свою очередь, спросил я Михалыча.

Но он видел хуже меня и ничего не мог разглядеть.

Тогда я встал с лавки и осторожно, крадучись подошёл к самой клумбе.

Вот замигал один из белых цветков. От него-то и слышится этот странный гул. Я вгляделся получше. «Да сам цветок вовсе не мигает. Его то заслоняет, то вновь открывает какой-то тёмный предмет. Он и гудит. Бабочка, большая ночная бабочка», — догадался я.

Подбежав к Михалычу, я радостно сообщил ему о своём открытии.

— Скорей неси сачок! — скомандовал он.

Но я уже нёсся к дому.

— Юрочка, спать, спать иди, — встретила меня в дверях мама. — Уже поздно.

— Мамочка, ради бога! Там бабочка огромная, ночная.

— Где, какие бабочки по ночам? Совсем с ума сошли!

Не слушая, что ещё говорила мама, я убежал в кабинет Михалыча, схватил сачок и помчался обратно в сад. Прибежал. «Где, где она?»

Но на клумбе всё было спокойно и неподвижно. Не мигал, не вздрагивал ни один цветок, и не слышно было таинственного гудения.

— Улетела, — уныло сказал я. — Больше не прилетит.

— Да, маху мы с тобой дали, — отозвался Михалыч. — Нужно бы сразу сачок с собой захватить. Ну, не горюй, не сегодня, так завтра мы её всё равно поймаем.

— А какая огромная! — упавшим голосом ответил я. — Знаете, с воробья, не меньше.

— Наверное, это была мёртвая глава, — сказал Михалыч.

Я почувствовал, как у меня от волнения сжалось сердце. Мёртвая глава! Конечно, это была именно она.

Я сразу вспомнил её на картинке. Всю тёмно-серую, коричневатую, а на туловище будто нарисован желтоватый человеческий череп. За это и прозвали её мёртвой главой. Как же я допустил, что она улетела!.. Теперь никогда, никогда в жизни уже её не поймаю.

— Юра, иди сейчас же спать! — слышался с крыльца голос мамы.

— Не пойду, я мёртвую главу караулю! — чуть не плача, ответил я.

— Мёртвая голова? — испугалась мама, торопливо сходя с крыльца. — Чья голова, зачем она тебе понадобилась?

— Мадам, вы совершенно не осведомлены в энтомологии. Мёртвая глава! Это ночная бабочка, очень крупная и очень редкая. Мы её сейчас и караулим.

Узнав, в чём дело, мама успокоилась, но строго сказала:

— Ну хорошо. Вот ещё пять минут можешь покараулить кого хочешь, а потом изволь сейчас же спать идти. А то больше не позволю этими глупостями заниматься.

«Поймать мёртвую главу — это значит заниматься глупостями, — подумал я с горечью. — Даже мама, родная, добрая, такая умная, и та понять не может, что сегодня надо хоть всю ночь здесь просидеть, раз где-то поблизости летает мёртвая глава».

И я ясно представил себе, как в ночной темноте носится над цветами огромная, как ночная птица, таинственная бабочка, подлетает к цветку, но не садится на него, как какая-нибудь крапивница или белянка, а трепещет в воздухе на одном месте у самой чашечки цветка, запуская в неё на лету свой длинный хоботок.

Ах, как быстро летит время! Наверняка уже прошло больше пяти минут. Сейчас мама выйдет на крыльцо и каким-то чужим, сердитым голосом скажет: «Ну, довольно, сейчас же домой».

И на это уже ничего нельзя возразить. Нужно сейчас же повиноваться. Даже Михалыч и тот уже не поможет, а покорно подтвердит: «Нужно, братец, идти, ничего не поделаешь».

Вот уже, кажется, скрипнула входная дверь. Ах, если бы часы в столовой остановились! Ведь могут же они хоть раз в жизни сломаться.

Таинственный лёгкий гул сразу прервал мои размышления.

— Юра, слышишь? — шепнул Михалыч.

Я ничего не ответил, так и замер, впившись глазами в белые головки цветов.

«Где, где она?!»

Вот замигала одна из звёздочек. Не чуя под собой ног, я, как во сне, сделал шаг, другой. Занёс сачок.

Большое тёмное тело бабочки едва касалось цветка, и он слегка покачивался.

Нужно сделать движение сачком, будто срываешь что-то. Пора. Скорее. Дорога каждая секунда. Вот уже бабочка покинула цветок. Улетела? Нет, перебралась к другому.

Я опять занёс сачок. Но рука дрожала, не слушалась. Упущу, обязательно упущу.

— Лови, что ж ты стоишь?! — послышался голос Михалыча.

Я с отчаянием, совсем не целясь, махнул сачком, сорвав сразу несколько цветков. Но бабочка, где же она? В сачке или нет?

— Поймал, поймал? Да говори же! — чуть не закричал Михалыч.

— Не знаю. Ничего в сачке не шевелится.

— Эх ты, разиня! Тебе только мух ловить! — Михалыч встал и, не глядя на меня, пошёл в дом.

Совсем убитый, я поплёлся за ним.

— Ну что, поймали? — встретила нас мама. — Уже одиннадцатый час. Просто безобразие!

— Мамочка, я мёртвую главу упустил! — в отчаянии сказал я.

— Ну, упустил, и ничего. Еще поймаешь,— начала утешать меня мама. — Не огорчайся, обязательно поймаешь. Я завтра тоже с тобой ловить пойду.

Я уже хотел расправить сачок и вытряхнуть из него сорванные головки цветков, как вдруг заметил, что внутри сачка копошится что-то живое. Тонкая марля в одном месте слегка шевелилась.

— Мама, Михалыч! — не своим голосом закричал я. — Она здесь, здесь, в сачке!

— Где? Стой, не упусти! — послышался ответный крик. Михалыч уже нёсся ко мне на помощь.

Он выхватил у меня из руки свёрнутый сачок и, придерживая, чтобы он не раскрылся, побежал в кабинет. Я — следом за ним. Мама — за нами.

В кабинете Михалыч положил сачок на письменный стол, достал из шкафчика пузырёк с эфиром и капнул несколько капель прямо на марлю, там, где под нею шевелилось что-то живое.

— Теперь готова! — победоносно сказал Михалыч. — Можно раскрыть и посмотреть.

— Подожди, дай только окно закрою. Ну-ка ещё улетит, — переполошилась мама.

— Нет, уж теперь никуда не улетит.

Михалыч вытряс на стол всё содержимое сачка.

И мы бросились его рассматривать.

На столе лежало несколько цветков душистого табака и крупная тёмно-бурая ночная бабочка.

Михалыч осторожно пинцетом взял её, поднёс к лампе.

Увы, никакого черепа на её туловище не оказалось.

— Это не она, — с некоторым разочарованием сказал Михалыч. — Это какой-то бражник. Ну ничего, тоже отличный трофей. Такого у нас в коллекции нет.

Михалыч проколол булавкой туловище бабочки, потом взял расправилку и, не теряя времени, сел тут же расправлять бабочку. Он раздвинул ей крылья. Они были коричневато-розового цвета с тёмным извилистым узором. В общем, бабочка была очень красива, и я немного утешился, что это не мёртвая глава.

— И даже очень хорошо, что это просто бабочка, а не эта дурацкая голова, — сказала мама. — С каким-то черепом на спине, страсть какая! Ничего хорошего. Я бы поглядела, а потом всю ночь не спала. А эта прямо красавица! Ну, друзья мои, пора спать, а то до самого утра так провозитесь.

ПЕЧАЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ

— Куда же это наш Михалыч запропастился? — тревожно сказала мама. — Уже четыре часа, а его всё нет. И не обедал до сих пор. — Мама подумала и уже совсем другим, недовольным голосом добавила: — Наверное, опять к Соколовым зашёл. Тары-бары о зайцах, о щуках. И забыл, что его ждут обедать, обо всём на свете забыл. Садись, Юра, за стол, нечего его ждать.

Когда мы уже кончали обедать, вошёл Михалыч.

— У Соколовых был? — не без ехидства спросила мама.

— У каких там Соколовых! — махнул рукой Михалыч. Он сел к столу и тут же закурил.

Я сразу заметил, что вид у него очень расстроенный. Мама тоже это заметила:

— Налить тебе супу?

Михалыч не ответил. Он курил и о чём-то думал.

— Вот это горе, настоящее горе! — как бы сам с собой заговорил он.

— Да где ж ты был, что случилось? — забеспокоилась мама.

— У Ивановых был. Знаешь Иванова? В казначействе служит. Пришибленный такой.

— Знаю, знаю. Что у него?

— Дочь, младшая дочь заболела, Татьяна. Сегодня кончаю приём в больнице, уже собрался домой идти, вдруг он прибегает. На самом лица нет. «Ради бога, придите ко мне, дочке плохо». Ну, пошли. Приходим. Боже мой! Комнатёнка крохотная, духота, дышать нечем. Тут же двое ребят, орут, кричат, какой-то шар по полу катают. А Татьяна на отцовской постели, в жару. Смерили температуру, почти тридцать девять. Послушали её — всё правое лёгкое хрипит. Воспаление, да какое ещё!

— О господи помилуй! — вздохнула мама.

— Я говорю отцу: ей прежде всего чистый воздух нужен, в таких условиях держать нельзя. А он руками разводит — где же их, эти условия-то, взять. И питание, говорю. Как только температура спадёт, молока ей побольше, масла, яиц.

Мать подошла, слушает, головой кивает.

— А я говорю, и, поверишь, самому стыдно. Точно на смех, над людьми издеваюсь. Откуда же они всё это возьмут? Жалованье — четвертной в месяц, а семья пять человек.

— Ох, и не говори, слушать страшно! — сказала мама. — Бедненькая малышка! Так нельзя оставить.

— Конечно, нельзя, — ответил Михалыч. — А ты знаешь, — продолжал он, — Татьяна-то в жару лежит, а как услышала, что я про еду заговорил, кричит мне с постели: «Дядя доктор, я молочко люблю, только папка купить не хочет».

Михалыч махнул рукой и стал закуривать папиросу.

Мама сидела не двигаясь, и я увидел, что по щекам у неё текут слёзы.

— Вот это горе! — тихо сказала она.

И вдруг я понял, всё сразу понял: «Татьянкин папа хочет купить ей молока, хочет, но не может, он бедный, у него нет денег».

— Мамочка, купи ей молока, — сквозь слёзы проговорил я, подбегая к матери. — Я не буду его пить, я здоровый, а она больная, она умрёт!..

Мама обняла меня, стараясь успокоить:

— Что ты, что ты, Юрочка! Она не умрёт. Михалыч её вылечит, обязательно вылечит. А молока мы ей сейчас же пошлём.

Потом мама долго говорила с Михалычем о том, что нужно собрать деньги, чтобы Татьяна лучше питалась. А может, когда она совсем поправится, даже удастся отправить её на лето к морю, в Крым.

— Я сейчас схожу к Соколовым, — сказала мама. — Сам-то Иван Андреевич прямо лопатой деньги гребёт. На такое дело грех не раскошелиться.

— Сомневаюсь, чтобы он что-нибудь дал, — покачал головой Михалыч.

— Да что ты зря говоришь! — возмущилась мама. — Помнишь, подписка была на новый колокол в соборе. Он первый сто рублей подписал.

— То колокол, он звонить будет, — ответил Михалыч, — а тут дело совсем другое, без звону... Пойди попробуй.

После обеда мама взяла лист бумаги и пошла к разным знакомым, кто побогаче, чтобы собрать деньги для Татьянки.

Я ушёл в другую комнату, стал рассматривать пойманных и засушенных бабочек, рассматривал их, а мысли были где-то далеко-далеко.

Иван Андреевич Соколов — самый богатый купец в нашем городе. Я об этом слышал уже много раз. А сегодня мама даже сказала, что он деньги лопатой огребает. И я ясно представил себе, как он это делает — поддевает огромной лопатой золотые монетки и сыплет их в мешок. Он очень богатый и очень щедрый — целых сто рублей пожертвовал на какой-то колокол. Но почему же Михалыч не верит, что он даст много денег Татьянке? Конечно, даст. И сам Михалыч даст, и все дадут. И Татьянку повезут в Крым, к морю. А море большое-большое, может, в сто раз больше нашей реки. И мне самому вдруг захотелось поглядеть на это море и вместе с Татьянкой тоже поехать в Крым.

Мама вернулась к вечеру усталая и почему-то сердитая.

— Ну? — спросил её Михалыч.

— Что «ну»? — в свою очередь, спросила его мама.

— Вышло что-нибудь с подпиской?

— Вышло то самое, что ты и говорил.— Она помолчала и добавила: — Кое-кто дал, кто сам победнее.

— А Иван Андреевич?

Мама сердито махнула рукой:

— Даже говорить не хочу.— Но тут же не вытерпела и заговорила: — Как ему самому не стыдно! Разохался, разохался. «Совсем, говорит, разорился, торгую только в убыток. Скоро придётся и вовсе лавку закрыть...»

— Ну, сколько же дал? — перебил Михалыч.

— Рубль дал, вот сколько! Я вернуть хотела, да постеснялась как-то.

— А жаль — не вернула.

— Да я и сама жалею. Ну, поверишь — растерялась. Совесть за него...

— Вот тебе и колокол в сто рублей,— усмехнулся Михалыч.

— Да, уж нечего сказать — колокол! — махнула рукой мама и сейчас же добавила: — Но всё-таки кое- что собрала. На Крым, конечно, не хватит, а на еду Татьянке, на разные там мелочи очень пригодится. — Мама помолчала и заговорила снова: — Только как бы отцу эти деньги отдать, чтобы он не обиделся?

Михалыч задумался. Он сидел, курил папиросу, постукивая пальцем по столу.

— Вот что я придумал: пошли по почте. Напишешь на переводе: такому-то для Татьянки, чтобы хорошо кушала, скорее поправилась. Подпись нераз-

борчива. Он решит, что прислал кто-нибудь из родственников. Вот и дело с концом.

— Да, да, так я, пожалуй, и сделаю,— ответила мама.

После обеда я пошёл в сад, думая о разговоре Михалыча с мамой.

А ведь Михалыч угадал, что Иван Андреевич не даст денег для Татьянки. А на колокол дал. Почему это? А мама не угадала. Значит, Михалыч догадливей? Но мама всё-таки хорошая и добрая. Она хочет помочь Татьянке скорее выздороветь. Но почему нельзя просто отдать деньги отцу Татьянки, нужно посылать ему по почте, иначе он обидится? Что же тут плохого или обидного?

Всё это было непонятно и как-то очень нехорошо. Я не понимал, в чём дело, но чувствовал за всем этим какую-то неправду.

Я, конечно, давно уже знал, что на свете есть богатые и бедные люди. Об этом часто говорили взрослые, об этом мне мама читала в книжках. Но сегодня я почувствовал всё это как-то особенно живо и глубоко.

«Как плохо быть бедным! — подумал я. — И почему это на свете так нехорошо устроено? У одних очень много денег, а у других совсем нет. А почему нельзя взять все деньги и разделить, чтобы у всех было поровну? Если бы я был царь, обязательно велел бы так сделать».

И мне стало даже обидно, что я не могу сделаться царём и не могу осуществить такое простое и хорошее дело.

Прошла неделя, другая. Погода стояла тёплая, солнечная. Татьянка выздоравливала и без всякого Крыма. Об этом мы узнавали от Михалыча. Он почти каждый день ходил её навещать.

Скоро она и совсем поправилась. Но печальные, тревожные мысли, которые были вызваны её болезнью, уже не могли мною забыться. Они говорили мне о том, что в жизни, увы, далеко не всё хорошо и радостно. Это были уже не совсем детские мысли.

ПЛЮШЕВЫЙ МИШКА

После болезни Татьянки я невольно стал как-то внимательнее присматриваться ко всему, что меня окружало, и подмечать то, мимо чего раньше проходил не задумываясь.

Однажды, пообедав, я сидел у окна в столовой. Вдруг к нам во двор вошла женщина-нищенка с мальчиком. Оба были одеты в какие-то лохмотья, у каждого за спиной виднелся мешок, через плечо висела грязная холщовая сумка, а в руках была длинная палка.

— Подайте милостинки-христорадинки!.. — торопливо нараспев затянули они, подходя к окну и протягивая худые, чёрные от загара руки.

— Мама, мама! — позвал я, выбегая в другую комнату. — Там нищие, милостыньку просят.

Вместе с мамой я вернулся в столовую. Нищенка с мальчиком всё ещё стояли у окна, протянув к нему свои костлявые руки.

— Иди, иди, мамаша, вон в ту дверь — сказала мама, показывая на дверь в кухню.

Женщина низко поклонилась и, держа мальчика за руку, пошла, куда указала мама.

В кухне мама посадила обоих за стол, налила в миску оставшегося от обеда супа, нарезала хлеба.

Женщина и мальчик перекрестились и сели есть.



— Вы что же, не здешние? — спросила мама.

— Елецкие мы, из-под Ельца, значит,— отвечала женщина. — Отселева, почитай, вёрст сорок будет. Погорели весной, вот теперь и ходим с сынком, собираемся.

— Погорели? Пожар, значит, был?

— И, родненькая, какой пожар-то! Почитай, полдеревни огнём смахнуло. Как занялось от крайней избы, так и пошло, и пошло по ветру. За полночь загорелось-то, все мы спали. Так из домов в чём легли, в том и повыскакивали. Всё погорело. У нас с сынком и коровка, и овечки, и поросёночек... ничего от огня не уберегли.

Я слушал этот страшный рассказ, слушал и удивлялся, что женщина так спокойно говорит.

А она всё рассказывала и почти ничего не ела. Зато её сын ел суп с большим удовольствием.

Только, когда мать начала говорить о том, как металась, ревела в горящем хлеву корова, мальчик вдруг перестал есть, широко раскрыл глаза, будто видя что-то перед собой, и вдруг сказал:

— И Маруська тоже сгорела.

— Какая Маруська? Девочка? — испуганно спросила мама.

— Да нет, — махнула рукой женщина, — кошка его, Маруськой звали. — И, погладив сына по голове, добавила: — Мал ещё, несмышлён. Всё добро погорело, а он, видишь, о кошке своей убивается. Чуть сам из-за неё не сгорел.

— Жалко Маруську, — тихо сказал мальчик. — Она в окно кинулась, а окно закрыто. Я бы вытащил, да мамка не дала.

— Так и сгорел бы вместе со своей Маруськой! — раздражённо сказала женщина и, вздохнув, добавила: — А может, и лучше было бы. Куда мы теперь, бесприютные, денемся? Наступит зима, всё одно помирать.

— Но как же это? — удивилась мама. — Всё сгорело. Должен же вам кто-то помочь отстроиться, хозяйством обзавестись?

Женщина посмотрела на маму усталыми, какими-то подслеповатыми глазами:

— Кто должен помочь? Господь бог нас огнём за грехи покарал. А простит ли он, поможет ли, бог его знает. Я и сама не пойму, — добавила она в раздумье, — чем уж мы его так прогневали? Мужа грозой убило, дочь в тифу померла, а вот мы с Николкой по миру ходим. Ну что ж, — вздохнула она, — видать, на всё его божья воля!

Женщина ещё раз перекрестилась и, встав из-за стола, низко поклонилась маме:

— Благодарю покорно за угощенье... Пойдём, сынок.

— Подождите, не уходите, — остановила её мама. — Я вам кое-какую одежонку дам.

— Ох, родимая моя, заставь за тебя весь век бога молить! — запричитала женщина.

Я побежал в комнаты вслед за мамой. Она быстро достала из шкафа своё старое шерстяное платье, платок, потом вытащила из сундука мой костюмчик, из которого я уже давно вырос, взяла прошлогодние башмаки, они мне тоже были малы, и понесла всё это в кухню.

— Мама, а можно, я Коле своего мишку подарю? — попросил я.

— Какого, плюшевого?

— Ну да.

Мама заколебалась.

— На что он ему? — в нерешительности сказала она. — Одежда ему нужна. А мишка? Где он его с собой таскать будет. Он и играть-то с ним не сумеет.

— Мамочка, позволь, я ведь в него тоже редко теперь играю, я уж большой!

— Ну хорошо! — вздохнула мама. — Только это уж глупости, ни к чему совсем.

Но я уже обнимал маму и благодарил за разрешение. Мигом достал мишку из коробки с игрушками и следом за мамой побежал в кухню.

Увидя одежду, женщина даже ахнула и бросилась целовать маме руки.

— Что ты, что ты, перестань, пожалуйста! — отбивалась от неё мама.

— Колька-то мой, как барчук, нарядится, — говорила женщина, разглядывая мой старый, потёртый костюмчик.

— Ну, пойдите вон туда — в кладовку, переоденьтесь, — сказала мама.

— Нет уж, голубушка, это мы на праздник побережём, чтобы в церковь сходить.

Сколько мама ни убеждала, женщина ни за что не хотела снять свои лохмотья и одеться получше.

Она аккуратно свернула всё и запрятала в свой мешок.

Сынишка стоял тут же рядом, не проявляя никакого интереса к тому, что делает мать.

«Он и медвежонку моему не обрадуется,— подумал я, — тоже в мешок сунет». И мне уже стало жаль расставаться с любимой игрушкой. Жаль и в то же время как-то неловко: «Раз уж принёс, надо отдать».

— Вот возьми. Это медведь, — протянул я игрушку.

Мальчик посмотрел на меня с изумлением, даже как будто с испугом.

— Возьми, если хочешь. Будешь с ним играть. Можно в охотники, будто он настоящий, живой.

Женщина взглянула на медвежонка и замахала руками:

— Да куда нам, зачем нам! Что мы с ним делать- то будем!

И вдруг при этих словах мальчонка будто очнулся. Он подбежал ко мне, схватил игрушку и крепко-крепко прижал к груди. Испуганно, как дикий зверёк, он взглянул на мать.

— Отдай, отдай, на что тебе! — говорила женщина. — Одежонку дали, спасибо за неё, осенью от холода укроешься. А это тебе на что?

Но мальчик только ещё крепче прижимал к себе медвежонка. Было видно, что он вытерпит брань и побои, но не расстанется с моим подарком.

— Пусть возьмёт, поиграет с ним... — вмешалась мама. — Хочешь его себе взять? — спросила она у мальчика.

Тот утвердительно кивнул головой.

— Ну, уж бери, позабавься с ним, — вздохнула женщина, — да поблагодари добрых людей за душевность к нам, нищим, убогим.

Но мальчик ничего не говорил, только испуганно озирался по сторонам. Было видно, что он хочет поскорее уйти и больше всего боится, что у него отнимут его нежданное сокровище.

Мама дала женщине на дорогу немного денег, хлеба, сахару, чаю, каких-то конфеток.

Наконец мать и сын ушли.

Я побежал в кабинет Михалыча, откуда из окна была видна дорога от нашего дома вверх к слободе.

Долго смотрел я, как поднимались в гору Николка и его мать. Мальчик шёл немного позади и на ходу всё время вертел и рассматривал никогда раньше не

виданную игрушку, первую и, вероятно, последнюю игрушку в его бродячем, безрадостном детстве.

И этот случай, так же как и болезнь Татьянки, оставил свой след в моей детской памяти. «Почему у меня много игрушек, а у Коли не было ни одной? — думал я. — И одежда у них такая плохая, рваная! Ну что же, что их дом и вещи сгорели. Разве нельзя построить новый дом, купить новые вещи? Но кто это должен сделать? Конечно, богатые люди. Так почему же они не делают?»

Я спросил об этом у мамы.

— Будешь постарше, поймёшь, — ответила она.

Такой ответ меня, конечно, совсем не удовлетворил.

НЕОБЫЧНЫЙ ПАЦИЕНТ

Михалыч пришёл с работы и, садясь обедать, весело сказал:

— Какой пациент у меня сегодня в больнице был, ни за что не угадаете!

— Кто-нибудь из знакомых? — спросила мама.

— Ну, как сказать, лично ты его не знаешь, а вообще очень даже знакомый, — посмеиваясь, отвечал Михалыч. — Ты знаешь портного Никольского Петра Ивановича?

Мама отрицательно покачала головой.

— И я до сих пор не знал, — пододвинув к себе тарелку с супом, сказал Михалыч. — А оказывается, есть такой. — И продолжал: — Мастер-то, наверное, он неважный, разное старьё перешивает. Вот этот самый портной и явился сегодня ко мне на приём. Гляжу — входит в кабинет какой-то старикашка, худенький, щупленький, в чём душа, и сразу же начинает извиняться: «Уж вы простите, что беспокоил. Прямо не знаю, как к вам обратиться?» А я говорю ему: «Вы, папаша, не стесняйтесь. Что у вас за болезнь? На то мы и врачи, чтобы лечить, какое тут беспокойство». — «Да нет, отвечает, я-то не болею, я только хочу посоветоваться, если не прогневайтесь, как мне самому полечить». — «Кого полечить?» — «Скворца». — «Ничего не пойму — какого Скворца? Фамилия, что ли, такая?» — «Нет, не фамилия, а самого обыкновенного птичьего скворца». Я, признаться, подумал, что дед маленько того, рехнулся от старости. Нет, вижу, как будто всё в порядке. Говорю ему: «Вы, дорогой, не волнуйтесь, расскажите, в чём у вас дело». Он и рассказал. Оказывается, по профессии он портной, а по душе — птицелов. Всю жизнь разных птиц ловит и в клетках держит. Есть у него, между прочим, любимый скворец, ручной совсем, по комнате летает. И вот этот самый скворец вчера лапой за что-то зацепился, рванулся и ногу сломал.

— Ах, какая жалость! — вздохнула мама.

Михалыч продолжал:

— Я старику говорю: «Вы бы, Пётр Иванович, к ветеринару обратились». — «Был, отвечает, только зря проходил. Ветеринар и смотреть не стал. «Мы, говорит, скотину лечим: коров, лошадей, овец... А разных синиц и щеглов лечить не берёмся». Вот я и решил к вам зайти, может, вы не откажете». И поверишь, Надя, — обратился Михалыч к маме, — сам говорит, а сам чуть не плачет. Ну, что тут делать? «Ташите, говорю, вашего пациента к нам в больницу. Давайте попробуем его полечить». Только сказал это, старик пулей из кабинета выскочил. Полчаса не прошло — он уже опять является, в руках скворца держит. Первый раз я с таким пациентом дело имел. Выстрогал из спичек две шинки, привязал их ниткой с двух сторон к сломанной ножке, потом настоящую гипсовую повязку ему устроил. Кончаю и говорю Петру Ивановичу: «Только нужно, чтобы он на больной ноге не скакал, пока гипс как следует не затвердеет. А то и повязку сбросит, и костям срastись не даст». Пётр Иванович всё это внимательно выслушал и спрашивает: «А сколько времени нужно, чтобы повязка окрепла, и вообще — сколько времени ему нельзя двигаться?» — «Ну, точно ответить, говорю, на это мне трудно. Я переломы костей у птиц никогда не лечил. Чем дольше, тем лучше. Во всяком случае, дня два-три больной ноге обязательно надо покой дать». — «Хорошо, отвечает. Я его эти дни на руках подержу». Я, признаться, даже не понял: «Как, целые дни на руках?» — «А что же поделаешь, раз такое несчастье с другом случилось. Ведь он мне первый друг: и песенку мне споёт, и поговорит со мной. Он ведь учёный, разные слова говорить может». Вот какой пациент у меня сегодня в больнице побывал! — закончил Михалыч.

После обеда я стал приставать к Михалычу, чтобы вместе пойти к Петру Ивановичу навестить скворца.

— Обязательно сходим, — ответил Михалыч, — только дня через два, через три. Пусть за эти дни немножко оправится.

В ГОСТЯХ У ПЕТРА ИВАНОВИЧА

С тех пор как Михалыч рассказал мне про больного скворца, прошло не два дня, а целая неделя. Михалычу всё было некогда навестить своего крылатого пациента. Наконец как-то раз он сказал мне:

— А сегодня у меня в больнице опять Пётр Иванович был, заходил сказать, что скворец его поправляется. Повязка держится крепко, и скворушка уже начал опираться на больную ножку. Пётр Иванович просит зайти посмотреть на его птичье хозяйство.

— Когда же мы пойдём? — спросил я.

— Да я бы думал — сегодня, если у тебя особо срочных дел не имеется.

— Какие там дела! — обрадовался я, — Идём, прямо после обеда идём.

— После обеда так после обеда, — согласился Михалыч. — Хотя это время, друг мой, природой отведено для небольшого раздумья.

— Нет-нет, никаких раздумий! — заволновался я. — А то скажете, что полчаса подумаете, а проспите до самого чая, а там и идти некогда.

— Ну что же, значит, на сегодня раздумье отменяется, — грустно вздохнув, согласился Михалыч.

Сейчас же после обеда мы отправились к Петру Ивановичу. Он жил на нижней улице у самой речки. Домик крошечный, в два окошка, и почти совсем в землю врос. Крыша тесовая, лишайниками, мохом обросла. А вокруг домика густые зелёные кусты сирени и жасмина. Из-за них только крыша виднеется да краешек белой, вымазанной мелом стены. Не домик, а настоящий гриб боровик или, ещё вернее, сказочный лесной теремок, в котором живут Мышка-норушка да Лягушка-квакушка.

Когда входили внутрь, Михалычу пришлось согнуться в три погибели, и всё-таки он больно стукнулся головой о притолоку.

Вошли. Я так и замер от восторга, даже с места сдвинуться не могу. Это же и вправду терем-теремок. Весь домик внутри — только одна комната, но зато какая! Все стены клетками увешаны, и под потолком тоже клетки. А в них разные птицы. Крик, писк, чириканье, будто не в комнату, а утречком в лес вошёл.

Посреди всех этих птиц за столом сам Пётр Иванович. Сразу он мне показался тоже вроде большой старенькой птицы. Лицо худое, жёлтое, нос длинный, как клюв. А на голове жиденький седой хохолок, будто его кто-то немножко выщипал.

Пётр Иванович сидел у стола и крошил на него творог — кормил скворца с завязанной ножкой.

— Кто там пожаловал? — не отрываясь от своего дела, спросил он.

— Мы, Пётр Иванович, — ответил Михалыч. — Пришли больного навестить.

— А, доктор, да ещё с сыном! — воскликнул старичок. — Проходите, проходите. Я сейчас...

— И, обращаясь к скворцу, сурово добавил: — Уродничаешь, не хочешь есть, и не надо!

— Хочу, хочу! — хрипло закричал скворец, пытаюсь щипнуть хозяина за палец.



— Ничего ты не хочешь! — сердито ответил тот. — Только балуешься!
Мы сели возле стола на табуретки.

— Ну вот и всё моё хозяйство! — сказал, улыбаясь, Пётр Иванович, показывая рукой на птичьи клетки. — Так с этими дурачками и живу весь свой век. Я их пою, кормлю, а они мне песенки распевают. А вот это — ваш больной. Видите, какой озорник.

Пётр Иванович подставил скворцу ладонь. Тот сейчас же вскочил на неё и принялся щипать клювом за пальцы.

Михалыч надел очки, желая получше разглядеть, как держится гипсовая повязка на ножке птицы.

Пётр Иванович пододвинул руку поближе.

Тут скворец оставил в покое пальцы хозяина. Он приподнял голову, поглядел на Михалыча и потянулся клювом к его очкам.

— Стащит, стащит! — заволновался Пётр Иванович, отдёргивая руку вместе со скворцом.

— Ах ты, плутишка этакий! — засмеялся Михалыч.

Он внимательно осмотрел больную ножку птицы и остался доволен.

— Всё в порядке, зажило отлично, — сказал Михалыч. — Но повязку снимать, пожалуй, рано. Пусть походит в ней ещё с недельку. Ножку она не давит, а всё-таки это поддержка, на кости меньше нагрузки.

Потом мы стали осматривать других птиц. Кого-кого тут только не было: чижи, щеглы, синицы, овсянки, поползни... Я уж всех и не упомяну. Очень многие жили у Петра Ивановича по несколько лет. Они были совсем ручные: вылетали из клеток, носились по всей комнате, а потом сами же возвращались обратно в свой домик.

— Они у меня и по воле летают, — сказал Пётр Иванович. — Я их почти каждое утро прямо в клетках в сад выношу. Открою дверцы — пусть погуляют, крылышки поразомнут.

— А не бывало такое, что совсем улетят? — спросил Михалыч.

— Как не бывало! Всякое случается, — добродушно отвечал Пётр Иванович. — Иная по дурости улетит, а иная с пути собьётся, дорогу обратно в свой дом не найдёт. А какую ястреб на грех поймает. Без этого, чтобы совсем не пропадали, никак нельзя.

— А как же вы их ловите? — заинтересовался я.

— Ловлю-то как? Да по-разному: и сеткой, и западнями, и плёнками. Для разных птиц разные способы имеются. Вот если интересуешься этим делом, сынок, отпросись у папаши да приходи ко мне пораньше утречком, на зорьке. Вместе на ловлю сходим, тогда и сам увидишь.

— Михалыч, можно сходить? — тут же попросил я.

— Я-то считаю, что можно, — ответил он. — Вот только, как «главное начальство» на это дело посмотрит. Попробуем уговорить, может, и отпустит.

— Это какое же начальство? — осведомился Пётр Иванович.

— Да мама, мама моя! Ну-ка не пустит. Скажет: куда такую рань, ещё спать надо.

— Ага, мамаша, значит! — закивал головой старичок. — Это верно, раненько вставать приходится. Ну, да ничего. Я сам за тобой ужотко зайду, вместе попросим мамашу, может, и разрешит.

— А не жаль вам, Пётр Иванович, круглый год птиц в неволе держать? — спросил Михалыч. — Ведь на воле-то, особенно летом, куда им привольней, чем в тесной клетке.

— Это так, это действительно так! — сейчас же согласился Пётр Иванович. — Действительно, много жестокости в том, что мы вольную птицу воли лишаем.

Он вздохнул, помолчал и вдруг добродушно усмехнулся:

— Вот так я и сам вроде той птицы. Мне бы бродить да бродить по лесам, по лугам. Ан нет, приходится работой заниматься. — И он кивнул головой на угол комнаты, где стояла портняжья швейная машина и валялся целый ворох какого-то тряпья. — Пожалуй, похуже всякой клетки, — улыбнулся он. И тут же с грустью добавил: — Видать, не всё в жизни выходит так, как захочется. Вот и у птиц тоже... Иная птица живёт, живёт, ан в клеточку и попадёт. Что же, видно, ей так на роду написано. Только большой жестокости я в том не вижу, что птиц в клетках держу, — продолжал он. — Во-первых, как только они попривыкнут, я их и по комнате, и по воле летать пускаю. Сами ведь ко мне назад возвращаются. Какая же тут неволя? А кроме того, не круглый ведь год солнышко греет, да травка зелёная, да букашки разные. Придёт осень, а за ней зима. Вот тут-то куда похуже птицам приходится. Кто в холоде, в голоде у нас мучается, а кто на юг в дальние страны летит. Сколько их, горемычных, в дороге погибает, и не сочтёшь!

Пётр Иванович подошёл к окну, снял клетку и поставил на стол.

— Видите — чижик, — сказал он. — А обратите внимание на него. Головка-то лысенькая и сам весь будто подсушенный. Этот чижик у меня уж лет восемь живёт. По-птичьему — старичок древний. Ведь мелкой птице годок прожить — всё равно что нам с вами целый десяток. А разве на воле он до таких почтенных лет бы прожил? Да никогда! Давно бы уж ястреб его задрал или какому зверю попался. А у меня вот живёт и живёт, в тепле, в сытости живёт да солнышку радуется. Я его и на волю пускал. Раньше летал, а теперь не хочет, только иной раз вылетит, сядет на клетку, почистится, отряхнётся и назад к себе домой. Вот! А вы говорите — неволя! Всё дело в том, чтобы птицу любить, жалеть, ухаживать за ней. Тогда она сама от вас никуда не улетит.

— Это верно! — согласился Михалыч. — Любовь всё на свете скрашивает.

На прощание Пётр Иванович подарил мне ручного щегла вместе с клеточкой. — Как придёшь домой, — сказал он, — первые дни не выпускай, в клетке корми, пои его. Пускай он к новому месту, к новым людям привыкнет. Потом выпустишь разок-другой по комнате полетать. А там отворишь окно. Пусть куда хочет, туда и летит. Не бойся — совсем не улетит. Птица умная, она добро хорошо помнит.

Мы с Михалычем вышли из птичьего терем-теремка на улицу. Уже вечерело. В воздухе пахло нагретой за день травой. С пронзительным свистом носились вокруг соборной колокольни быстрокрылые стрижи.

Я шёл посреди дороги, держа в руках клетку со щеглом. Он прыгал с жёрдочки на жёрдочку и совсем меня не боялся.

Счастью моему не было границ.

ДУДОЧКА-ПЕРЕПЁЛОЧКА

Пётр Иванович зашёл к нам дня через два. Он пришёл посмотреть, как живёт у меня его щегол. Внимательно осмотрел клетку. Она была чистая, в кормушке лежал свежий корм, в поилке свежая вода.

— Молодец, сынок! — похвалил меня Пётр Иванович. — Любишь птицу, жалеешь её. И всяческая птица тебя тоже полюбит, будет у тебя водиться.

Я сиял от счастья. Заслужить похвалу старика птицелова — это что-нибудь да значило!

Вошла мама, познакомилась с Петром Ивановичем, поблагодарила за щегла, справилась о здоровье скворца.

— Благодарю вас, — весело отвечал Пётр Иванович. — Скворец молодец, совсем поправился. Пуще прежнего озорничает.

Потом мама расспрашивала старика о других его птицах и вообще о разных делах: с кем он живёт, кто ему стирает, еду готовит.

— Сам, всё сам, сударыня, делаю, — отвечал Пётр Иванович, — Никого у меня, кроме птиц, на свете не осталось. Всех своих родных пережил, уже восьмой десяток на свете живу, пора бы и на покой. — Он помолчал и вдруг, улыбнувшись, добавил: — А помирать всё не хочется, думаю, ну ещё бы годок прожить, ну ещё другой и третий... Вот ведь как на свете прижился.

Мама сидела, внимательно слушая неторопливую речь старичка. Он, видимо, ей очень понравился.

Я решил использовать удобный момент и попросил разрешения пойти с Петром Ивановичем половить птиц. К моей радости, мама охотно согласилась. Её даже не испугало, что придётся рано вставать.

— Вы только уж, Пётр Иванович, потрудитесь, пожалуйста, зайдите сами за ним. А то в такую рань одному как по городу бегать, ещё собака какая бросится.

— Зайду, зайду, — охотно согласился Пётр Иванович. — Мы первый-то разок на поле за перепелами сходим.

— Ну что же, сходите, — кивнула головой мама. Она ушла по своим делам.

— Пётр Иванович, вот спасибо-то! — бросился я обнимать старика.

— Да за что же спасибо, подумаешь, дело какое! — смеялся он, глядя меня по голове.

Мы тут же решили не откладывать дело в долгий ящик и, если не будет дождя, завтра же отправиться на ловлю.

Весь остаток дня я только и делал, что смотрел, не собираются ли на небе тучи. Небо было чисто. Всю ночь я, конечно, не спал, всё боялся шевельнуться, чтобы мама не услышала и не рассердилась за безрассудность. «Ещё не пустит тогда, пожалуй», — думал я, лёжа в своей кровати и глядя, как постепенно светлеет, синееет в окне ранний летний рассвет. Наконец, когда уже как следует рассвело, я и сам не заметил, как заснул.

Лёгкий стук в стекло мигом разбудил меня. Сна как не бывало. Я выскочил из кровати и подбежал к окну. Под ним стоял Пётр Иванович, одетый в пиджачок, в кепку, с каким-то мешком за спиной.

— Я сейчас, я мигом!

Пётр Иванович кивнул головой и уселся на лавочке.

Действительно, я оделся в один миг.

— Не забудь выпить молоко с хлебом и взять с собой бутерброды, — сказала мама.

Ах, это несносное молоко! В такую рань спросонья его пить вовсе не хочется. Но делать нечего. Иначе мама в другой раз не пустит. Пью одну и даже вторую кружку, больше сил нет. Надеваю курточку, в карманы сую бутерброды. Ну, теперь всё. Ура, можно идти! Выбегаю на крыльцо.

Какое утро! Ни облачка! Солнце ещё очень низко. Его лучи просвечивают через зелень соседнего сада. Светят точь-в-точь как вечером на закате, но только совсем с другой стороны.

Трава мокрая от росы, и пыль тоже росой прибита. Она вся в тёмных влажных кружочках. В воздухе пахнет отсыревшими лопухами, укропом и яблоками.

Я здороваюсь с Петром Ивановичем. И мы отправляемся в путь по спящим улицам городка.

Громкое щёлканье пастушьего кнута и мычанье коров нарушают предутреннюю тишину. Навстречу нам пастух гонит стадо. Тут и там распахиваются калитки, и заспанные женщины выгоняют всё новых и новых коров, которые присоединяются к идущим. Коровы идут медленно, поминутно наклоняясь и срывая с земли листья подорожника. От коров уютно пахнет навозцем и тёплым хлебом.

Стадо скрывается в переулке. Мы выходим на мост. Внизу река. По ней плывёт голубоватый туман. Из тумана, будто всклокоченные спросонья головы, выделяются старые вётлы. Под одной из них уже сидит рыболов.



За мостом луг, а дальше — хлебное поле. Воздух над ними как-то особенно чист и поутреннему прохладен. И оттуда, из этой прохладной синей глубины, звеня и переливаясь, доносятся песни жаворонков. Из города на разные голоса отвечают им петухи.

— Вот и пришли! — сказал Пётр Иванович, когда мы миновали росистый луг и очутились на краю поля. — Теперь посидим

здесь да послушаем.

Пётр Иванович снял со спины мешок, развязал его и вынул оттуда кусок старой клеёнки. Он расстелил его на земле:

— Садись, сынок.

— А вы как же?

— Мне не надо, я привычный. Для тебя только подстилочку захватил, чтобы мамаша не тревожилась.

Мы уселись и стали слушать.

В вышине по-прежнему пели жаворонки, а на лугу кто-то надрывно кричал, будто раздирали на части туго натянутую материю.

— Кто это? — спросил я.

— Коростель, его ещё дергачом зовут, — ответил Пётр Иванович. — Сидит в густой траве да поскрипывает. Подойдёшь к тому месту — его и след простыл, убежал куда-нибудь. Постоишь послушаешь, а уж он в стороне опять свою музыку заведёт. Так и гоняйся за ним сколько хочешь, редко когда его увидишь. Если только где-нибудь в кустах прижмёшь, деваться некуда — ну, тогда он вылетит, а то так и будет с места на место в траве бегать. Он ух какой проворный, быстрее мыши в траве между стеблями бегают.

— А какой он с виду? — спросил я.

— Да так, рыженький, бесхвостый. Ноги длинные. На цыплёнка похож, когда тот из пуха в перо выходит... Стой, слушай, сынок! — прервал сам себя Пётр Иванович.

Я прислушался. Где-то в поле, недалеко от нас, звонко закричал перепел. Он будто выговаривал: «Пить-перпить, пить-перпить!» Его голосок я давно уже знал.

Пётр Иванович быстро и совсем неслышно встал с земли, сунул руку в мешок и вытащил оттуда свёрнутую сетку.

Я хотел ему помочь её развернуть, но он знаками показал, чтобы я сидел на месте. В один миг он расправил сеть и ловко раскинул на поле перед нами. Тонкая сетка, как паутинка, легла на головки хлебных стеблей, только едва-едва их наклоняя. Затем мы перебрались на межу и улеглись там с таким расчётом, чтобы сеть очутилась как раз между нами и кричащим где-то впереди перепелом.

Затем Пётр Иванович вынул из кармана какую-то кожаную трубочку, всю в складках, вроде гармошки. Один конец её был забит пробкой, а к другому привязана тонкая полая косточка — свистулька.

Пётр Иванович взял кожаную трубку в одну руку и стал тихонько постукивать по ней пальцами другой руки. Из свистульки слышались негромкие звуки — будто кто-то еле слышно насвистывал: «Трю-трю-трю-трю».

— Так самочка-перепёлка кричит, петушка к себе подзывает, — шёпотом пояснил мне старичок.— Слушай, он сейчас к нам подаваться будет.

Действительно, не прошло и минуты, как я услышал ответный крик перепела. Он слышался уже гораздо громче, чем в первый раз.

Пётр Иванович ещё поманил своей дудочкой. И перепел снова ответил, ещё громче.

Он бежал к нам па зов невидимой курочки-перепёлки.

Лёжа в траве, я изо всех сил напрягал зрение, стараясь увидеть перепела. Но сквозь густую зелёную массу растений ничего не было видно.

И вдруг совсем близко впереди нас из этой зелёной массы слышались какие-то хриплые странные звуки. «Ва-ва, ва-ва!»— яростно закричал кто-то.

Змея или зверь? Я вскрикнул, вскочил с земли.

В тот же миг почти из-под сетки с треском взлетела серая кургузая птица и полетела прочь.

Пётр Иванович тоже вскочил, испуганно глядя на меня:

— Ты что, сынок, что с тобой?

— Кто там шипит так? Змея?

Пётр Иванович махнул рукой и добродушно рассмеялся:

— Да какая же там змея? Эго же перепел!,,

— Нет, не перепел, — перебил я его, с опаской поглядывая на зелёные травяные заросли.— Перепел: «спать-пора, спать-пора». Я знаю. А этот хрипит...

— Да говорю ж тебе — перепел. Он на два тона кричит: и «спать-пора» и «вавакает». Только вава- канья издали не слышно. А жаль — упустили, — покачал головой Пётр Иванович. — К самой ведь сетке подбежал, ещё два шага — и под ней. Взлетел бы вверх, запутался, вот и попался, дурашка. Ну, не беда. Моя вина — я же тебя не предупредил, что он на два манера кричит. А не знавши, услышать, как он завакает, пожалуй, кто хочешь сробеет.

Мы собрали сеть, положили её в мешок и пошли искать других перепелов. Но охота в это утро так и не удалась.

Скоро солнышко стало уже припекать. Перепела кричали вяло, а потом и совсем замолчали.

— Ну, первый блин обязательно комом, — весело сказал Пётр Иванович, — так всегда бывает. Не печалься, сынок, не вешай носа. Мы этого перепела непременно в другой раз поймаем, а не этого, так другого. А теперь идём-ка домой. Слышишь — погромыхивает? Кабы грозу с дождичком не натянуло.

Действительно, когда мы уже подходили к дому, небо вдруг заволокло тучей и крупные капли стали с силой шлёпаться в мягкую дорожную пыль.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Михалыч не любил копить деньги. Из-за этого мама с ним частенько ссорилась.

— Пойми, — говорила она, — ну, заболеешь или мало что может случиться, а у тебя хоть шаром покати. Что заработаешь, то и истратишь. Хоть бы по десять рублей в месяц на всякий случай откладывал.

Михалыч с этим всегда соглашался — и не откладывал ни копейки. Но вот однажды земство выдало ему сто рублей наградных. Эти деньги мама тут же отобрала, купила на них выигрышный билет и заперла в шкаф.

Михалыч поворчал-поворчал и наконец смирился. Потом все мы про этот билет и забыли. И вдруг случилось чудо: билет выиграл, выиграл целых шестьсот рублей! Тут уж Михалыч пришёл в большое волнение. Он говорил, что эти деньги сами с неба свалились и прямо грех не истратить их на что-нибудь интересное. Мама протестовала. Михалыч настаивал. Наконец решено было выигрыш разделить пополам. Половину мама откладывала на какой-то «чёрный день», а половина поступала в руки Михалыча для бесконтрольной траты.

— Ну, брат, что мы на эти деньги купим? — говорил Михалыч, сидя в своём кабинете.

Я даже не мог себе представить — что можно купить на такую огромную сумму.

— А я знаю, — таинственно сказал Михалыч. — Я пока отвоёвывал у Самой нашу долю, давно уже решил. — Он помолчал, глядя на меня сияющими, совсем

мальчишескими глазами, и вдруг сказал: — Мы купим на них мо-то-цик-лет! Ну как, одобряешь?

Вместо ответа я издал пронзительный ликующий крик и закружился в диком танце. Даже Михалыч не выдержал, встал с кресла и прошёлся по комнате, лукаво подмигивая и поводя усами, будто царь водяной из «Садко».

На шум прибежала мама взглянуть, не случилось ли что-нибудь, но, увидя, что мы просто танцуем, махнула рукой и ушла, затворив за собой поплотнее дверь.

Когда танец восторга был закончен, мы сели рядышком около письменного стола, и Михалыч достал из ящика книжку. Называлась она «прейскурант». Это была, пожалуй, одна из самых интересных, самых лучших книг, которые я видел за всю мою жизнь. На толстой глянцевитой бумаге были изображены разные мотоциклеты.

Там были ещё и велосипеды, но на эти страницы мы не обратили внимания.

Нам предстояло решить важное дело: выбрать самый лучший из указанных в прейскуранте мотоциклетов и чтобы он стоил не дороже трёхсот рублей. Выбор машины затянулся до самой ночи. Мама несколько раз входила в кабинет, говоря, что мне давно пора спать, но мы просили в таком серьёзном вопросе нам не мешать.

Наконец мама рассердилась и пригласила на помощь тётку Дарью. Та, как всегда, не захотела слушать никаких доводов.

— Буду я с вами тут ещё канителиться! — сурово заявила она, забирая со стола и унося в кухню лампу.

— Это же просто возмутительно! — негодовал Михалыч. — В своём доме и нельзя ни над чем подумать.

— А не возмутительно никому не давать ночью покоя?.. — гневно отвечала мама. — Юра, сейчас же умываться и спать!

Так в этот вечер мы с Михалычем и не успели ничего решить. Но зато мы имели возможность вернуться к этому интереснейшему вопросу и на следующий день, и ещё через день.

Наконец выбор был сделан, машина намечена и в Москву в магазин послано заявление с просьбой выслать мотоциклет за таким-то номером. Деньги переводом. Всё, кажется, сделано, оставалось только ждать, когда прибудет сама машина.

Но ждать сложа руки нам было некогда, предстояла ещё уйма дел. Во-первых, мы сходили к портному, и там Михалыч заказал себе спортивную куртку и брюки, а у картузника — кепи.

Узнав об этом, мама только пожала плечами.

— Воображаю, — сказала она, — на кого ты, Алексей Михайлович, будешь похож со своим животом в спортивной курточке.

— Не в курточке, а в куртке, — поправил её Михалыч. — И потом, я не вижу тут ничего особенного. Не могу же я ездить на мотоциклете в шляпе и в пиджаке.

— По-моему, это вообще будет бесплатное представление для всего города,— недовольно ответила мама. — Впрочем, ты сразу же и весь мотоциклет раздавишь, и ездить будет не на чем.

— Перестань, пожалуйста, глупости говорить! — возмутился Михалыч. — В прейскуранте ясно сказано, что он рассчитан на пятнадцать пудов. Что ж, я слон, что ли, по-твоему?

— Делай как знаешь, — уклончиво ответила мама.

Подобные небольшие стычки Михалыча с мамой случались частенько.

— Нет, брат, об этих вещах с женщинами беседовать невозможно, — бодро говорил мне Михалыч. — Пойдём-ка лучше в кабинет, разберём систему зажигания да тормоза повторим.

И мы шли изучать руководство по устройству и работе мотоциклета. Михалыч читал его вслух; потом мы оба рассматривали какие-то картинки, чертежи.

Я не понимал ни одного слова, но делал вид, что отлично во всём разбираюсь. Боюсь, что и сам Михалыч понимал в этой путанице колёсиков, гаек, поршней... немногим больше меня.

Иногда он переставал читать, закуривал и говорил:

— М-да, мудрено что-то. Ну, не беда. Это мудрено только в книге, а как сама машина будет перед глазами, мы сразу, брат, разберёмся, что к чему.

И вот наконец прибыла сама машина. Её прислали в ящике из досок и фанеры.

Ящик с мотоциклетом втащили прямо в кабинет и начали распаковывать с особой осторожностью. Внутри ящика машина была ещё завёрнута в прощённую бумагу, в паклю, в стружки.

— Вот это упаковка! — восхищался Михалыч. — Хоть с горы бросай — ничего не погнётся, не поломается.

Наконец все «одежки» были сняты, и мотоциклет предстал перед нашими глазами во всём своём великолепии. Он так блестел, что мне показалось, будто даже в комнате посветлело.

Михалыч надел на себя серый халат, который специально сшил для ухода за машиной. Он ходил вокруг неё и чистой белой тряпочкой стирал все соринки, все пылинки.

Вошла мама. Остановилась, поражённая.

— Ну как, нравится? — спросил её Михалыч.

— Да, красивая вещь! — со вздохом отвечала мама.

— Я же говорил, что тебе понравится! — торжествовал Михалыч. — Подожди, ещё сама будешь просить, чтобы прокатил тебя с ветерком.

— Нет уж, озолоти меня, а на такую страсть ни за что не сяду: тут и бензин и огонь. Ну как взорвётся!

— Для этого-то я всё заранее и изучил, чтобы исключить возможность всякой аварии, — солидно ответил Михалыч. — Он поглядел на меня и добавил: — Мы теперь с Юрой эту машинку как свои пять пальцев знаем. Верно, братец?

Я кивнул головой.

Весь остаток дня и весь вечер мы провели около машины. Михалыч снова и снова читал руководство и пытался разобраться, к каким частям что относится. Но, кроме руля, колёс, седла и багажника, мы, кажется, не усвоили ни одну из прочих частей.

Наконец Михалыч сказал:

— Ну, утро вечера мудренее. Я полагаю, что всё остальное мы разберём и усвоим во время самой езды. А теперь пора спать.

На том мы и порешили.

ИТАК, ПОЛЕТИМ, КАК ПТИЦЫ!

Как жаль, что следующий день был не праздничный. Я даже сам не пойму, как я дождался той минуты, когда Михалыч пришёл из больницы.

Наконец закончен несносный обед, и Михалыч пошёл к себе переодеваться. Спортивный костюм как раз только что был принесён от портного. Я не отставал от Михалыча ни на шаг.

Вот уже надеты довольно узкие брюки, концы их заправлены в сапоги, надета спортивная куртка, кепи. И Михалыч, несколько смущённый своим столь необычным видом, быстро проходит через кабинет и переднюю. В последней он как бы случайно на секунду задерживается и взглядывает на себя в зеркало. Нечто похожее на испуг отражается на его добродушном лице.

Действительно, даже я, глядя на него, еле сдерживаю улыбку. В своём спортивном новом наряде Михалыч больше всего похож на бегемота с картинки из моей книжки, когда тот вздумал кататься на велосипеде.

Михалыч отворачивается от зеркала, с отчаянно независимым видом отворяет дверь и, обернувшись ко мне, говорит:

— Итак, полетим, как птицы!

Выходим во двор. Мотоциклет уже на месте. Он ждёт спортсмена.

Увидя Михалыча в узких брюках, в куртке и в кепи, мама просто остолбенела. Потом, оправившись, она подошла к нему:

— Ты видел себя в зеркале?

— А в чём дело, мадам? — стараясь придать голосу игривый тон, но не без робости спрашивает Михалыч.

— Да на кого ты похож? Неужели вот в таком виде поедешь по городу?

— Ничего не понимаю. Спортивный костюм, и только.

— А живот, а зад, а усы? И эта шапочка. Боже мой! Нет, я тебе сейчас зеркало принесу, сам погляди.

Лицо Михалыча выразило решимость человека, готовящегося прыгнуть в бездну.

— Не приноси, я и глядеть не буду, — сурово ответил он. Потом перевёл дух и уже с укоризной добавил: — Как тебе не стыдно отвлекать меня по пустякам! Я ведь первый раз берусь за руль этой машины. Тут нужна сосредоточенность, уверенность, а ты про какие-то животы толкуешь.

Теперь уже на мамином лице появился испуг.

— Да, да, ты прав, — заговорила она. — Теперь уже поздно о животах думать. Ради бога, осторожнее будь. Не лети сломя голову. Сперва потихоньку, шажком попробуй. Ведь это не лошадь — машина, мало ли что ей придёт в голову. Ещё, не дай бог, стрельнёт и взорвётся.

— Ну ладно, там увидим, — неопределённо ответил Михалыч и решительно подошёл к мотоциклету. Опёрся на руль, крякнул и, с трудом перекинув ногу через багажник, сел наконец в седло.

— Отойдите в сторону, отворите ворота! — скомандовал он.

Все отбежали. Тётка Дарья распахнула настежь ворота.



Михалыч нажал на что-то ногой, и мотоциклет выстрелил так громко, что мы ахнули от испуга. «Неужто взорвался?» Но машина была цела, и Михалыч, несколько озадаченный, всё же сидел на месте.

За первым выстрелом последовал второй, третий, четвёртый... Во дворе закудахтали перепуганные куры и в ужасе полетели через забор. А машина палила, как пулемёт, тряслась, дрожала, будто живая, но не двигалась с места.

На такую пальбу сбежались все соседи, потом вообще все жители переулка. Целая толпа народа стояла на мостовой напротив наших ворот в ожидании чего-то сверхъестественного.

— Дарья! — крикнул Михалыч. — Скажи им, чтобы мостовую освободили, а то как рванёт машина, всех подавлю.

— Разойдись, ребята! — сурово приказала старуха. — Сейчас доктор поедет, как бы греха не вышло.

Любопытные подались поближе к заборам, но не расходились.

Стрельба продолжалась, машина не двигалась. Наконец Михалыч что-то повернул, и всё затихло.

— Аккумулятор шалит! — сказал он, слезая с седла. — Нужно пойти посмотреть, в чём там дело.

Михалыч пошёл в кабинет разобраться с помощью руководства, в чём причина столь странного явления. Я побежал за ним. Ворота закрыли, зрители стали понемногу расходиться.

Михалыч долго, сосредоточенно что-то читал, потом закрыл книгу.

— Всё ясно! — сказал он. — Слишком много бензину дал. Нужно сначала поменьше давать.

Снова все вышли во двор. Снова открыли ворота. Но на этот раз машина только как-то странно пыхтела. изредка негромко постреливая, и наконец совсем замерла. Сколько Михалыч ни бился, мотор молчал как мёртвый.

— Наверное, всё сломалось, — уныло сказала мама. — Я уж заранее это знала.

— Оставь, пожалуйста, свои предсказания! — раздражённо ответил Михалыч. — Это на кофейной гуще предсказывать можно, а здесь техника — не гаданье.

— Я и вижу, что техника, — махнула мама рукой, уходя в курятник. — Где теперь кур собирать? — ворчала она. — Всех своей стрельбой разогнал.

Сколько Михалыч ни бился, мотоциклет завести так и не удалось. Пришлось тащить его обратно в дом.

— Да, брат, плохи наши дела, — грустно говорил Михалыч, снимая с себя спортивный наряд и облачаясь в обычное платье. — Придется, видно, «куму» в город Мценск писать, пусть пришлёт кого-нибудь, кто понимает в машинах. Без мастера тут не обойтись.

Михалыч тут же сел за стол и написал в Мценск одному знакомому, которого в шутку называл кумом и который имел мотоциклет, чтобы тот прислал механика наладить машину.

Механик явился через несколько дней. Это был молодой парнишка, звали его Миша. Снова выкатили машину во двор. Миша проверил зажигание, подачу бензина, сел в седло и нажал на что-то ногой. Мотоциклет начал палить, но Миша не испугался. Не слезая с седла, он упёрся ногами в землю и сдвинул машину с места. А дальше она сама пошла. Быстрее, быстрее — и вот уже понеслась вниз по улице, завернула на Соборную и скрылась из глаз.

— Вот что значит специалист! — сказал Михалыч. — Хоть и мал, да удал.

Снова послышалась откуда-то издалека трескотня мотора, и мотоцикл, вынырнув из-за церкви Николы, лихо подкатил к нашему дому.

— Почему же у меня никак не двигался? — спросил Михалыч.

— А вы ему помогли ногой с места сдвинуться?

— Нет, не помогал. Я думал, он сам возьмёт.

— Обязательно надо помочь, — ответил Миша. — Садитесь, попробуйте.

— Да я не в таком костюме, — сказал Михалыч. — Ну да ладно, попробую.

Он сел в седло прямо как был, в шляпе, пиджаке, в брюках навывпуск. Теперь он походил на весёлого старого шутника, который забрался на карусель и хочет прокатиться верхом на лошадке.

Но зато машина завелась сразу.

— Ногами, ногами помогайте! — закричал Миша, подталкивая сзади мотоциклет.

И вот Михалыч, на удивление всему переулку, выкатил из ворот и, подпрыгивая на неровной мостовой, не спеша поехал вдоль по улице.

Мама выскочила за ворота, кричала вслед:

— Не торопись, ради бога, не торопись!

Целая толпа мальчишек с криком и свистом понеслась догонять машину.

Сделав небольшой круг по городу, Михалыч благополучно подъехал к дому.

Вечером за ужином я робко его спросил:

— А когда же меня на багажнике покатаете?

— Подожди, — отвечал Михалыч, — вот овладею как следует этим конём, чтобы в руках играл, тогда мы с тобой махнём вёрст за двадцать в деревню с ночёвкой.

Итак, техника вождения машины была освоена. Михалыч торжествовал.

МЕЧТЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Мои мечты покататься на мотоциклете пока что не осуществлялись.

Как только механик уехал обратно в Мценск, машина начала капризничать. Она никак не заводилась, сколько Михалыч ни крутил какие-то винты и ни прочищал какие-то трубочки и каналы.

Но вот однажды в хороший летний вечер Михалыч решил в сотый раз попробовать «объездить своего строптивого коня».

И вдруг, ко всеобщему удивлению, машина сразу же завелась. Она покорно выехала из ворот, вывозя на себе грузного седока.

Михалыч укатил. Прошёл час, другой. Погода начала портиться, пошёл дождь. Мама не на шутку забеспокоилась.

— Да где же он? Может, упал, разбился? Может, дорогой машина взорвалась? Ведь все слышали, как она страшно стреляет.

Настала ночь, тёмная, ненастная. Михалыча всё не было. Ни мама, ни я, конечно, не спали. Было ясно, что с Михалычем что-то случилось. Но что и где, как это узнать? Ведь мы даже не знали, куда он решил поехать.

Мама ходила по комнате из угла в угол, прислушиваясь к вою ветра и шуму дождя.

И вдруг мы услышали скрип колёс. К дому кто-то подъехал, кажется, на телеге.

Растворилась входная дверь. В переднюю вошёл Михалыч. Весь его новый спортивный костюм был мокр до нитки, а франтоватое кепи напоминало шляпку старого, разбрызганного гриба. С усов у него стекали капли дождя.

— Жив? Ну слава богу! — облегчённо вздохнула мама. — Где же ты до сих пор был?

— Дай сперва переоденусь, всё расскажу потом.

Михалыч оделся во всё сухое. Подали ужин.

В комнате было тепло, светло. Все сразу повеселели.

— Вот история-то вышла, — бодро сказал Михалыч. — Выехал я за город; машина работает идеально. Несусь по шоссе, только ветер посвистывает. Так незаметно откатил вёрст за пятнадцать. Ну, думаю, пора и домой. Остановился. Закатил мотоциклет на обочину, покурил, отдохнул и хочу обратно ехать. Включаю газ, что за ерунда — не включается. Туда- сюда — машина как мёртвая. А тут, вижу, тучи заходят, начал дождь накрапывать. Бился, бился, всё попусту. А как на грех, ни одной подводы на шоссе не видно. Пришлось пешком идти в ближайшую деревню и нанимать подводу. Еле втащили этого чёрта на телегу. Ужасно тяжёлый. Так и вернулся на лошадке домой.

— А мотоциклет-то где? — спросила мама.

— Да во дворе под навесом стоит.

— Его бы вытереть нужно, а то весь заржавеет.

— Ничего с ним, дураком, не случится! — сурово ответил Михалыч. — Не хочет ездить — и чистить его незачем.

— Так, так! — грустно вздохнула мама.

С каждым днём Михалыч всё более и более враждебно поглядывал на своего металлического коня.

Из кабинета его перевели в переднюю и поставили в сторонке в тёмный угол. Но и тут он казался Михалычу не у места.

— Всю переднюю загородил! — частенько ворчал он, раздеваясь. — Превратили квартиру в каретный сарай. Скоро совсем жить негде будет.

На такую воркотню мама обычно ничего не отвечала, только негодуя пожимала плечами. Этот жест ясно говорил без всяких слов: «Сам же завёл, и сам же на кого-то злится. Потеха, право!»

Приходя с работы, Михалыч обычно делал вид, что и забыл «об этой дурацкой машине».

Но иногда у него вдруг будто рождалась какая-то надежда: «А что, как заведётся да и поедет?»

И вот как-то раз Михалыч вновь после долгого перерыва решил попытать счастья.

Машина покапризничала, но всё-таки завелась.

— Только, ради бога, далеко не уезжай! — просила его мама. — Ну, сделай круга два по городу и возвращайся.

В этот день Михалыч был в отличном настроении.

— Не беспокойтесь, мадам! — сказал он. — На сей раз всё будет в порядке. Я, кажется, в конце концов перехитрил этого упрямца. — И он ласково похлопал по кожаному седлу машины.

Я попытался заговорить о том, что раз конь объезжен, нельзя ли и мне сегодня прокатиться.

Но мама грозно взглянула на меня и как отрезала:

— Ни в каком случае!

— Не горюй, Юра, — подмигнул мне Михалыч. — Теперь мы его обуздали. Скоро и мама на нём кататься будет.

Я проводил Михалыча и побежал в сад играть в охотника. Уже начало темнеть, когда мама позвала меня пить чай.

— А Михалыч ещё не приехал? — спросил я.

— Нет. Опять, наверное, посреди дороги сидит.

— Теперь этого быть не может, — уверенно отвечал я.

— То есть почему не может?

— Потому что Михалыч разгадал, в чём дело. Теперь коняшка у него не закапризничает.

— Дай-то бог, — недоверчиво ответила мама.

Но вот настал вечер, настала ночь, а Михалыч не возвращался.

— Хорошо, хоть дождя нет, — говорила мама. — Погода тёплая. В крайности костерок разведёт, переночует у дороги, а утром с попутной и приедет. Только бы не взорвался и ноги себе не сломал, — тревожно добавляла она.

Домой Михалыч явился за полночь. Он пришёл очень сердитый, отказался от ужина и сразу прошёл к себе в кабинет.

— А где же машина? — робко спросила мама.

— Там валяется! — буркнул Михалыч.

— То есть где это — там?

— У Цурика в лесу.

Мама совсем растерялась:

— Ты что ж, её бросил, а сам уехал?

— Не уехал, а пешком ушёл, нигде подводы нет! — раздражённо отвечал Михалыч. — А ты что же хотела, чтобы я цыганский табор у дороги разбил?

— Но ведь её могут ночью украсть, — сказала мама.

— Да кто её там возьмёт! — махнул рукой Михалыч. — Не заводится, и заднее колесо заело. Совсем не крутится.

— Боже мой, нужно чем свет подводу за ней послать! — забеспокоилась мама. — Теперь ночью кого наймёшь?

— Никуда не денется, — решил Михалыч, — А украдут — туда ей и дорога. — И он, даже как будто повеселев, отправился спать.

Мотоциклет не украли. Мама утром наняла подводу, и машину привезли домой. Но после этого случая Михалыч больше не хотел её даже видеть. Он отправил её в мастерскую Ветрова, чтобы там исправили не пожелавшее двигаться заднее колесо.

Из мастерской мотоциклет больше не вернулся.

— Я его продал там, — сказал Михалыч, когда мама начала интересоваться, скоро ли, наконец, машину починят.

— Продал? За сколько?

— Ну, это уж, мадам, моё дело, — неохотно ответил Михалыч.

— Так я и знала! — вздохнула мама. — Лучше бы на эти деньги дельное что-нибудь себе купил.

Больше об этом злосчастном мотоциклете у нас в доме старались не вспоминать.

ЧУДЕСА В ЛУЖЕ

Несмотря ни на какие помехи, мы с Михалычем всё лето продолжали собирать и засушивать разных бабочек, жуков, стрекоз. Коллекция быстро увеличивалась.

Но вот что нас огорчало: частенько мы совершенно не знали, как называется пойманное нами насекомое. Единственно, кто нам в этом деле мог помочь, — это книги Брема. Мы перелистывали девятый том, где были всевозможные насекомые, и старались сличить то, что мы поймали, с изображениями на картинках. К сожалению, большинство картинок были не цветные, и по ним очень трудно было судить — похоже ли наше насекомое на изображённое в книге или не похоже.

Однажды, просматривая картинки в книге, Михалыч сказал:

— Вот, Юра, мы всё ловим то, что по воздуху летает или по земле ползает, а ни разу не заглянули в воду. Ты только взгляни, сколько там интересного.

И Михалыч показал мне обитателей глубокой заросшей лужи: личинок водяных жучков, стрекоз, гладышей, водомеров, вертячек...

В тот же вечер мы решили на завтра двинуться в заречные луга. Там, в глубоких впадинах, среди кустов лозняка, всё лето не пересыхали глубокие лужи — настоящие крохотные озёрца, густо заросшие по берегам осокой и тростником.

К такому походу надо было немножко подготовиться: сделать из крепкой марли сачок для ловли в воде и взять с собой несколько банок, чтобы сажать в них свой улов.

Марля у Михалыча оказалась в шкафу, банки тоже нашлись. Сборы были закончены в тот же вечер.

На следующий день после обеда мы отправились на новую для нас охоту за всякими обитателями глубокой лужи.

Перешли через мост, выбрались в заречные луга.

— Пойдём-ка вон к тем кустам, — сказал Михалыч, указывая на низинку, по краям которой росли кусты лозняка.

Действительно, в низинке, у самых кустов, оказалась довольно большая лужа. У берегов она была совсем мелкая, и на мели прямо из воды торчали толстые зелёные стебли каких-то растений. На конце каждого стебля виднелся зелёный листок, заострённый, как стрела.

Михалыч сказал, что это растение и называется «стрелолист».

— А вот это ежеголовка, — И Михалыч показал мне рядом со стрелолистом другое растение, на стебле которого торчали зелёные шарики, усаженные длинными колючками.

— Как будто зелёные ёжики, — сказал я.

— Да, похоже, — согласился Михалыч. — А теперь посмотри-ка сюда. Видишь, у самой воды растение, на верхушке стебля будто белое крылышко. Его и зовут белокрыльчик.

Много ещё разных растений показал мне Михалыч, только я тут же и забыл их названия. Я слушал его плохо — мне хотелось поскорее подобраться к самой луже и заглянуть в воду, что там делается.

Мы выбрали один бережок покруче, уселись и стали наблюдать.

Вода была совсем прозрачная, всё видно до самого дна. И дно тоже видно, только оно было сплошь укрыто какими-то подводными растениями с длинными, как зелёные нити, стеблями. На них пучками торчали в разные стороны тонкие жёсткие волосочки. Михалыч сказал, что это элодея, или водяная чума, а зовётся она так потому, что засоряет все водоёмы, куда только попадает.

Сидя на берегу, я осматривал всё кругом. Передо мной всюду кипела жизнь. Над водой то и дело пролетали тоненькие, будто травинка, стрекозы с чудесными тёмно-синими крылышками. На лету они взмахивали крыльями, точно бабочки, а когда присаживались отдохнуть на какой-нибудь стебелёк, не

распластывали крылья, как другие стрекозы, а так же, как бабочки, складывали их над спинкой. Я хорошо знал этих стрекоз. У нас в коллекции уже были такие. Называются они «красотки». Вот уж верно — настоящие красавицы!

Кроме красоток, над водой носились и другие стрекозы: огромные коромысла и крохотные зелёные лютки. Тут же порхали и разные бабочки. Но всех этих стрекоз и бабочек я видел уже много раз. Куда интереснее было глядеть на воду и в глубь её.

По поверхности лужи, будто танцоры, скользили и ловко расшаркивались забавные длинноногие водомерки.

Мы с Михалычем уже читали про них, и я знал, что они не тонут, а бегают по воде, как по льду, потому что их лапки смазаны жиром. Смажьте жиром иголку, бросьте на воду, она тоже не утонет. Этот забавный опыт я не один раз проделывал.

Смотреть на водомеров было очень интересно. Они ведь не просто так, от скуки, бегали по воде — они охотились. Вот какая-то мушка упала с ветки на воду. В один миг несколько водомеров, перегоняя друг друга, бросились к добыче.

Та, что подросла первой, схватила мушку передними лапками, как руками, приподняла и вонзила в неё свой острый хоботок.

Я совсем свесился над водой и так засмотрелся на водомерку, что чуть сам в лужу не кувырнулся.

Михалыч уж меня за рубашку схватил:

— Что ты делаешь? Свалишься сейчас.

— Не свалюсь, — ответил я, устраиваясь попрочнее и продолжая наблюдать.

Кроме водомеров, по поверхности лужи носилась кругами, будто играя в догонялки, целая стайка крошечных чёрных жучков-вертячек. Они весело поблёскивали на солнце металлическим блеском. И эти забавные жучки тоже не просто резвились, а искали добычу ещё более крошечную, чем они сами.

А вот из глубины поднимается большой чёрный жук-водолюб. Он прикивает ртом к поверхности воды. Водолюб набирает в свои воздушные мешки запас свежего воздуха. Набрал и снова исчез в глубине.

Но на смену ему уже спешит со дна другой жук. Нет, это не водолюб, он плоский, коричневатый, со светлой каймой по бокам. Недаром его и прозвали «плавунец окаймлённый». Он тоже поднимается к самой поверхности, чтобы набрать запас воздуха. Только он выставляет наружу не переднюю, а заднюю часть своего тела. Так, перевернувшись вниз головой, он и запасается воздухом для своих дальнейших скитаний среди подводных зарослей. Жук-плавунец — это хищник. Он нападает на разных личинок, червячков, даже головастикам, даже мелким рыбёшкам нет от него спасения.

Водолюб — совсем другое дело. Он хоть и страшен на вид и крупней плавунца, зато очень миролюбивое существо: он питается мелкими подводными растениями.

Всё это мы только накануне вечером прочли с Михалычем у Брема. И как интересно мне было теперь видеть всех этих плавунцов, водомеров, вертячек своими глазами. Жаль только, что плавунец при мне сейчас никого не схватил, только набрал воздуха и, ловко заработав лапками-вёслами, быстро пошёл в глубину.

Потом мы видели, как выплывал из глубины, чтобы тоже глотнуть свежего воздуха, длиннохвостый тритон, похожий на маленькую ящерицу. Потом видели ещё пиявок, проворных гладышей, похожих на крупную муху с белыми крыльями. Очень забавно было глядеть, как гладыши, выплыв к поверхности, замирали в воде спинкой вниз, а брюшком вверх. Точно поверхность воды была для них прозрачным потолком, и они сидели на нём, как мухи, вниз головой.

А вот большой мохнатый паук-серебрянка уселся на плавучий лист и греется на солнышке. Он не двигается.

Я сорвал длинный стебелёк травы и дотронулся до паука. В тот же миг он ожил, бросился к краю листа и нырнул под него прямо в воду.

Пауку-серебрянке вода не страшна: у него в глубине среди водорослей имеется воздушный колокол, как у настоящего водолаза. Устроен колокол очень занятно: сплетёт серебрянка тоненькую паутину в глубине среди подводных стеблей и листьев; как только паутина готова, паук начинает таскать под неё пузырьки воздуха. Когда он ныряет с поверхности в глубину, весь бывает облеплен воздухом, с виду будто серебряный шарик. Его и зовут потому серебрянкой. Так на себе и таскает паук воздушные пузырьки в глубину под свою паутину. Много-много натащит; скопятся они в один большой пузырь, разопрёт он вверх и в стороны подводную паутину, вот и получается водолазный колокол, похожий на серебряный колпачок. В своём колоколе серебрянка от врагов спасается.

На картинке у Брема такой колокол нарисован. Я его хорошо рассмотрел. А вот теперь на дне лужи никак не мог увидеть подводное жилище паука. Так и не нашёл.

— Ну что ж, посидели, посмотрели — и хватит, — сказал Михалыч. — Пора и за ловлю приниматься.

— Правильно! — обрадовался я. Поддёрнул повыше штанишки, сбросил туфли и с наслаждением залез по колено в тёплую, прогретую солнцем воду.

— Ты поводи сачком у самого дна среди растений, а весь улов тащи сюда, на бережок.

Так я и сделал: принялся водить сачком под водой, воображая, что я ловлю в океане осьминогов, крабов, акул...

В один миг весь сачок оказался полон зелёной массой подводных растений.

Я с трудом вытащил его на берег и вытряхнул всё содержимое на сухое местечко около Михалыча.

— Вот это дело! — одобрил он, надевая очки и начиная разбирать мокрые зелёные стебли.

Чего-чего только там не оказалось: и водяные жуки, и гладыши, и улитки-прудовики с длинной остроконечной, как колпачок, раковиной, и улитки-катушки с раковиной в виде туго свёрнутой трубочки, и улитки-живородки, у которых широкая часть их изогнутой раковины закрыта плоской крышечкой.

Но особенно нравились мне личинки стрекоз — серые, неповоротливые, с огромной головой и длинным толстым телом. Они походили на каких-то страшных бескрылых насекомых. Медленно передвигая ногами, они ворочались и еле-еле ползали среди массы стеблей. Вдруг в этой зелёной массе я заметил что-то белое, блестящее. «Да это рыбка, совсем крохотная. А вот и другая, и третья». Я осторожно их выбрал и выпустил обратно в водоём.

— Откуда же здесь они? — спросил я Михалыча.

— А весной, когда река разлилась, рыбы зашли сюда, икру отложили. Потом луг обсох, остались только эти озерки. Вот в них мальки из икры и вывелись.

— Как же им теперь в речку попасть?

— До будущей весны никак не попадёшь, — отвечал Михалыч. — Счастье их, если за зиму водоёмчики эти не промёрзнут до самого дна, да ещё если свежего воздуха в воде до весны хватит. Тогда по весне река опять разольётся, и вся рыба молодь туда убежит. Только мало кому этак посчастливится, большинство либо летом в засуху, либо зимой подо льдом погибнет.

— А если я их сейчас выловлю сачком да в байке с водой отнесу в реку?

— Тогда они выживут и тебя поблагодарят, что из плена их спас, — весело ответил Михалыч.

Мы рассадили по банкам весь наш улов. Я снова залез в лужу и принялся уже за настоящую рыбную ловлю.

Всех мальков, которые мне попадались, мы бережно сажали в банку с водой. И, когда добычи накапливалось достаточно, я бежал к реке и выпускал малышей прямо в воду. Ух, как они припускались вглубь, только сверкнут, будто искорки, и уже след простыл.

Обловив одну лужу, мы с Михалычем перешли ко второй, потом к третьей. Дело шло быстро на лад.

Штаны у меня были все до нитки мокрые, но день жаркий, и Михалыч разрешил полоскаться в воде. Он только посоветовал снять мокрую одежду и

посушить её на солнышке. А чтобы все швы скорее просохли, я даже вывернул штаны наизнанку и положил на бугорок.

— Высушим всё, — сказал Михалыч, — «начальство» и не узнает про наши с тобой проделки.

Мы уже перешли к облову четвёртой лужи. Она была поглубже прежних, и вода в ней попрохладней. Я с наслаждением бродил в воде выше пояса, но рыбёшки здесь попадались гораздо реже.

— Воды много, вот они и удирают, — сказал Михалыч. — Ну-ка, попробуй черпани в зарослях у бережка.

Я черпанул, и вдруг в сачке что-то заплескалось.

Даже с берега Михалыч это увидел.

— Подними вверх, тащи, тащи на берег! — закричал он.

Я с трудом выхватил сачок из воды. Внутри его среди водорослей ворочалось что-то живое.

— Щука, щука! — не своим голосом завопил я, выскакивая на берег.

— Молодец, молодчина! — кричал Михалыч, спеша мне навстречу. — Неси от воды, а то уйдёт.

Мы отбежали от берега подальше к кустам, и там я вытряхнул прямо на траву порядочную щучку, пожалуй, не меньше фунта весом.

Вся ещё мокрая, блестящая на солнце своей зеленовато-жёлтой бисерной чешуёй, она запрыгала среди уцелевших от покоса ромашек, приминая их тонкие стебельки и белые глазастые головки.

После такой удачи нам захотелось поскорее домой. Я надел уже высохшие штаны. И мы поспешили в обратный путь, чтобы похвастаться своим неожиданным уловом.

Мама обрадовалась нашей удаче не меньше нас самих. Она обещала сегодня же поджарить щуку на сковородке, с картошкой, со сметаной.

— Молодцы, молодцы! — хвалила нас она и вдруг изумлённо взглянула на мои ноги. — Позвольте, а почему же у вас штаны наизнанку?

Тут я взглянул на себя и сразу всё понял. Как штаны на солнце сушились, вывернутые наизнанку, так я их впопыхах и надел.

Но мама не рассердилась, что я без её позволения раздевался и лазил в воду. Она только засмеялась, говоря:

— Хорошо, что вообще надеть не забыл.

Да и можно ли было портить мне какими-то штанами такой замечательный день, день моего настоящего торжества!

ОЗОРНИК

С тех пор как я побывал один раз с Петром Ивановичем на ловле перепелов, я стал частенько к нему заглядывать. Мне у него всё нравилось: и тенистый

садик, и его крохотный домик, и он сам, всегда такой приветливый, ласковый. Даже швейная машинка, за которой он сидел большую часть дня, и та мне нравилась, но особенно потому, что, как только он принимался на ней строчить, все птицы в клетках начинали петь одна громче, задорнее другой. Ровный, ритмичный стук машинки и разноголосое пение птиц сливались в оглушающую, но на мой слух необыкновенно приятную музыку.

Когда я приходил к Петру Ивановичу, он обычно старался поскорее закончить своё шитьё, затем откладывал его в сторону и, потянувшись, вставал со своей рабочей табуретки.

— Пришёл, сынок? — ласково говорил он. — Надумал старика проведать, хорошо, что надумал, умница.

Он ещё разок, вероятно уже в двадцатый раз, проверял, у всех ли птиц есть еда и питьё, кого следует, выпускал полетать по комнатке, а тех, кто уже слишком долго загулялся, наоборот, приглашал домой, в клетку.

— Иди, иди, гуляка. Не налетался ещё за целый день, — ласково говорил он какому-нибудь дрозду или щеглу, легонько помахивая палкой, на конце которой была привязана тряпочка.

Завидя это «страшное» пугало, птица обычно делала по комнате два-три круга и потом сама залетала в свою клетку.

— Ну, вот и умник! — одобрял старичок. — Вот и молодец, что послушался. А я тебе уже водицы свежей налил, поесть приготовил. Закуси, отдохни, дружок.

Когда все клетки бывали проверены и всё приведено в порядок, Пётр Иванович ставил самовар, и мы шли в его садик пить чай со свежими ягодами — смородиной, малиной, крыжовником. Мы их тут же срывали с кустов.

В чаепитии обычно принимал участие и наш неизменный друг — скворушка. Ножка у него давно зажила, и он чувствовал себя превосходно.

Скворец почти ни на шаг не отставал от своего хозяина: куда Пётр Иванович — туда и его крылатый друг. Либо летит за ним, либо сядет на плечо и едет. А сам ещё за ухо клювом ухватит, держится.

— Озорник, да и только, — скажет про него Пётр Иванович.

Помню, один раз сидели мы в саду, пили чай. Скворец тут же по столу разгуливал, ягоды с тарелки поклёвывал.

Пётр Иванович налил себе в блюдце чай, остудил, поднёс блюдце к губам; только хотел отхлебнуть, вдруг скворец: «Фр-р-р-р-р» — со стола и прямо на краешек блюдца, будто на жёрдочку.

Блюдце — из рук, об стол и вдребезги. Чай по столу разлился, течёт. А скворцу хоть бы что. Сел на стол и хитро так на хозяина посматривает.

Пётр Иванович рассердился.

— Ах ты озорник! — кричит.

А скворец на него: «Азрник, азрник!»

Тут, конечно, всякая злость у старика сразу прошла, сахарцу скворцу предлагает, радуется:

— Ишь ты, новое словечко выучил, да как чисто, как хорошо говорит!

Скворец сахаром полакомился, потом взлетел со стола на ближайшую яблоню и оттуда опять: «Азрник, азрник!» Видно, самому это слово понравилось. Раз пять подряд его повторил, всё чаще, чаще да вдруг затрещал, затрещал и запел, будто весной.

И так это хорошо получилось. Сидит среди зелёных ветвей, вечернее солнце его освещает, все пёрышки ему золотит, а он поёт, заливаясь.

Послушал его Пётр Иванович, вздохнул и говорит:

— Вот к чему он так растрещался, значит, скоро и лету конец.

— Почему конец? — не понял я.

— Потому что скворец всегда в конце лета в беспокойство приходит, чувствует, недолго ему в родном краю оставаться, настаёт пора в чужие края лететь. Вот он и волнуется, не знает уж, чем ему свою любовь к родным местам доказать. А чем птица эту любовь доказать может? Только песней.

Долго ещё распевал скворец, сидя на дереве, а мы сидели и слушали. Потом он наконец умолк. Начал охорашиваться, чистить пёрышки. И в саду стало очень тихо; только, не нарушая этой вечерней тишины, монотонно трещит в траве кузнечик.

— А стрижей уже не слышать, первыми на юг подались, — неожиданно сказал Пётр Иванович.

И я вдруг понял — вот почему так тихо. Не слышно пронзительных визгов стрижей. Уже улетели.

Мне стало грустно. Жаль уходящего лета. Вспомнилось: ведь этой осенью уже в школу пойду.

«А-зр-ник, а-зр-ник!» — неожиданно громко закричал скворец.

— Верно, что озорник, — ответил ему Пётр Иванович.

МЫ ПОТРУДИЛИСЬ НЕДАРОМ

Всё лето мы пользовались зеленью из собственного огорода, который ещё весной возделали своими руками. Перед обедом и перед ужином мы с Михалычем отправлялись туда, чтобы сорвать лучку или укропцу. Правда, злобная тётка Дарья делала вид, что не замечает наших овощей, и ежедневно лук, укроп и всё прочее покупала на рынке.

— Зачем она это делает? — с возмущением спрашивал Михалыч маму. — Покупает то, что у самих есть, только лишние деньги даром тратит.

— Наконец-то и ты о деньгах вспомнил, — улыбалась мама и спокойно добавляла: — Вся зелень на день стоит пятак. А если Дарья начнёт её с вашего огорода для готовки брать, так в неделю там ничего не останется.

— Ну, не хотите, и не надо, — отвечал Михалыч. — А мы с Юрой отлично обходимся собственными овощами. Для нас просим ничего не покупать.

— Вот и прекрасно! — соглашалась мама.

С огорода мы с Михалычем пользовались не только овощами. На грядках завелось множество жирных гусениц. Я их ежедневно собирал и кормил ими нашу ручную галку, от этого получалась двойная польза: и вредителей уничтожаем, и Галя очень довольна.

Кроме гусениц, которые портили наш урожай, были у нас и другие враги — мамины куры. Но с ними мы быстро справились, устроив при помощи собственного верстака и знакомого столяра отличную ограду. Даже калитку в ней сделали.

В конце лета у нас на грядках появились огурцы и выросла одна довольно большая тыква. Эту тыкву мы специально выращивали для замечательного опыта, который Михалыч решил проделать. Не знаю, сам ли он его выдумал или услышал от кого-нибудь.

Как только тыква выросла довольно солидных размеров, мы и приступили к опыту. В один её бочок Михалыч воткнул иглу с толстой шерстяной ниткой. Другой конец этой нитки он опустил в баночку с сахарным сиропом. Этот сосуд мы поставили на землю рядом с тыквой.

— Понимаешь, в чём вся суть дела? — говорил мне Михалыч. — По этой нитке, как по фитилю, сладкий сироп будет втягиваться в тыкву, и она станет сладкой, как дыня. Только пока никому ни слова. Подождём недельку, а потом и преподнесём на стол наше произведение. Вот мама-то с Дарьей ахнут!

Устроив всё как нужно, мы закрыли от посторонних любопытных глаз будущую дыню травой и листьями. Пусть лежит себе в холодке да наливаются сладким соком.

Мне страшно хотелось поскорее отведать этот чудесный фрукт. Я прямо считал каждый день, долго ли ещё ждать осталось. Михалыч не разрешал мне трогать нашу толстенную питомицу и даже совсем не раскрывал листья, не глядел на неё.

Наконец неделя прошла, опыт был закончен. В этот день мы, как заговорщики, пробрались в огород, сбросили листья и траву, закрывавшие наше детище.

Но что же случилось? За эту неделю тыква не только не выросла и не налилась сладким соком, наоборот, она стала совсем маленькая и сморщенная, как старушка, а в том месте, где у неё была воткнута игла, её бок совсем сгнил. Куда же тогда девался сахарный сироп, почему он не напоил тыкву? Мы

взглянули на банку. Она была полна утонувших муравьёв. Собственно, это был уже не сахарный сироп, а какая-то тёмная, очень густая каша. Вот, значит, кто отведывал наш сладкий напиток.

Мы с грустью переглянулись.

— Любой опыт может и не удалиться,— вразумительно сказал Михалыч, — На то он и опыт. — И, лукаво улыбнувшись, добавил: — А хорошо, брат, что мы заранее ничего не рассказали «нашим врагам». Давай же сохраним всё это в тайне.

О нашем неудавшемся опыте мы ни слова не сказали ни маме, ни тётке Дарье.

Ну что ж, дыни из тыквы у нас не получилось, а всё-таки все остальные овощи имеются, даже собственные свежие огурцы. Только было непонятно, почему они совершенно горькие.

— А ты знаешь, брат, когда огурец слегка горчит, это даже приятно, — говорил мне Михалыч. — Понимаешь, придаёт какой-то особый вкус, особую остроту.

Я был с этим совершенно согласен и, преодолевая отвращение, ел горькие, как хина, огурцы.

Всё шло как нельзя лучше. Огород наш так разросся, что походил теперь на тропические джунгли. Мы его совсем не пропалывали. Особенно буйно разрослись на грядах и между ними крапива и лебеда.

— Ничего, это даже к лучшему, — уверял Михалыч, — создаётся естественная затенённость. А то на солнце вся зелень начала бы вянуть и сохнуть.

Мы были очень довольны нашим огородом и уже подумывали о том, что скоро надо будет снимать основной осенний урожай.

И вот как-то раз Михалыч, как обычно, пошёл на огород, чтобы принести «кое-что» к ужину. Мы с мамой сидели за столом и ждали.

Неожиданно дверь с шумом распахнулась, и в столовую вбежал Михалыч. Он был весь красный, глаза метали молнии.

— Застрелю, собственными руками застрелю! — закричал он, задыхаясь от гнева.

— Кого, кого застрелишь? — перепугалась мама.

— Эту негодную тварь.

— Какую тварь?

— Корову! Твою корову! — Михалыч еле перевёл дух. — Тысячу раз говорил; «На чёрта она нужна! И молоко и масло — всё есть на рынке». Так нет, нарочно держите это чудовище!..

— Подожди, успокойся, — перебила мама. — Что ж она сделала?

— Съела, весь огород съела! — в полном отчаянии проговорил Михалыч. — Сколько работы, сколько трудов — и вот результат!

Я выскочил из-за стола и побежал взглянуть на всё своими глазами. Действительно, на месте нашего пышного огорода торчали какие-то жалкие, объеденные стебельки. Все гряды были перетоптаны, перемяты. Я с горечью поглядел на этот ещё недавно цветущий уголок. Увы, от него ничего не осталось.

Пришёл и Михалыч, закурил, молча стоял у открытой калитки.

— Да как же она сюда забралась? — недоумевал я.

— Забыл, я сам забыл запереть калитку, когда перед обедом сюда заходил, — мрачно пояснил Михалыч.

Так нам и не удалось собрать осенний урожай с нашего огорода.

Но корову Михалыч всё-таки не застрелил и даже очень скоро перестал на неё сердиться.

— А наши с тобой труды в огороде всё-таки не пропали даром, — однажды весело сказал он.

— То есть как не пропали?

— Очень просто: ты пьёшь молоко, ешь сметану, масло, а почему они такие вкусные, жирные стали? Потому что корова нашими овощами питалась. Это брат, совсем не то, что какая-нибудь трава-мурава.

Действительно, с тех пор как корова побывала в нашем огороде, мне стало казаться, что её молоко, и сметана, и масло стали особенно вкусные.

Мама тоже с этим вполне согласилась.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Лето кончалось. В зелёной листве берёз уже появились жёлтые прядки. Грачи и ласточки сбились в огромные стаи. Грачи целые дни разгуливали за рекой по скошенному лугу, добывая разных жучков, червячков. А ласточки с утра до ночи носились над тем же лугом, над речкой, над пустошью за городом, охотясь за мошками и комарами.

А иной раз будто тёмная тучка покажется издалека и быстро приближается. Но я хорошо знал, что это вовсе не тучка, а несметное скопище скворцов летит плотной стаей, чтобы с оглушительным криком, свистом и щебетом опуститься вдруг на кусты прибрежного лозняка, сразу укрыв их словно чёрной густой листвой.

А улетят птицы, пусто станет в лугах, пусто и в поле. Зато лес оставался всё так же хорош, даже теперь ещё лучше стал, потому что в нём появились грибы.

Собирать грибы и Михалыч и мама были большие охотники! А про меня и говорить нечего — мне бы лучше всего и совсем из леса не уходить. Поэтому

каждое воскресенье, когда Михалыч не должен был идти на работу, с утра запрягали лошадь в тележку, и мы все отправлялись на целый день в лес.

Приедем, бывало, в деревню Ивановку, которая стоит на самой опушке Бековского леса, оставим лошадь в крайнем домике, кошёлки в руки — и на полдня за грибами. К обеду полны кошёлки наберём, отнесём их в деревню, выложим в свою тележку, отдохнём немного, закусим и снова в лес до самого вечера.

Особенно осталась у меня в памяти одна поездка.

Был уже конец августа. Денёк выдался пасмурный, даже порой слегка накрапывал дождик. В лесу на траве, на дорожках уже виднелось много опавших листьев. На полянах ярко краснели гроздьями ягод стройные рябины, с них с громким квохтаньем и трескотнёй тяжело слетали разжиревшие дрозды.

Мы разбрелись неподалёку друг от друга. Я держался поближе к маме. Она очень хорошо умела искать грибы и как, бывало, только найдёт грибок, сейчас же подзывает меня.

— Юрочка, ну-ка, подойди сюда, посмотри, нет ли тут ещё поблизости, а то я плохо вижу, как бы не пропустить.

Ну конечно, я со всех ног лечу на помощь. И обычно тут же, рядом с маминым, нахожу ещё и ещё грибы.

— Да как же ты его не видела?! — возмущаюсь я. — Ведь совсем рядом с твоим стоял. Как же ты не заметила?

Мама добродушно улыбается:

— Что поделать, Юрочка, глаза стали плоховато видеть, боюсь пропустить, тебя и зову на помощь.

А вот Михалыч никогда на помощь не позовёт. Если найдёт хороший гриб, особенно белый, всё кругом обшарит. Все грибы, что растут поблизости, сам соберёт.

Я не раз предлагал ему свои услуги.

— Нет, — говорит, — покорно благодарю. Ты уж мамаше иди помогать. Она, как придёт в лес, сразу начинает видеть плоховато. А я отлично вижу — сам управлюсь.

Ну, не хочет, и не нужно.

В тот день грибов в лесу было очень много, особенно подосиновиков. Крепкие, молоденькие, на толстых белых ножках, в красных картузиках, они повсюду весело выглядывали из пожелтевшей, завядшей травы.

А как хороши были белянки и чернушки, и те и другие на низеньких ножках! Шляпки широкие, как чайные блюдца, и во многих из них в самой серёдке блестела дождевая вода.

Белянки и чернушки были очень похожи друг на друга, только белянки — беленькие, а чернушки — тёмно-бурые, иные почти чёрные. А вот белые грибы попадались редко, и поэтому, как кто из нас находил такой гриб, с торжеством показывал его другим.

Я долго никак не мог найти самостоятельно ни одного белого гриба.

Правда, мама уже раз пять просила прийти ей на помощь. Рядом с её грибами и я находил, но в тайне души я чувствовал тут что-то неладное и подобным находкам не так уже радовался.

Наконец счастье и мне улыбнулось: выхожу на полянку и вдруг вижу возле старой, давно не езженной дороги сразу два белых гриба. Да каких ещё!

Шляпка у каждого чуть поменьше моего картуза. Срезал их аккуратно ножичком. Ножки толстые, крепкие.

Вот находка! Хотел было уже кричать, чтобы и мама и Михалыч шли глядеть на моих красавцев, да на всякий случай ещё разок огляделся по сторонам, огляделся — и обмер: ещё два почти рядом с моими растут, а немного подальше — ещё один. И все как на подбор.

После такой удачи я уж всю эту полянку ползком облазил. Но больше ни одного не нашёл. Ну что же, пять крупных и совсем свежих белых грибов на одной полянке, разве это плохо? Мама, как их увидела, прямо в восторг пришла. И Михалыч тоже похвалил. Только мне показалось, что он при этом как-то недовольно не то вздохнул, не то крякнул и поглядел на свою корзину. А там всего-навсего три белых гриба.

В этот день по части белых грибов я оказался, безусловно, победителем. Свою чудесную пятёрку я положил в кузовке поверх других грибов. Если кто взглянет, подумает, что у меня сплошь одни только белые.

Наконец, пробродив до самого вечера, усталые, но зато с полными корзинками, мы подошли к дому, где стояла наша тележка.

— Сейчас попросим хозяина лошадь запрячь и поедем, — сказал Михалыч. — Да вон и сам Фёдор Иванович у крыльца поджидает.

Увидя нас, хозяин домика, где мы оставили лошадь, быстро пошёл навстречу.

— Наконец-то пришли! — сказал он, обращаясь к Михалычу. — А я уж вас жду, жду, хотел даже в лес бежать искать.

— А что случилось?

— Да жена ребёночка родить собралась. А не за-



далось что-то. Так мается, так мается — страшно глядеть. Помогите, сделайте божескую милость.

— Лучше давай отвезём в больницу, — сказал Михалыч.

— А может, как-нибудь обойдётся и без больницы... — робко ответил Фёдор Иванович.

— Ну, сейчас посмотрю. Вынесите мне мыло, чистое полотенце: руки после грибов вымыть почище надо. Может, водка есть, протереть их.

— Всё, всё дадим, — засуетился хозяин.

Михалыч вымыл руки, протёр их водкой и ушёл вместе с хозяином в дом.

Мы с мамой остались во дворе возле нашей тележки. Распряжённая лошадь стояла тут же и не спеша, лениво жевала сено. Около неё расхаживали кури. Было тихо, спокойно, и приятно попахивало навозцем и свежим сеном.

Вдруг из дома послышался страшный крик.

— О господи! — вздрогнула мама.

Крик повторился ещё и ещё.

На меня напал такой страх, что я боялся двинуться с места, боялся даже пошевелиться.

«Ни за что, ни за что не буду врачом! — пронеслось в голове. — Как это страшно!»

А крики и стоны всё продолжались.

— Юра, пойдём на лужок, посидим там.

Я, как во сне, пошёл вслед за мамой. Но и вдали от дома крики и стоны были тоже слышны.

Случайные прохожие останавливались, прислушивались. Многие женщины набожно крестились.

И вдруг в доме всё смолкло.

— Мама, она не умерла? — в ужасе спросил я.

Мама прислушивалась, не отвечала, и от этого становилось ещё страшнее, страшнее до жути. Ещё минута, и я, наверное, тоже бы закричал или лишился чувств. Но в это время дверь в домике широко растворилась, и на пороге появился Михалыч. Он махнул нам рукой. Мы подбежали.

Михалыч был весь красный, лицо всё потное, но такое весёлое.

— Ну как? — задыхаясь, спросила мама.

— Мальчишка! Да какой здоровый, прямо богатырь!

— А сама?

— Всё в порядке.

В это время из дома вышел сам хозяин. Лицо у него так и сняло от радости.

— Поздравляем, поздравляем с сыном! — улыбаясь, обратилась к нему мама.

— Покорнейше вас благодарим! — всё так же счастливо улыбаясь, ответил тот. — Может, в дом зайдёте? Я самоварчик сейчас поставлю, яички сварю.

— Не надо, не надо! — запротестовала мама. — Какой вам теперь самоварчик, яички... Вам за женой ухаживать надо. Вот если бы нам лошадку запрячь.

— Это минутное дело, сейчас запряжём, — засуетился хозяин.

Не прошло и пяти минут — лошадь была уже запряжена. Мы собрались ехать. Но в это время из избы торопливо, чуть не выбежала какая-то старушка и прямо к Михалычу.

— Что это?.. Не возьму, и не думайте, — запротестовал он.

— Нет, возмёшь, от меня на память! — решительно сказала старушка. — Этот рушник я сама вышивала. ещё когда молодая была.

— Возьмите, не побрезгуйте, — вмешался хозяин. — Мы ведь от всей души.

— А в рушнике-то что?

— Хлеб-соль от нашего дома. — И она приоткрыла край полотенца.

Оттуда выглянул поджаристый бочок деревенского каравая.

— Ну, спасибо, мамаша! — сказал Михалыч.

— Спасибо тебе, родной! — отвечала старушка и своей худой, сморщенной рукой перекрестила Михалыча, потом обняла и поцеловала его. — Дай бог тебе всякого счастья!..

Мы сели в тележку и поехали. Михалыч правил, а мама сидела рядом и держала на коленях круглый ситный хлеб, завёрнутый в деревенское, вышитое петухами полотенце. И как чудесно пахло и от этого пропечённого в русской печи каравая, и от чистого домотканого рушника!

Мы ехали и почему-то все молчали. На душе у меня было так хорошо, как еще никогда в жизни не было. Перед глазами стояли счастливые, улыбающиеся лица провожавших нас людей, и слышались их почему-то слегка дрожащие голоса.

А Михалыч? Какое у него было довольное и немножко растерянное лицо, когда старушка подарила ему хлеб и полотенце!

«Ах, как всё хорошо! — подумал я. — Вот вырасту большой, обязательно буду доктором. Останусь жить в Черни вместе с мамой и Михалычем. Они будут тогда уже старенькие. А я стану ездить по деревням, лечить больных. И меня так же будут все любить и благодарить, как сегодня Михалыча».

Так в этот день я узнал, что самое великое чудо — появление на свет новой жизни — несёт с собой не только радость, но и страдание.

В этот же день я узнал и другое, что это страдание — ничто перед тем событием, о котором Михалыч с волнением сказал: «Мальчишка! Здоровый, прямо богатырь!»

— Как хорошо, что всё так благополучно кончилось, — тихо сказала мама.

— Да, хороший сегодня денёк!.. — ответил Михалыч и вдруг, весело улыбнувшись, добавил: — А какие пять боровиков сегодня Юра нашёл! Я, признаться, сильно ему позавидовал.

Мы выехали из леса на шоссе. Застоявшаяся лошадь побежала крупной рысью. В лицо пахнул свежий ветерок. День кончился, на западе разгоралась яркая, уже по-осеннему прохладная заря.

ПОПОЧКА

Рано утром Михалыча вызвали к больным вёрст за двадцать или даже больше: заболела дочь у какой-то помещицы. За доктором прислали коляску, запряжённую тройкой вороных лошадей.

Собираясь в дорогу, Михалыч недовольно ворчал:

— Ох уж мне эти важные барыни: дочка чихнула лишний разок, и уже переполох, поезжай невесть куда и невесть зачем.

— Откуда ты знаешь, что у дочки насморк, — возражала мама. — Может, она тяжело больна. Не стали бы из-за пустяков в такую даль лошадей гонять.

— Знаю всё, заранее знаю! — сердился Михалыч. Тут он представил в лицах важную барыню: — «Ах, доктор, я в отчаянии, я всю ночь не сомкнула глаз! Мими вчера чихнула!» Э, да что там говорить! — Он безнадёжно махнул рукой, взял шляпу и уехал.

Вернулся домой Михалыч только поздно вечером. Я уже разделся и был в постели, когда под окном раздался звон бубенчиков, стук колёс. Потом лошади остановились, слышались голоса людей, шаги. Отворилась входная дверь, и я услышал в передней весёлый голос Михалыча:

— А Юра уже спит?

— Лёг, а что? — ответил голос мамы.

— Погляди, какого красавца я ему привёз.

— Откуда же это? — воскликнула мама. — Подожди, я погляжу, может, ещё не спит.

Но глядеть ей не пришлось. Я мигом натянул штаны, рубашку и выскочил в переднюю.

— Вот он, явился! — приветствовал меня Михалыч. — Ну-ка, загляни в кабинет.

Я посмотрел в открытую дверь.

— Ой, что это?

На полу стояла металлическая клетка. И в ней, с любопытством оглядываясь по сторонам, сидел большой белый попугай — какаду.

— Это, брат, я тебе привёз, — сказал Михалыч.

— Спасибо! Какой красивый! — закричал я, приплясывая вокруг клетки.

— Да где же ты его взял? — спрашивала мама.

— Вот получил в подарок за то, что сорок вёрст туда-сюда отмахал! — весело ответил Михалыч.

— А как больная? Что с ней? — поинтересовалась мама, — Правда насморк?

— Нет, на этот раз не угадал, — так же весело отвечал Михалыч. — У неё страшная болезнь...

— Какая?

— Запор. Один день желудок не работал.

— Вот уж правда чудачки! — улыбаясь, покачала головой мама. — Ну, и что же ты ей посоветовал?

— Посоветовал выпить английской соли и есть поменьше. Думаю, болезнь не опасная, не умрёт.

— Но при чём же тут всё-таки попугай? Расскажи, пожалуйста, — попросила мама.

— А вот при чём. Осмотрел я, значит, больную. Потом её мать предлагает мне закусить. Я отказываюсь. И слушать не хочет. «Что вы, что вы, двадцать вёрст ехали и ещё двадцать обратно. Целый день не евши...» Ну, вижу, не отделаюсь, да и, признаться — здорово проголодался. Пошли в столовую, сели за стол. Только стали есть, вдруг слышу сзади: «Попочке дадите?» Оборачиваюсь. А вот этот красавец в тёмном углу в клетке сидит. Пригорюнился, насупился, такой грустный. После обеда я подошёл к нему. А он и сам ко мне тянется, голову наклоняет. На одной ноге стоит, лапой за жёрдочку держится, а другой показывает, чтобы я ему шейку почесал. В пять минут мы с ним подружились. Гляжу — хозяйка сзади стоит, улыбается. «Вы, говорит, я вижу, большой любитель животных!» — «Да, признаться, очень всякую тварь люблю. А ребята мои ещё больше». — «Как, у вас и ребята есть, и они тоже животных любят?» — даже обрадовалась хозяйка и начала меня упрашивать, чтобы я отвёз этого попугая в подарок тебе и Серёже. Я, конечно, наотрез отказался. Но она, видать, дама напористая. «Иван, — кричит какому-то работнику, — возьми клетку с попугаем да пристрой покрепче в пролётке, чтобы не свалилась дорогой». Иван клетку схватил, понёс. А хозяйка ко мне: «Доктор, милый, не сердитесь на меня, старуху. Разрешите сделать этот подарок вашим детям. У нас попугаем никто не интересуется. Дочь взрослая. Сын в Петербурге. Ну, а мне и без попугая всяких забот по хозяйству хватает. Он у нас совсем в загоне. Иной раз, грех сказать, дня по два без еды, без питья сидит».

— Ох, бедненький! — вздохнула мама.

— «А птица, говорит, такая умная, — продолжал рассказывать Михалыч, — такая привязчивая. Если к ней относиться с любовью, она не отойдёт ни на шаг, так и будет следом, как собака, ходить. Летать наш попочка, к сожалению, не может, крыло давно уже сломано».

— Хорошо, что ты его взял, — одобрила мама.

— Я тоже так думаю, — сказал Михалыч. — Зачем ему там мучиться, если он никому не нужен. У нас, по крайней мере, вздохнёт свободно. Ишь как беднягу укачало в дороге!

Действительно, попугай дрожал, сидя на жёрдочке.

— Только как-то неловко вышло: такой дорогой подарок от совсем незнакомых людей, — сказала в раздумье мама, глядя на попугая и на красивую клетку, где он сидел.

— Ну, не совсем задаром, — ответил Михалыч. — Во-первых, то, что я сорок вёрст прокатился, тоже что-нибудь да стоит, а потом, я сказал, что хоть за клетку я должен расплатиться. Иначе и попугая не возьму.

— Сколько же она взяла? — сразу насторожилась мама.

— За пятнадцать рублей она её когда-то купила. Пятнадцать рублей я и отдал.

— Ну, этот подарок не очень дёшево обошёлся, — с явным неудовольствием ответила мама. — Да, забавная птичка... Однако пора всем спать. Если хочешь покушать, ужин тебя ждёт.

— Нет, я не голоден и сильно устал. Прямо спать лягу.

Очень не хотелось мне так скоро расставаться с попугаем. Но я увидел, что мама почему-то сделалась немножко не в духе, поэтому даже не попросил позволения перетащить клетку с птицей сейчас же в мою комнату.

— Алексей Михайлович верен себе, — ворчала, раздеваясь, мама, — всегда сумеет куда-нибудь свои денежки пристроить. Без этого ему и жизнь не в жизнь.

— Но ведь ты же сама сказала — нехорошо даром такой подарок брать? — не выдержав, возразил я.

— Спи, пожалуйста, не твоё дело! — рассердилась мама и продолжала ворчать: — Нет, каково! Целый день у больных просидел, а вместо гонорара попугая домой привёз да ещё сам же за него пятнадцать рублей заплатил!

Долго ещё мы с мамой никак не могли заснуть: я — от радости, мама — от негодования.

ВОТ ТАК СЮРПРИЗ!

Моё пробуждение было совсем необычным.

Я вскочил в полусне с кровати, не понимая, что происходит. За окном начинало светать. В комнате было ещё темновато, но мама тоже почему-то проснулась. В доме полнейшая тишина. И вдруг из кабинета Михалыча донёсся дикий, нечеловеческий крик.

Мы с мамой бросились туда. И что мы увидели?

На полу перед клеткой попугая сидел на корточках в нижнем белье Михалыч. Он растерянно повторял:

— Ну, что ты, ну, что тебе нужно? Перебудишь всех!

А попугай, весело поглядывая на него чёрным озорным глазком, приплясывал, сидя на жёрдочке.

В тот миг, когда мы с мамой вбежали, он приподнял свой великолепный ярко-жёлтый хохол и ещё раз издал ликующий крик. От этого крика мама заткнула уши, а я даже присел на пороге комнаты.

— Что он хочет, что ему нужно? — простонала мама.

Попугай крикнул ещё разок.

— Ой, пусть только не орёт, я всё сделаю, что он захочет! — взмолилась она.

Мы бросились в столовую, принесли оттуда сахару, печенья, конфет.

Но попугай, видно, желал что-то совсем другое. Он сразу же до крови укусил маму за палец, когда она попыталась его угостить. А потом так заорал, что мы все в ужасе отскочили от клетки.

— Что ж теперь будет? — растерялась мама. — У меня сейчас начнётся мигрень.

— Может, попробовать его в сад вынести? — подумав, сказал Михалыч.

— А что, как он и там орать начнёт? Всех соседей разбудит. Не поймут ничего, решат, что у нас в саду кого-нибудь убивают.

— Но нужно же что-то делать! — раздражённо ответил Михалыч. — Отнесу попробую.

И мы двинулись в сад.

Впереди Михалыч, в ночных туфлях, в нижнем белье, нёс клетку с лихо танцующим попугаем; за Михалычем шла мама в капоте. Я тоже в очень лёгком туалете завершал шествие.

— Ну ты-то зачем идёшь? — недовольно обернулась ко мне мама.

— Мамочка, позволь, пожалуйста!..

— Ах, делайте что хотите! — махнула она рукой, спускаясь с террасы в сад.

Было раннее утро. Весь сад точно дымился в сизых клубках тумана. Зато вершины яблонь и груш уже ярко розовели, освещённые первыми лучами солнца. В кустах беззаботно чирикали воробьи.

Михалыч поставил клетку под старую яблоню и открыл дверцу:

— Вылезай, гадина!

Попугай не замедлил исполнить это, правда, не совсем любезное приглашение.

Он быстро вылез из клетки, оглянулся, чихнул. Видно, утренняя сырость ему не понравилась. Потом вперевалячку зашагал к яблоне и ловко, как акробат, стал карабкаться вверх по стволу, цепляясь за кору острыми когтями и помогая клювом.

Не прошло и двух-трёх минут — он был уже на верхушке. Там он от радости хлопал крыльями и, встречая восходящее солнце, издал такой потрясающий

воплъ, что сидевшие в кустах воробьи, как горох, посыпались в разные стороны.

В курятнике тревожно закудахтали куры, и в соседнем доме распахнулось окно.

— Ну, теперь осрамит на весь город! — охнула мама и, не оглядываясь, поспешила домой.

Мы с Михалычем грустно поплелись за ней следом.

Но, к великому нашему счастью, попугай больше кричать не стал, и мы, подождав ещё немного, разошлись по своим комнатам, чтобы соснуть ещё часок- другой.

В этот день я проснулся довольно поздно и сразу же спросил про попугая.

— Что-то молчит, — ответила мама. — Я уж боюсь в сад заглянуть. А то ну-ка увидит и опять орать начнёт.

Но мне не терпелось пойти взглянуть на своего попочку. Не такое уж это преступление, что он под утро немножко покричал. Может быть, ему сон дурной приснился или новое место не очень понравилось. А теперь огляделся как следует и больше не кричит.

Я уговорил маму, и мы вместе пошли навестить нашего весёлого баловника.

Вошли в калитку и обмерли. Мама даже глаза протёрла. Нет, это был не сон.

Вся земля под яблоней, на которой сидел попугай, была сплошь укрыта сброшенными уже спелыми яблоками. А сам виновник этого происшествия хлопотал на верхушке, добирая последние, ещё уцелевшие плоды.

Ловко перелезая с ветки на ветку, он подбирался к висевшему яблоку, срывал его своим мощным клювом, затем он брал его в лапку и выгрызал клювом с одной стороны из яблока мякоть. Потом доставал зёрнышки, с аппетитом их ел, а надкусанное яблоко бросал вниз на траву. Расправившись с одним плодом, он тут же направлялся к другому.

Результат его деятельности мы видели на земле.

— Проклятый! — с ненавистью прошептала мама. — Всю яблоню обобрал. Погубил все яблоки!

Но весёлый баловник отнёсся к маме совсем не так враждебно, как она к нему. Наоборот, он, видимо, соскучился сидеть один всё утро и очень обрадовался нашему приходу.

Глядя вниз на маму, он радостно хлопал крыльями и закричал: «Сюда, сюда, сюда!» — а потом нагнул головку и показал маме лапой, чтобы она почесала ему шею и головку.

Но мама была так огорчена гибелью всех яблок с любимой яблони, что даже не оценила это радушное приглашение.

— Мама, ты разве не слышишь, что он тебя к себе на яблоню приглашает, чтобы ты ему там головку почесала?

— Ну и полезай, если хочешь! — сурово ответила мама. И вдруг на лице её отразился ужас. — А что, если он по всему саду путешествовать начнёт! Этак он все яблони обработает, и яблочка не попробуешь.

Признаюсь, я тоже немножко огорчился. Что, если и вправду противный попка все яблоки оборвёт?



Пришёл из больницы Михалыч. Мама сразу же повела его в сад. Попугай трудился уже на втором дереве. Первое было окончательно обработано.

— Мда-а-а! — многозначительно протянул Михалыч. — Теперь понятно, почему эта проклятая старушонка так спешила его поскорее мне всучить.

— А ты ещё пятнадцать рублей ей за него приплатил! — не без ехидства добавила мама.

— Ах, оставь, пожалуйста, эти пятнадцать рублей! Я бы охотно ей и ещё приплатил, чтобы она этого чёрта назад забрала.

— Ну что ж, это дело, — встрепенулась мама. — Я сейчас схожу к ямщику Дагаеву и найму его. Пусть завтра же утром отвезёт эту милую птичку обратно...

До вечера попугай обобрал ещё две яблони. Но, когда начало темнеть, он спустился вниз и сам залез в свою клетку.

Этого мама только и ждала. Она заперла дверцу и торжественно принесла пленника домой.

Ночь он проспал спокойно, даже не подозревая того, какое путешествие его вновь ожидает.

Но едва забрезжил рассвет, попочка бодро проснулся и на весь дом заявил, что пора вставать и нести его в сад. Мама встала, встала и тётка Дарья, и они вдвоём отнесли клетку с попугаем к Дагаеву. А тот отвёз баловника к его прежним владельцам.

С попугаем мама послала и записку, в которой благодарила за подарок, но уверяла, что у нас слишком мала квартира, чтобы мы имели возможность забавляться такой милой птичкой.

Внизу мама приписала: «Клетку тоже возвращаем в целости и сохранности».

На следующее утро мама сходила к Дагаеву и спросила, нет ли ответа, не просили ли чего-нибудь передать.

— Нет! — отвечал возница, — Сама барыня, как увидела, что я птицу ей в дом несу, так расстроилась, так расстроилась, что даже и говорить со мной не захотела...

Вот и увезли у меня мой подарок, моего озорного попochку. А мне, признаться, всё-таки было жалко с ним расставаться.

СЕРЁЖА ПРИЕХАЛ

Незаметно бежало лето. В начале августа приехал из Москвы Серёжа. Я даже сразу не узнал его, так он загорел и возмужал.

Серёжа приехал весёлый, рассказывал, как ловил рыбу, как поймал сам двух лещей. Один здоровенный такой, еле-еле в ведро уместился.

Я тоже рассказал ему, как поймал сачком щуку, как собираю бабочек и жуков. Но к моей коллекции Серёжа отнёсся вполне равнодушно.

— Охота была разных мушек, таракашек ловить! — небрежно сказал он.

И вот ведь что удивительно: только сказал он это, и все мои бабочки и жучки мне самому показались такими ничтожными!

Зато Серёжа с большим интересом слушал историю с мотоциклетом.

— Эх, жаль меня здесь не было! Я бы его обязательно наладил, — сказал он.

Я охотно поверил, что уж Серёжа наверное бы наладил мотоциклет и его не пришлось бы, как мама говорит, продать за гроши.

Про попугая Серёжа сказал очень коротко:

— Охота была столько возиться. Стукнуть разок по головке — сразу бы богу душу отдал.

Потом Серёжа рассказал мне самое важное и интересное. В деревне, где его мама снимала дачу, жил один знакомый охотник. И он дал Серёже несколько раз выстрелить из настоящего ружья.

— Но ведь оно как в плечо отдаст, так с ног и слетишь, — сказал я.

— Глупости! — ответил Серёжа. — Отдаёт, конечно, здорово. Нужно крепче на ногах стоять, тогда и не слетишь. Я даже грача застрелил, — небрежно добавил он. — Тот действительно, как тряпка, с дерева слетел.

После этих рассказов я почувствовал, что пропасть, разделявшая нас, раздвинулась ещё больше и Серёжа в своём превосходстве стал для меня почти так же недосыгаем, как Кока Соколов.

Даже сам Михалыч одобрил рассказы Серёжи о том, что тот стрелял из настоящего ружья.

— Молодчина! — сказал он и, немного помолчав, таинственно добавил: — Ну да, я тоже кое-что для вас приготовил, скоро привезут.

Вот тут сразу исчезло всё различие между «взрослым» Серёжей и мной. Мы оба бросились к Михалычу, умоляя не мучить и рассказать, что именно должны для нас привезти. Но Михалыч, как всегда, только посмеивался и ничего не

хотел сказать. Ужасная у него была эта манера. Уж лучше бы и не начинал говорить, если сказать не хочет. Однако ничего не поделаешь — приходилось ждать.

В первые же дни после приезда Серёжи мы с ним сбегали и на реку половить пескарей, и в ближайший лесок за грибами. Только грибами Серёжа мало интересовался. Зато он мне в лесу показал такое, от чего я сразу даже опомниться не мог. Только мы пришли на поляну, Серёжа сел на пенёк и вдруг, совсем как Михалыч, сказал:

— Ну что ж, дружище, покурим, пожалуй?

Я думал, что это он так, понарошку. Раньше мы с ним сорвём, бывало, одуванчик, расцепим, конец стебля на четыре части, возьмём в рот и начнём приговаривать: «Бабка, бабка, завей кудри, бабка, бабка, завей кудри!» Потом вынем стебелёк изо рта, а четыре кончика и правда в колечки завилились. Чем дольше приговариваешь, тем круче завьются.

Это у нас и называлось «покурить».

Но на этот раз Серёжа никаких одуванчиков рвать не стал. Он полез в карман и вытащил оттуда коробочку настоящих папирос и спички.

Я с изумлением смотрел, что же будет дальше. А Серёжа преспокойно взял папиросу в рот, зажёл спичку и закурил.

— Я даже через нос дым пускать могу, — сказал он. И пустил струйку дыма.

Правда, при этом он так закашлялся, что даже весь покраснел и слёзы на глазах выступили. Но он быстро оправился и спокойно сказал:

— Крошка табаку в горло попала, ужасно небрежно теперь набивают гильзы.

— Серёжа, а откуда у тебя папиросы? — робко спросил я.

— Как — откуда? У папы взял.

— У Михалыча? А он знает?

— Дурак! — отрезал Серёжа, презрительно взглянув на меня. И тут же добавил: — Ты ещё не вздумай ему рассказать, с тебя этого хватит.

— Нет, я ничего не скажу, — уныло ответил я.

Но почему-то всё молодечество Серёжи, его умение курить мне вдруг показалось совсем не так уже заманчиво. Какой же он взрослый, если потихоньку таскает у Михалыча папиросы и боится, что его поймут? Нет, лучше уж подождать, пока вырастешь, будешь такой, как Кока; тогда закуришь при всех, никого не боясь, не стесняясь. А курить так, украдкой, да ещё чужие, как воришка, совсем неинтересно.

Я, конечно, не сказал Серёже то, о чём подумал, но он как будто и сам догадался. Он покровительственно похлопал меня по плечу и насмешливо проговорил:

— Эх ты, пупочка-мумочка! Пойдём грибки искать.

Ну и что ж, что «пупочка-мумочка», а всё-таки я в этот раз нашёл три белых гриба, а Серёжа ни одного.

МЫ ЗАВЕЛИ СОБАКУ

Мы с Серёжей ложились спать. Вдруг дверь отворилась, и вошёл Михалыч, а следом за ним — большая, красивая собака, белая с тёмно-коричневыми пятнами на боках. Морда у неё тоже была коричневая, а огромные уши свисали вниз.

— Откуда она? Это наша будет? Как её звать? — закричали мы, вскакивая с постелей в одних рубашках и бросаясь к собаке.



Пёс, немного смущённый такой бурной встречей, всё же дружелюбно завилял хвостом и позволил себя погладить. Он даже обнюхал мою руку и лизнул её мягким розовым языком.

— Вот и мы завели собаку, — сказал Михалыч — Ну, а теперь марш по кроватям! А то придёт Сама, увидит, что в одних рубашках бегаєте, и задаст нам.

Мы сейчас же залезли обратно в кровати, а Михалыч уселся на стул.

— Джек, сядь, сядь здесь! — сказал он собаке, указывая на пол.

Пёс сел рядом и подал лапу.

— Здравствуй, здравствуй! — сказал Михалыч, потряс лапу и снял её с колен, но Джек сейчас же подал её опять.

Так он «здоровался», наверное, раз десять подряд. Михалыч делал вид, что сердится, снимал лапу. Джек подавал опять, а мы смеялись.

— Ну, довольно, — сказал наконец Михалыч. — Ложись.

Джек сейчас же послушно улёгся у его ног и только искоса поглядывал на Михалыча да слегка постукивал по полу хвостом.

Шерсть у Джека была короткая, блестящая, гладкая, а из-под неё проступали сильные мускулы. Михалыч сказал, что Джек — охотничья собака, легавая. С легавыми собаками можно охотиться только за дичью — за разными птицами, а на зайцев или лисиц нельзя.

— Вот попривыкнет немного к нам, мы и пойдём с ним уток стрелять. Ну, а теперь живо ложитесь спать, а то уже поздно.

Михалыч окликнул Джека и вышел с ним из комнаты.

На следующее утро мы с Серёжей встали пораньше, напились поскорее чаю и побежали гулять с Джеком.

Пёс весело бегал по высокой, густой траве, между кустами, вилял хвостом, ласкался к нам и вообще чувствовал себя на новом месте, как дома.

Набегавшись, мы решили идти играть в «охотников». Джек тоже отправился с нами. Мы сделали из обруча от бочки два лука, выстрогали стрелы и пошли на «охоту».

Посреди сада из травы виднелся небольшой пенёк. Издали он был очень похож на зайца. По бокам у него торчали два сучка, будто уши.

Первый стрельнул в него Серёжа. Стрела ударилась о пенёк, отскочила и упала в траву. В тот же миг Джек подбежал к стреле, схватил её зубами и, виляя хвостом, принёс и подал нам. Мы были этим очень довольны. Пустили стрелу опять, и Джек опять принёс её нам.

С тех пор Джек каждый день принимал участие в нашей стрельбе и подавал нам стрелы.

Очень скоро мы узнали, что Джек подаёт не только стрелы, но и любую вещь, которую ему бросишь: палку, шапку, мячик... А иногда он притаскивал и такие вещи, о которых его вовсе никто не просил, Например, побежит в дом и принесёт калошу.

— Зачем ты её принёс? Ведь сухо совсем! Неси, неси назад! — смеялись мы.

А Джек бегаёт вокруг, суёт в руки калошу и, видимо, вовсе не собирается нести её на место. Так и приходилось нести самим.

Джек очень любил с нами ходить купаться. Только начнём собираться, он уж тут как тут — прыгает, вертится, будто торопит нас.

Речка в том месте, где мы купались, была у берега мелкая. Мы с хохотом и визгом барахтались в воде, брызгались, гонялись друг за другом. И Джек тоже залезал в воду, прыгал и бегал вместе с нами; если же ему кидали в речку палку, бросался за нею, плыл, потом брал в зубы и возвращался на берег. Часто в порыве веселья он хватал что-нибудь из нашей одежды и пускался бежать, а мы гонялись за ним по лугу, стараясь отнять трусики или рубашку. А один раз вот что случилось.

Купались мы на речке вместе с Михалычем. Он плавал очень хорошо. Переплыл на другую сторону и стал звать к себе Джека. Тот в это время играл с нами. Но, как только услышал голос хозяина, сразу насторожился, бросился в воду, потом неожиданно вернулся, схватил в зубы Михалычеву одежду. И не успели мы опомниться, как он уже плыл на ту сторону. Следом за ним, раздуваясь, как большой белый пузырь, тащилась по воде рубашка, а брюки уже совсем намокли, скрылись под водой. Джек едва их придерживал зубами за самый кончик.

Мы так и замерли на месте, боясь, что он упустит одежду и она утонет. Но Джек, ничего не растеряв, благополучно переплыл на другую сторону.

Так и пришлось Михалычу плыть обратно вместе с одеждой. Просохнуть она, конечно, не успела.

Когда мы вернулись домой, мама так и ахнула:

— Что случилось? Почему ты в таком виде? Ты что, в реку упал? — Но, узнав, в чём дело, потом долго смеялась вместе с нами.

К Джеку мы очень привыкли и всё мечтали о том, когда Михалыч пойдёт на охоту. Он обещал, что и нас тоже возьмёт с собой.

И вот, вернувшись как-то с работы и пообедав, Михалыч многозначительно взглянул на нас:

— Ну-с, кто желает идти со мной готовиться к завтрашней охоте?

Конечно, повторять приглашение не пришлось. Мы с Серёжей бросились со всех ног в кабинет и уселись возле письменного стола.

Михалыч достал из ящика патроны, сумку и наконец вынул из чехла ружьё.

— С самой весны лежит, — сказал он. — Нужно протереть немножко.

Пока Михалыч доставал охотничьи доспехи, Джек спокойно лежал в уголке на своём коврикe. Но, как только он увидел ружьё, вскочил с места, начал скакать, прыгать около стола и всем своим видом показывал, что он сейчас же готов идти на охоту. Потом, не зная, как ещё проявить свою радость, умчался в столовую, притащил с дивана подушку и так начал её трясти, что только пух полетел во все стороны.

— Что такое у вас творится? — удивилась мама, входя в кабинет.

Увидев, в чём дело, она сейчас же отняла у Джека подушку и унесла обратно на место.

На следующий день мы встали чуть свет, поскорее оделись и уже ни на шаг не отставали от Михалыча. А он, как нарочно, одевался и завтракал очень медленно.

Наконец Михалыч собрался: надел куртку, высокие сапоги, подпоясался патронташем и взял в руки ружьё.

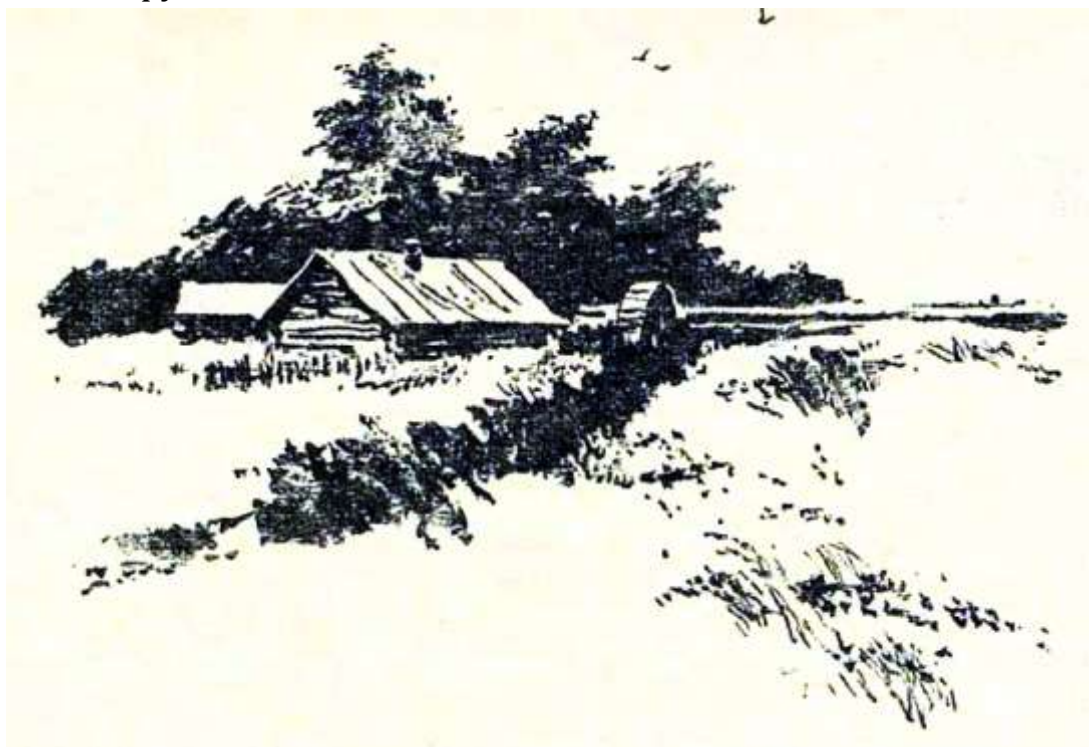
Джек, вертевшийся у него под ногами, пулей вылетел во двор и, радостно взвизгивая, начал носиться вокруг запряжённой лошади. А потом со всего размаха вскочил на телегу и сел.

Михалыч и мы тоже взобрались на телегу и тронулись в путь.

— До свиданья! Смотрите с пустыми руками не возвращайтесь! — кричала нам вдогонку мама, стоя на крыльце.

Через десять минут мы уже выехали из нашего городка и покатали по просёлочной дороге, через поле, через лесок — туда, где ещё издали поблёскивала речка и виднелась обсаженная вёслами мельница.

От этой мельницы вверх по берегу речки густо росли камыши и тянулось неширокое болото. Там водились дикие утки, длинноносые болотные кулики — бекасы — и другая дичь.



Приехав на мельницу, Михалыч оставил лошадь. И мы отправились на болото.

Пока шли по дороге к болоту, Джек следовал рядом с Михалычем и всё поглядывал на него, будто спрашивая, не пора ли бежать вперёд.

Наконец подошли к самому болоту. Тут Михалыч остановился, подтянул повыше сапоги, зарядил ружьё, закурил и тогда только приказал:

— Ищи!

Джек только этого и ждал. Он бросился со всех ног в болото, так что брызги во все стороны полетели. Отбежав шагов двадцать, пёс приостановился и начал бегать то вправо, то влево, к чему-то принюхиваясь.

Джек искал дичь. Михалыч не спеша, громко шлёпая по воде сапогами, шёл за собакой, а мы шли сзади по бережку.

Вдруг Джек заволновался, забегал быстрее, потом сразу как-то припал к земле и медленно-медленно стал подвигаться вперёд. Так он сделал несколько шагов и остановился. Он стоял не двигаясь, как мёртвый, весь вытянувшись в струну. Даже хвост вытянулся, и только кончик его мелко дрожал.

Михалыч поспешил к собаке, приподнял ружьё и скомандовал:

— Вперёд!

Пёс переступил шаг и опять остановился.

— Вперёд, вперёд! — ещё раз приказал Михалыч.

Джек сделал ещё шаг, другой... Вдруг впереди

него в камышах что-то зашумело, захлопало, и оттуда вылетела дикая утка.

Михалыч вскинул ружьё, выстрелил.

Утка как-то сразу подалась вперёд, перевернулась в воздухе и тяжело шлёпнулась в воду.

А Джек всё стоял на месте, будто замер.

— Подай, подай её сюда! — весело крикнул Михалыч.

Тут Джек сразу ожил. Он бросился через болото прямо в речку и поплыл за уткой.

Вот она уже совсем рядом. Джек раскрывает рот, чтобы схватить её, и вдруг всплеск воды, и утки нет! Джек удивлённо оглянулся: куда же она делась?

— Нырнула! Раненая, значит! — с досадой воскликнул Михалыч. — Забьётся теперь в камыши, и не найдёшь.

В это время утка вынырнула в нескольких шагах от Джека. Пёс быстро поплыл к ней; но, как только приблизился, утка вновь нырнула. Так повторялось несколько раз.

Мы стояли на берегу, у самой воды, и ничем не могли помочь Джеку. Стрелять ещё раз в утку Михалыч боялся, чтобы не застрелить случайно и Джека. А тот никак не мог поймать на воде увёртливую птицу. Зато он и не подпускал её к густым зарослям камышей, а отжимал всё дальше и дальше, на чистую воду.

Наконец утка вынырнула у самого носа Джека и сейчас же вновь скрылась под водой. В тот же миг и Джек тоже исчез.

Через секунду он опять показался на поверхности, держа в зубах пойманную утку, и поплыл к берегу.

Мы с Серёжей бросились ему навстречу, чтобы поскорее взять у него добычу. Но Джек сердито покосился на нас, даже заворчал и, обежав кругом, подал утку Михалычу прямо в руки.

— Молодец, молодец! — похвалил его тот, беря у него дичь. — Посмотрите, ребята, как он осторожно её принёс — ни одного пёрышка не помял!

Мы подбежали к Михалычу и стали осматривать утку. Она была живая и почти не ранена. Дробь только слегка повредила ей крыло, оттого она и не смогла дальше лететь.

— Можно, мы её домой возьмём? Пусть она у нас живёт! — попросили мы.

— Ну что ж, берите. Только несите поосторожней, чтобы она у вас не вырвалась.

Мы пошли дальше. Джек лазил по болоту, искал дичь, а Михалыч стрелял. Но нам это было уже не так интересно. Хотелось поскорее домой, чтобы устроить получше нашу пленницу. Когда мы вернулись домой, то сейчас же принялись оборудовать для неё помещение. Мы отгородили в сарае уголок, поставили туда таз с водой и посадили утку.

Первые дни она дичилась, всё сидела забившись в угол, почти ничего не ела и не купалась. Но постепенно она стала привыкать, уже не бежала и не пряталась, когда мы входили в сарай, а, наоборот, даже шла к нам навстречу и охотно ела мочёный хлеб, который мы ей приносили.

Скоро утка стала совсем ручной. Она ходила по двору вместе с домашними утками, никого не боялась и не дичилась. Только одного Джека утка сразу невзлюбила, наверное, за то, что он гонялся за ней по болоту. Когда Джек случайно проходил мимо неё, утка растопыривала перья, злобно шипела и всё старалась ущипнуть его за ногу или за хвост.

Но Джек не обращал на неё никакого внимания. После того как она поселилась в сарае и ходила по двору вместе с домашними утками, для Джека она перестала быть дичью и потеряла всякий интерес.

Вообще домашней птицей Джек совсем не интересовался. Зато на охоте искал дичь с большим увлечением.

Джек был прекрасный охотничий пёс. Он прожил у нас очень долго, до глубокой старости. Сперва с ним охотился Михалыч, а потом мы с Серёжей.

ВОТ ЧТО ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ НАС МИХАЛЫЧ

Наступили последние летние деньки. Через неделю уже первое сентября, нужно идти учиться. Я, бывало, только вспомню об этом, даже сердце от страха сожмётся. Серёжа бодрился, говорил, что ему наплевать, но я замечал, что и он здорово побаивается.

Мы целые дни пропадали в лесу и на речке. Мама на нас не сердилась: «Гуляйте уж напоследок».

Помню, однажды прибежали из леса обедать. Мама встречает какая-то хмурая, чем-то, видать, недовольна.

— А Михалыч дома? — спрашиваю.

— Дома. Вон сидит развлекается.

Вдруг из кабинета послышался звонкий щелчок, будто хлопнул пистон. Через минуту ещё щелчок.

— Серёжа, бежим посмотрим, что там Михалыч делает.

Мы направились в кабинет, а мама громко крикнула в открытую дверь:

— Осторожней, ребят не подстрели!

— А, заявились, — ответил Михалыч. — Пусть идут.

Мы вошли и прямо бросились к Михалычу:

— Ой, что это? Это нам? Оно настоящее?

Михалыч только посмеивался в ответ на все эти вопросы. Он сидел в кресле у стены и держал в руках хорошенькое одноствольное ружьецо. У другой стены стояла гладкая доска. К ней был приколот лист бумаги, и на нём виднелись чёрные точки — следы попавших туда пуль.

В комнате чудесно пахло жжёным порохом.

— Возьмите стулья, — сказал Михалыч. — Сядьте рядом со мной... Вот так. И слушайте внимательно. Это ружьё я купил вам. Его привёз вчера из Москвы один знакомый. Называется оно «монтекросто». Стреляет оно вот этими патрончиками. В них взрывчатое вещество и пульки. Такой пулькой даже человека можно поранить. Поэтому с ружьём надо быть очень осторожным. Главное — никогда не целиться в человека и вообще, когда идёшь с заряженным ружьём, всё время смотреть, нет ли кого впереди. Поняли?

— Поняли, — весело, в один голос ответили мы.

— Сперва постреляем вместе, — сказал Михалыч. — А потом я вам одним доверю. Но только вот условие: если кто из вас хоть раз допустит небрежность и я узнаю об этом, ружьё отбирается у обоих, кладётся под замок — и конец. Поняли?

— Поняли, — не так уж весело ответили мы.

— Ну, а теперь. — продолжал Михалыч, — кто хочет, может попробовать своё искусство: пострелять вот в эту цель.

— А оно не очень отдаёт в плечо? — на всякий случай осведомился я.

— Совсем ни капли не отдаёт, — ответил он. — Можно даже не прикладывая к плечу стрелять.

Серёжа презрительно взглянул на меня и спросил у Михалыча:

— Папа, можно, я первый выстрелю?

— Конечно, можно. Вот видишь, в середине листа я нарисовал карандашом кружок. Старайся попасть в него.

— Попробую, — улыбнулся Серёжа. Он уверенно взял в руки ружьё, прищурил левый глаз и прицелился.

Щёлкнул выстрел. Мы все трое поспешили к листу — посмотреть, куда попала пуля.

— Эти метки от моих пуль, — сказал Михалыч. — Их я отмечаю красным карандашом. А вот без пометки — твоя, значит. Молодчина, почти в самый центр попал!

— Ну, а теперь ты попробуй, — обратился ко мне Михалыч, подавая ружьё.

Я взял его и попробовал прицелиться. Но руки от волнения дрожали, ружьё прыгало то вверх, то вниз.

— Да ты не волнуйся, — сказал Михалыч. — Целься спокойнее, как Серёжа.

Но, чем дольше я целился, тем ружьё прыгало всё больше. Наконец я, уже не видя никакой цели, нажал спуск. Выстрел — и пулька ударилась в стену, далеко в стороне от доски.

— Эх, брат, — покачал головой Михалыч, — так не годится! Так мы всю стену изрешетим. Мамаша нам задаст на орехи.

Я молча отдал ружьё Михалычу, чувствуя, что я самый несчастный человек на свете. Не то что в цель, в доску попасть не сумел.

Михалыч с Серёжей выстрелили ещё по разу. И Серёжа попал в цель даже лучше, чем Михалыч.

— Да, у тебя рука прямо стальная и глаз меток... — хвалил его Михалыч, — Ну, а ты что же, совсем завял? — обратился он ко мне. — Пробуй ещё, а то так никогда и не научишься.

— Я лучше завтра попробую, сегодня что-то голова болит, — уклончиво отвечал я.

— Ничего, ничего. От этого голова не развалится. Ну-ка, пальни ещё разок.

Я нехотя взял ружьё, уже почти без всякого волнения: «Все равно не попаду, только стенку исковыряю». Нехотя прицелился и стрельнул.

— Вот это неплохо! — похвалил Михалыч. — Видишь. хоть не в кружок, а в лист уже попал. Ну-ка, ещё раз.

Я выстрелил ещё раз.

— Да теперь совсем хорошо, прямо рядом с Серёжиной! Ну, брат, ты живо и нас обстреляешь, а говорил, что не можешь.

От такой удачи я сразу подбодрился. Начали стрелять все трое по очереди. Серёжа с Михалычем попадали почти одинаково. У меня дела шли похуже, но тоже не так уже плохо. Хоть в центр я и не мог попасть, но и мимо доски в стенку больше не попадал.

Наша стрельба затянулась до самого позднего вечера. Наконец в кабинет вошла мама и сказала:

— Вы что же, всю ночь намереваетесь палить? Фу, какой воздух, всю комнату порохом протушили! Будет, будет!

— Ещё по одному разочку, только по одному! — взмолились мы.

— Ну, по одному, и хватит, — согласилась мама.

Она сама присутствовала при этой заключительной стрельбе, и я при ней первый раз тоже попал в кружок.

— Молодцы, молодцы! — похвалила мама. — Идите ужинать, а то всё простынет.

ПЕРВАЯ ДИЧЬ

Только три дня осталось до первого сентября — до этого страшного дня, с наступлением которого я считал, что моей привольной жизни придёт конец. И это было особенно обидно именно теперь, когда мы нашли самое чудесное занятие, какое только бывает на свете, — стрельбу из ружья. Ещё денёк мы постреляли в кабинете Михалыча в цель, а потом все трое решили пойти на настоящую охоту.

— Только вот что, ребятки, — сказал перед выходом Михалыч, — зря, без цели убивать никого не нужно. Это бессмысленная жестокость, а не охота. Но я уже заранее всё обдумал и вместе с ружьём просил привезти мне из Москвы вот эту книжицу.

И Михалыч взял со стола какую-то тонкую книжку в сером бумажном переплёте.

— Это руководство к набивке чучел зверей и птиц, — пояснил Михалыч. — Оно-то нам теперь как раз и потребуется. Мы будем стрелять птиц и сами же делать из них чучела. Вот у нас и будет тогда две коллекции: одна — насекомых, а другая — птиц.

Предложение Михалыча мы приняли с горячим одобрением. Теперь у нас была ясная цель, для чего мы будем стараться застрелить какую-нибудь птицу.

— Пойдёмте за город, — сказал Михалыч. — Там скорее всего и галок и ворон разыщем, а может, и ещё какую дичину подстрелим.

Мы пошли.

Вот и брёвнышки, на которых мы с Михалычем отдыхали однажды ранней весной, когда ещё только начинал таять снег. Теперь всё кругом было совсем другим: серая, завядшая трава, а на деревьях — жёлтые поредевшие листья.

Выглянуло из-за низких облаков солнце, и всё кругом сразу повеселело. Особенно хороши и прозрачны сделались дали. Отчётливей вырисовались на горизонте лесочки, деревни и жёлтые пятна убранных хлебных полей.

Михалыч сел на брёвнышко, снял шляпу, подставляя голову ласковым, нежарким лучам осеннего солнца, и закурил.

— Хорошо, друзья мои! — сказал он. — Очень хорошо! А помните, как вот про такой же денёк в стихах у Тютчева говорится:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Как это тонко подмечено: «Весь день стоит как бы хрустальный...» Ведь действительно: будто через голубое хрустальное стекло вдаль глядишь. Посмотрите внимательно: воздух так и переливается, так и сверкает.

Всё это было верно, и действительно воздух вдали как будто блестел и струился. Было очень красиво. Но мы не слишком всматривались в окружающую нас красоту осеннего дня. Нам хотелось поскорее заполучить ружьё, которое Михалыч в задумчивости положил себе на колени, и начать подкрадываться к галкам и воронам.

Несколько этих птиц спокойно, не чуя беды, сидели на берёзах, другие неторопливо бродили тут же по земле, что-то разглядывая и склёвывая.

— Михалыч, ну как насчёт охоты? — нерешительно намекнул я.

— Ох, братцы! Я про ружьё и забыл,— всполошился Михалыч. — Уж больно здесь хорошо солнышко пригревает. — Он зарядил ружьё и спросил: — Ну-с, кто первый?

Решили тянуть жребий. Он достался мне.

С замиранием сердца я в первый раз в жизни шагнул по дорожке, держа в руках ружьё. «Ах, если бы меня сейчас увидела Катя, что бы она сказала?» Но это была только случайная, мимолётная мысль. Всё внимание было сосредоточено на двух галках, которые спокойно сидели на верхушке берёзы.

Я подошёл под самое дерево, прицелился как можно лучше и выстрелил.

Галки даже не пошевелились. В чём же дело? Отдал ружьё Серёже. Теперь его очередь стрелять. Серёжа вложил новый патрончик и тоже прицелился в тех же самых галок. Выстрел — и птицы опять на месте.

Пошли за разъяснением к Михалычу.

— Они слишком высоко сидят, — ответил тот. — Пульки до них не долетают. Вот они и не боятся.

Пришлось искать дичину поближе.

Я попробовал подкрасться к вороне, которая расхаживала невдалеке по скошенному жнивью, но ничего не вышло. Ворона и на сто шагов к себе не подпустила, снялась и улетела.

Дело осложнялось. Оказывается, подкараулить и убить даже такую птицу, как галка или ворона, совсем не пустяк.

В тщетных поисках дичи мы с Серёжей проходили почти до обеда. Михалыч всё это время сидел на брёвнышках, курил или прогуливался неподалёку.

Наконец счастье как будто улыбнулось: одна из галок слетела с берёзки на дорожку и стала там что-то раскапывать. Это был удобный момент. Серёжа, держа ружьё наготове, подкрался к галке шагов на двадцать. Присел на одно колено и стал целиться.

— Да что же он не стреляет? — волновался я. — Сейчас ведь улетит.



Наконец раздался желанный выстрел. Галка как-то неловко подскочила, потом ткнулась носом в землю и затрепыхала крыльями.

Когда мы к ней подбежали, она была уже мёртвая.

— Отлично! — похвалил Михалыч. — Поздравляю с первой дичиной! — И он протянул Серёже руку.

— Да я, собственно, уже летом грача убил, — ответил тот, однако с явным удовольствием пожал Михалычу руку.

— Ну, Юра, теперь дело за тобой, — сказал мне Михалыч.

Мы с Серёжей опять начали выслеживать дичь, но ничего больше подстрелить не смогли.

— А всё-таки одна птица есть! — весело сказал Михалыч, когда мы, расстреляв все взятые с собой патрончики, возвращались домой. — Сейчас придём, пообедаем и прямо за работу: шкурку с галки снимать и набивать чучело.

МАСТЕРСКАЯ ПРИНИМАЕТСЯ ЗА РАБОТУ

— Ну, наша мастерская сейчас принимается за работу, — объявил Михалыч, отправляясь после обеда в кабинет.

Мы освободили место на письменном столе, постелили газетную бумагу, чтобы не испачкать стол кровью, а на газету положили галку вверх брюшком.

Михалыч надел очки, взял в руки скальпель, пинцет и приступил к делу.

Он сделал продольный разрез сверху вниз посреди грудки птицы, потом аккуратно подцепил пинцетом тоненькую кожицу и стал её осторожно отделять от туловища.

Я хорошо знал, что кожа есть у диких зверей и у домашних животных тоже есть. Снаружи она покрыта шерстью. Из неё делают меховые шубы, шапки, воротники.

Но какая же кожа у птиц? У них ведь перья. Они растут прямо на теле. Но на самом деле оказалось иначе. Оказывается, и у галки тоже имеется кожа, и её можно снять вместе с перьями с самого тела птицы, так же как можно снять шкурку с убитого зайца, только у птицы это сделать куда труднее. Кожица у неё тоненькая и прозрачная, как папиросная бумага, — чуть потянул сильнее, сразу лопнет, и из дыры полезут перья, пух.

Как Михалыч ни старался осторожно снимать шкурку с галки, всё-таки в двух местах немножко кожу порвал. Впрочем, он этим не огорчился, сказал, что дело поправимо: возьмём иголку, нитку и мигом зашьём.

Особенно трудно было снимать шкурку с ног, крыльев и с головы. Собственно, в этих местах Михалыч только отскоблил пинцетом всё мясо, а кости оставил при шкурке, отрезая их в суставах. И череп оставил, аккуратно вынув из него весь мозг. Глаза тоже вынул.

— Вот первая операция — снятие шкурки — закончена, — сказал он. — Сейчас покурим и приступим к другой, самой интересной, — к набивке чучела.

Снятую с птицы кожицу Михалыч смазал кисточкой, опустив её в какой-то состав.

— Это для того, чтобы наше чучело потом не съела моль, — пояснил он. — А теперь можно вывернуть шкурку, так сказать, налицо.

Михалыч ловко просунул в разрез на груди сперва головку, потом крылья, ноги и хвост. Раз, два — и вот уже шкурка вывернута, как полагается, перьями наружу.

Радостным криком «ура» мы с Серёжей приветствовали этот ловкий трюк. Перед нами вместо окровавленной тушки и содранной с неё желтоватой кожицы снова была галка, настоящая галка в перьях, пуху, с настоящей головой, крыльями, лапками и хвостом. Только она была без мяса и без костей. Одна пустая шкурка. Теперь Михалыч вложит в неё тело из пакли, а вместо костей — проволочки. Вот и получится уже совсем настоящая галка.

К этому удивительному делу Михалыч тут же и приступил. Из проволочки он сделал нечто вроде скелета, накрутил на проволочный скелет паклю, получилось туловище, такое же, как настоящее. Потом Михалыч хорошенько обмотал и связал его нитками и наконец стал очень осторожно натягивать на туловище шкурку с перьями.

Мы даже дышать боялись — ну-ка шкурка не натянется, лопнет, вот и конец всему. Но она не лопалась, а растягивалась всё больше и больше, будто резиновая, а перья на ней становились всё реже и реже, и между ними всюду просвечивала белая кожа. Особенно длинной и голой вышла почему-то шея.

Туловище тоже оказалось велико, так что шкурку на него еле-еле натянули. На огромном с редкими перьями теле как-то ненужно и сиротливо повисли два чёрных крыла.

— Ничего, ничего, засохнет, сожмётся кожа, и всё на своё место сядет, — подбадривал себя и нас Михалыч. — Вот теперь только остаётся проволочку пропустить через ноги и закрепить на дощечке.

Наконец набивка чучела была закончена, и мы отошли в сторонку, чтобы взглянуть издали на плоды своих трудов.

Пришла посмотреть и мама.

— Батюшки мои! — не выдержала она, взглянув на страшное, почти голое существо с предлинной шеей, красовавшееся посреди стола на подставке. — Да это же не галка, а настоящий страус! Почему шея такая длинная и почему он весь такой странный, облезлый?

— Да, шейка малость того — длинновата получилась! — сокрушённо вздохнул Михалыч. — Оно и туловище, пожалуй, тоже велико. Вот на такую фигуру перьев и не хватило.

— А ты прилепи другие, где не хватает,— посоветовала мама.— У нас в кухне целый мешок куриных перьев. Там всякие есть — и серые и чёрные.

— Оставь, пожалуйста, свои советы,— возмутился Михалыч.— Ну, где ты видела, чтобы на галке куриные перья росли? Это только в сказке ворона в павлиньи перья рядится.

— А где ты галку с гусиной шеей видел? — не сдавалась мама. — Да ещё почти голую всю. Такое чудище и в сказке нигде не найдёшь.

Во время этого разговора в кабинет вошла тётка Дарья.

— Ужинать идите, а то всё осты... — Она не договорила и с испугом взглянула на стол. — Господи Иисусе, — прошептала она, крестясь, — ай, померещилось...

— Что тебе ещё померещилось? — сердито сказал Михалыч, — Что ты, галок, что ли, никогда не видала?

— Седьмой десяток на свете живу, — робко отвечала тётка Дарья, — а такого чудища ещё не видывала.

— Много ты понимаешь! — рассердился Михалыч. — Ну, ужинать так ужинать! — И он, встав с кресла, направился в столовую.

Диковинную помесь галки со страусом мы поставили на шкаф для просушки, поставили в тайной надежде, что кожа, подсохнув, съёжится и наше чучело примет более галчиный вид.

Но, увы, сколько оно ни сохло, ничего не изменялось, и со шкафа на нас по-прежнему кокетливо поглядывало что-то очень странное, длинношеее, похожее на какое-то допотопное существо.

Больше Михалыч ни разу не пытался украсить свой кабинет коллекцией различных птиц, и первый опыт набивки чучела, увы, оказался также и последним.

ПРОЩАЙ, БЕСПЕЧНАЯ ЖИЗНЬ!

Этот день останется в моей памяти на всю жизнь. Рано утром мама собрала меня в школу: дала мне завтрак, книгу для чтения, арифметику, три тетрадки и совсем новенький пенал. Книжки и тетрадки вместе с пеналом я связал ремешками, завтрак положил в мешочек и, замирая от страха, поплёлся вслед за Серёжей в своё первое путешествие к истокам всякой премудрости — короче говоря, в школу бабки Лизихи.

Какое встретило нас чудесное утро! Светило солнце. На дороге падали жёлтые листья берёз. Они желтели повсюду: в дорожной колее, на пешеходной тропинке, протоптанной сбоку улицы вдоль дощатых заборов. Они, как золотые монетки, были рассыпаны на лавочках возле калиток и на деревянных, давно подгнивших крылечках домов.

Жёлтые листья — на ветках деревьев, на земле и в воздухе. Казалось, весь городок был засыпан этими золотыми дарами осени.

А какие чудесные румяные яблоки выглядывали всюду из-за заборов! Как они пахли! Так может пахнуть только ранней осенью, только ранним утром, только в далёкой деревне, где нет ни фабрик, ни заводов, ни даже железной дороги, где воздух чист и прозрачен, как ключевая вода горного родника.

Как хорошо в такое осеннее утро побежать в сад, или в лес, или сбегать на речку и как ужасно идти в большой неприветливый, незнакомый дом, где живёт сердитая бабка Лизиха, идти и знать, что твоей мальчишеской свободе с этого дня пришёл конец.

Может быть, именно оттого и казались как-то особенно дороги и милы эти жёлтые берёзовые листочки, и яблоки за забором, и неяркий жиденький свет осеннего солнца.

Путь от дома до школы был очень недолгим.

Вот мы уже в полутёмной передней.

— Раздевайся скорее, вешай куртку куда-нибудь. Ну, хоть сюда, на гвоздь... — почему-то шёпотом быстро сказал мне Серёжа. — Пошли!

Мы вошли в просторную, светлую комнату, очевидно столовую. Посредине — большущий обеденный стол, покрыт поверх скатерти чёрной клеёнкой. У стен ещё несколько столиков под такой же клеёнкой. И всюду, и за большим и за маленькими столами, ребята. Тут и мальчики, и девочки, и маленькие, и совсем уже взрослые. Все сидят, уткнувшись в какие-то книжки, и во весь голос зубрят каждый своё.

От этого невообразимого гвалта у меня закружилась голова и сделалось так страшно, что я тут же хотел убежать. Хотел и не мог. Какой-то столбняк напал.

Серёжа, оставив меня, быстро прошёл к столу, сел на свободный стул, в один миг раскрыл какую-то из своих книжек и тоже во весь голос начал что-то читать.

А я всё стоял у дверей, онемевший, вконец растерянный, и с ужасом оглядывался по сторонам.

— Ты что там, как столб, стоишь? Иди сюда! — раздался вдруг зычный старческий голос.

Только тут я увидел среди всей этой массы людей саму Лизиху. Она сидела в конце большого стола, седая, толстая, небрежно одетая в какую-то кофту и укутанная в тёплый серый платок.

Раньше я видел её несколько раз издали на улице. Она бывала всегда одета в чёрное пальто до пят и в чёрную шляпу наподобие глубокого колпака.

Издали бабка Лизиха походила на какое-то мрачное привидение. Но вблизи, в домашней обстановке она оказалась не только страшной, но просто отвратительной. Мне сразу вспомнилась картинка из Брема: огромная, уродливая горилла. Вот на кого Лизиха была очень похожа.

Еле передвигая от ужаса ноги, я подошёл к моей будущей наставнице.

— А-а, Юра, Серёжин брат! — сказала она, приветливо улыбаясь, как удав, готовящийся проглотить добычу. — Ну что ж, хочешь учиться?

— Хочу, — робко промолвил я.

— Умник! Будешь хорошо учиться, слушаться — мы с тобой сразу подружимся. Сядь сюда рядом со мной, открой свою книжечку и прочитай что-нибудь, а я послушаю.

Я открыл наугад и начал читать по складам нараспев, как меня дома учила мама.

В общем невероятном гаме я сам почти не слышал своего голоса. Но Лизиха, очевидно, хорошо расслышала.

— А ты не пой, как нищий на паперти, — с ласковым ехидством сказала она. — Ты ведь в школе, а не милостыньку просишь. Правда?

От этих слов у меня все буквы запрыгали перед глазами. Я вспомнил рассказы Серёжи. «Сейчас драть начнёт!» — мелькнула ужасная мысль, и я совсем замолчал.

— Ну, что же ты? Продолжай... Да что на тебя столбняк, что ли, нашёл?

«Сейчас за уши схватит!» Я хотел продолжать чтение, но не мог — голос не слушался.

— Ну, отдохни, устал с непривычки. Небось книгу-то раз в год берёшь, всё собак гоняешь по улицам.

Я молчал, ожидая чего-то ужасного.

Но Елизавета Александровна отвернулась от меня в другую сторону и, кажется, забыла о моём существовании.

— Колька, ты что там в носу ковыряешь! — неожиданно на всю комнату закричала она. — Что, на руке пальцев мало? Разуйся, если не хватает.

Все ребята, сидевшие в комнате, захохотали.

— Я и не ковырял, — отозвался с другого конца худощавый черноволосый парнишка с задорным вихром на затылке.

— Поговори у меня ещё! — грозно сказала Елизавета Александровна и погрозила линейкой.

— Ну, а ты оживел? — вновь обратилась она ко мне.

Я кивнул головой.

— погоди, я тебе покажу, как надо читать... Митенька, подойди сюда, прочитай что-нибудь.

Из-за стола встал худенький сероглазый мальчик, похожий на ангелочка, только без крыльев. Он быстро, совсем не боясь, подошёл к Елизавете Александровне.

— Что мне читать? — тихим, вкрадчивым голоском спросил он.

— Ну, вот это. — И Елизавета Александровна, взяв у меня книгу, подала ему.

Митя начал читать, правда, не очень бойко, но зато как-то умильно выговаривая каждое слово.

Елизавета Александровна слушала, от удовольствия даже слегка прикрыв глаза.

— Довольно, спасибо тебе, — сказала она наконец, забирая обратно книгу. — Умница моя! Иди, учи слова. Ты много уже выучил?

— Я всё, что вы задали, выучил, — ответил Митя, смущённо опуская глаза. — Можно, я ещё немножко, до конца столбика, выучу?

— Конечно, можно, — так и расплылась в улыбке Елизавета Александровна. — Учи, родной мой. Спасибо тебе, моё утешение! — И она ласково погладила Митю по голове.

Он пошёл по комнате какой-то особенно лёгкой, танцующей походкой. Казалось, вот-вот взлетит над полом. Но он так и не взлетел, а подойдя к своему месту, аккуратно сел на стул и начал громко учить французские слова, так громко, что его серебряный голосок выделялся из всех других.

— Слышал, как надо читать? — не без гордости сказала мне Елизавета Александровна. — Ну, да не горюй, и ты научишься.— И, не обращаясь ни к кому, добавила: — Беда, коли родители сами берутся учить детей, только дело портят.

Я невольно вспомнил, как весело учила меня мама читать. Как потом сама мне читала Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и как мы с ней вместе до слёз хохотали над глупым Головой, над проказами кузнеца Вакулы. Что же тут было плохого? Мне стало очень обидно, но я, конечно, ничего не сказал.

Для первого раза Елизавета Александровна отпустила меня гораздо раньше других.

С какой радостью я собрал свои книжки, тетрадки и выбежал наконец на улицу!

Вот когда я как следует оценил и солнце, и воздух, и деревья. Точно из тюрьмы на белый свет вырвался. От радости не чуя под собой ног, я во весь дух пустился домой.

ЭТО ТОЛЬКО ЦВЕТОЧКИ, А ЯГОДКИ ВПЕРЕДИ

— Как Лизиха на Кольку-то заорала, чтобы он в носу не ковырял! — сказал я Серёже, когда он вернулся из школы.

— «Заорала»! — насмешливо передразнил Серёжа. — Ты только цветочки сегодня видел. Вот погоди, начнёт драть линейкой, тогда уж на ягодки поглядишь!

— А она часто дерёт?

— Да, почитай, каждый день. Это сегодня на неё почему-то добрый стих напал.

— И тебя тоже дерёт?

— А я что же, святой, что ли?

— Так почему же ты дома ни маме, ни Михалычу не скажешь? Они бы ни за что ей не разрешили.

— Э-э-э, брат! — махнул рукой Серёжа. — Вот отлупит она тебя, и не вздумай домой бежать жаловаться, ничего не поможет.

— Почему не поможет, нас ведь дома никогда не бьют?

— То дома, а то у неё. Ну, придёт папа или мама твоя. Лизиха сейчас такой ласковой, такой святой прикинется. Скажет: «Что вы, что вы, да ведь это я так, легонечко, шутя... Разве я могу моих малышей больно ударить? Зря они на старую бабушку жалуются. Только вас и меня понапрасну расстраивают». Ну, и разведёт турусы на колёсах, да всё таким медовым голоском. Конечно, ей и поверят, а не нам с тобой. Скажут: ленишься, учиться не хочешь, а на неё сваливаешь. Тебе же ещё и достанется. А уж к ней потом хоть на глаза не кажись. Нет, уж лучше стерпеть разок-другой, чем она потом поедом есть будет.

Я почувствовал, что Серёжа прав, что мы с ним попали в лапы отвратительной, злющей бабы-яги. Спасения нет, нужно смириться и терпеть.

— Серёжа, а кто этот Митенька, который показывал мне, как нужно читать, которого Лизиха так хвалила?

— Гадина, вот кто! — ответил Серёжа. — Подлиза, ябеда, Лизихин любимчик! Уж она с ним носится, не знает, как его и приласкать!

— Что ж, он так хорошо учится?

— Да совсем не хорошо, выставляется только. — И Серёжа, скорчив умильную рожицу, сложив губки трубочкой, заговорил, как Митенька: — «Елизавета Александровна, а можно, я ещё один стишок выучу?» Поганец! — И Серёжа с досады даже плюнул в сторону. — И ведь не выучит ничего, напишет на шпаргалку стихи, стоит за её спиной, по шпаргалке и дует.

— А если она заметит?

Серёжа хитро подмигнул:

— Нет, брат, когда Митенька отвечает, она и не обернётся, чтобы его не смущать. Ему вера полная. Ему всё можно.

— А Кольке часто достаётся?

— Ещё как! Этот парень лихой. Он в прошлом году Лизихе в чай соли подсыпал. Она как хлебнёт, как рожу скорчит! Мы со смеху чуть не лопнули.

— Узнала, кто сыпал? — со страхом спросил я.

— Нет, не узнала. Всех ребят передрала, никто не выдал.

Я с облегчением вздохнул.

— Колька — славный малый, — сказал Серёжа.

На следующий день Елизавета Александровна проверила мои знания по арифметике, по письму и всем осталась очень недовольна.

— Такой здоровый малый, женить пора, а он таблицы умножения не знает! Учи, болван! — И она швырнула мне арифметику, которую я не поймал.

Книга упала на пол. Я поднял, сел на стул и принялся зубрить.

В этот же день я имел возможность увидеть, что бывает с тем, кто недостаточно хорошо усвоил заданный урок.

После перемены, во время которой мы съели завтрак, Елизавета Александровна опять уселась на своё место в конце стола, оглядела всех сидящих перед ней, как бы выбирая, с кого начать, и вдруг резко сказала:

— Николай, иди отвечать!

— Я, Елизавета Александровна, ещё не совсем готов,— отозвался Коля, вскакивая со стула.

— Не совсем готов? — тихо и как-то зловеще переспросила Лизиха. — Ну что ж, иди, а я посмотрю, над чем ты полдня просидел.

Коля одёрнул курточку, взял книжку и подошёл к Елизавете Александровне.

— Дай сюда свою грамматику!.. Отвечай коренные слова с самого начала.

— Бег, бегун, беда, — бойко начал Коля, будто читая стихи, — бедняжка, бес, бешеный, ведать... ведать... ведать...

— Ну «ведать», а дальше? — грозно спросила Лизиха.

Коля потупился, молчал.

— Не знаешь? Опять не знаешь!

— Я не помню, вот знал и забыл...

— «Забыл»! — передразнила Лизиха. — А как по улицам собак гонять, не забыл, не забыл... — И она со всего размаха ударила Колю по спине линейкой. — Вот тебе, чтобы не забывал! Стой столбом вот здесь, зубри, негодяй!

Коля засопел носом, из глаз закапали слёзы. И он, всхлипывая, принялся, стоя возле Лизихи, учить какие-то непонятные мне коренные слова.

За первой экзекуцией последовала вторая, третья. И всё из-за этих страшных коренных слов. Вокруг Елизаветы Александровны образовался целый кружок стоящих «столбами» и ревущих ребят. Подзатыльники и звонкие щелчки линейкой слышались всё чаще и чаще. Доставалось не только одним малышам.

— Ольга, иди отвечай! — крикнула Елизавета Александровна.

Из-за стола встала совсем взрослая девушка, с причёской, а не с косами. Я принял её сначала за помощницу Елизаветы Александровны.

— Ну, дурёха, вызубрила? Отвечай наречья!

— Возле, ныне, подле, после, вчуже, въяве... — начала взрослая девица сначала громко, потом всё тише и тише.

— Не умирай, не умирай, пожалуйста, а то за попом пошлю.

— Дальше не помню, — безнадёжно призналась отвечавшая.

— Не помнишь, забыла? А с кавалерами гулять не забыла? Становись столбом!

И взрослая девушка покорно стала в кружок с малышами, горько всхлипывая и повторяя невыученный урок.

— Не реви! — приказала ей Елизавета Александровна. — Хочешь в институт поступить — учишься, а не хочешь — зря время не проводи, выходи поскорее замуж!

Девушка не выдержала и, закрыв лицо книгой, заплакала ещё громче.

— У-у-у, распустила нюни, а туда же в институт собралась! Нужны там такие. Очень нужны!..

И Елизавета Александровна с презрением отвернулась от плачущей девушки.

А я смотрел на неё во все глаза и думал: «Зачем она позволяет над собой так издеваться? Ну мы маленькие, над нами можно, а она ведь взрослая, взяла бы и ушла».

— Ты что глаза выпучил? — вдруг услышал я грозный окрик Лизихи.

Я обернулся. Лизиха глядела мне прямо в лицо.

— Чего зеваешь? Понравилась очень? Будешь зевать — сам таким же дураком вырастешь!

— Елизавета Александровна! Я коренные слова все выучил, можно ответить вам? — прозвенел вдруг серебряный голосок Митеньки.

— Отвечай, отвечай, родной! — сразу добрея, заговорила она. — Вот моя единственная радость, утешение моё!

Митенька начал отвечать не очень бойко. Он частенько запинался. Но бабка Лизиха сейчас же, как бы невзначай, подсказывала забытое слово, и он отвечал дальше.

— Умница, молодец! — наконец сказала она и, обернувшись к стоящим вокруг неё «столбам», прибавила: — Вот с кого пример берите. Моложе вас всех, а как старается. — И, снова обращаясь к Митеньке, ласково заговорила: — Пойди, родной, отдохни немножко.

— Я, Елизавета Александровна, совсем не устал, я лучше арифметику повторю, — отвечал тот.

— Ну, повтори, повтори, если хочешь.

И занятия пошли своим чередом.

ДАЖЕ МАМА НЕ ПОНИМАЕТ

Прошёл уже целый месяц, а я всё никак не мог освоиться в новой для меня обстановке, такой непривычной, грубой и совсем непохожей на нашу домашнюю.

Из новичков у бабки Лизихи я оказался не один. Совсем недавно в обучение к ней поступила ещё новая ученица — Клава Поспелова. По годам она была мне ровесница и, так же как и я, только начинала постигать всю премудрость науки. Клава мне сразу понравилась. Она была стройная, белокурая, с немного вьющимися волосами.

Но не только её миловидная внешность привлекала меня к ней. Клава, как я сразу увидел, обладала именно теми качествами, которых мне как раз и не доставало. Она была очень аккуратная, вся какая-то подобранная, подтянутая. Всё, за что она бралась, она делала быстро и хорошо. Глядя на неё, я, например, никак не мог понять, как она может написать целую страницу в тетрадке и не посадить при этом ни одной кляксы. А вот ко мне в тетрадь эти злосчастные кляксы так сами и прыгали. И пальцы у Клавы, когда она писала, всегда были чистые, как будто чернила к ним вовсе не прикасались.

— Ты посмотри, как аккуратно у Клавы написано и какую ты грязь в тетрадке развёл! — кричала бабка Лизиха, тыча мне в нос мою невообразимую мазню.

Что я мог на это ответить?

Я понимал, что я грязнуля, что я ротозей, размазня, недотёпа, что я, по словам бабки Лизихи, сущее чудовище. Всё это я очень хорошо понимал, не мог понять только одного: как мне избавиться от всех этих страшных пороков?

Об этом моя суровая наставница ничего не говорила. Она только возмущалась моими пороками, кричала, что я просто издеваюсь над нею и совсем не хочу учиться. Может быть, кое в чём она была и права. Такое учение мне действительно сразу же опостылело.

Небольшим утешением для меня могло служить разве только то, что ведь и на Клаву, несмотря на её старание, на её аккуратность, бабка Лизиха тоже частенько покрикивала.

Да, кроме Митеньки, на кого она только не кричала, кого не называла лодырем, оболтусом, шалопаем!.. Кому не сулила в будущем самую страшную участь — пойти по миру, издохнуть под забором, стать негодяем и подлецом.

— Сонька, ты что глазищи по сторонам тарацишь?! — кричит она на худенькую черноглазую девочку.

Та испуганно вскакивает, не понимая, в чём она провинилась.

— Не выучишь заповеди, домой не пущу, хоть издохни здесь... А ты, олух царя небесного, долго ещё будешь над примером сидеть? Иди сюда, негодяй, покажи, что сделал.

Из-за стола встаёт крепкий, коренастый мальчик — Юра Белокуров. Он учится хорошо, гораздо лучше других. Беда только в том, что до поступления в школу Лизихи Юру учила дома его мать-учительница. Она-то его так хорошо и подготовила. Но бабка Лизиха этого не признаёт. Ей хочется показать, что по-

настоящему может учить детей только она, а другие берутся не за своё дело и потом ей же приходится всех переучивать заново.

— Ну как ты решаешь? Кто тебя этому научил? — орёт она, вырывая из Юриных рук тетрадку. — Вот, вот тебе! — Она рвёт пополам тетрадь и швыряет в угол. — Бери другую, становись сюда, решай сначала!

Мальчик достаёт новую тетрадь и становится около кресла бабки Лизихи. Стоит потупившись, ждёт.

— Ты что морду надул?! — набрасывается на него бабка Лизиха. — Не хочешь учиться — иди к мамаше, она тебя всему научит! Нечего ко мне лезть, коли сами учёные, сами всё знаете!

Бабка Лизиха гневно отворачивается от Юры. Её маленькие злые глазки беспокойно бегают по комнате, пытаясь найти новую жертву.

Больше всего меня угнетало то, что в школе у бабки Лизихи всегда было страшно: страшно, что она начнёт на кого-нибудь кричать, кого-нибудь начнёт бить линейкой или драть за волосы, за уши. Учиться было страшно и совсем неинтересно. С мамой мы, бывало, читали рассказы Гоголя, сказки Пушкина, или мама сама рассказывала что-нибудь интересное. Бабка Лизиха никогда ничего нам не читала, не рассказывала. Она заставляла только учить, и учить всё наизусть. А чтобы знать, что каждый из нас действительно зубрит урок, а не «ловит галок», не «бьёт баклуши», она требовала, чтобы каждый учил не потихоньку, а громко, во весь голос.

От этого в школе весь день стоял ужасный крик, и я первое время никак не мог к нему привыкнуть.

Ещё, пожалуй, тяжелей было то, что всегда такая добрая, такая ласковая мама и хороший, добрый Михалыч не могли понять, как нам с Серёжей трудно учиться у Елизаветы Александровны.

Слушая мои рассказы о школе, Михалыч только, бывало, посмеивался, приговаривая:

— Попался бычок на верёвочку. Правильно, так вас и надо драть, как Сидорову козу. Вы ведь лентяи, ничего не хотите делать, только балбесничаете.

А мама, слушая меня, грустно кивала головой и, вздыхая, говорила:

— Дети, дети! Ничего вы не понимаете. Говорите: кричит, ругается, иной раз даже сгоряча линейкой шлёпнет. А то, что она вам все свои знания, всю душу свою отдаёт, этого вы не цените? Подумайте сами: она ведь богатая. Они с мужем самые богатые купцы в нашем городе. Не из-за денег же она с вами возится. Это замечательный, прямо святой человек. Вам этого сейчас не понять. Вот вырастете, тогда поймёте, тогда оцените.

Что же я мог ответить на это? Оставалось только молчать.

Иногда Елизавета Александровна сама приглашала маму зайти на уроки. При маме она, конечно, никого не колотила и даже не ставила «столбом».

Самое большое впечатление на маму производило то, что мы все орали свои уроки один громче другого.

— Елизавета Александровна, милочка моя, — обычно говорила мама, просидев у нас десять — пятнадцать минут, — вы просто святая! Как вы только можете выдержать: целый день сидеть среди такого шума? У меня уже сейчас голова разболелась.

— Что же, приходится, и терплю, — с покорной улыбкой отвечала ей бабка Лизиха. — Терплю, потому что люблю вот их. Они этого не ценят, не понимают, только и говорят, что я злющая, что я придираюсь...

— Вырастут — поймут, — с искренним сочувствием отвечала ей мама. — Поймут и оценят.

И мама, расцеловавшись с нашей «кроткой» наставницей, успокоенная, уходила домой. А Лизиха, проведив гостью, входила в свою обычную роль.

Так мы учились каждый день с девяти утра до двух часов дня. Потом нас отпускали пообедать и отдохнуть до пяти. А ровно в пять мы снова приходили в школу готовить уроки. Дома готовить их Елизавета Александровна не разрешала.

Подготовка уроков продолжалась два-три часа, а иной раз и дольше. Единственным нашим спасителем частенько оказывался муж Елизаветы Александровны — Иван Андреевич. В семь часов он закрывал свой магазин и приходил домой. Приходил, конечно, очень усталый, а тут его встречал такой шум и гам, от которого у непривычного человека сразу кругом шла голова.

— Елизавета Александровна, не пора ли вам заканчивать ваши занятия? — сурово спрашивал он.

— Сейчас, Иван Андреевич, сейчас. Мы уже кончаем, — отвечала Лизиха и поскорее отпускала нас по домам.

Но иногда, чаще всего в субботу или под праздник, Иван Андреевич прямо из магазина шёл не домой, а в церковь, и тогда подготовка наших уроков затягивалась очень надолго.

Итак, в бесконечной, безрадостной зубрёжке, в постоянном страхе получить ни за что нагоняй от Лизихи и в единственном желании поскорее отделаться от зубрёжки и хоть на часок прийти домой — так день за днём проходила вся неделя.

ЗА ДРОЗДАМИ

И вот наконец неделя кончается, наступает желанное воскресенье!

Собственно говоря, счастье заслуженного отдыха начиналось ещё в субботу, когда, отделившись от уроков, мы приходили домой.

Как я полюбил эти тихие предпраздничные вечера. За окном лиловые осенние сумерки. Ветер слегка шумит в саду опавшей листвой, словно ведёт с кем-то спокойный, неторопливый разговор.

И, слушая его, с радостью вспоминаешь, что впереди ещё целый воскресный день, день отдыха. Уже с вечера мы с Серёжей начинали обдумывать, как провести следующий день. Хотя особенно обдумывать было и нечего. Конечно, мы пойдём на охоту с монтекристо. Но всё-таки было приятно заранее поговорить об этом и наметить точный план, куда идти. Чаще всего местом наших воскресных охот бывал огромный, давно заброшенный сад на самом краю городка. Одним концом он выходил в открытое поле и отделялся от него неглубоким оврагом, сплошь заросшим орешником, черёмухой и прочими кустами. Другим концом он спускался по косогору к реке.

В старом саду, помимо совершенно одичавших яблонь и груш, росло много рябины. Была даже целая аллея из этих деревьев. Именно рябина и привлекала нас в этот чудесный, заброшенный всеми уголок. Осенью на неё слеталось несметное множество дроздов. Они целыми стаями с громкой трескотнёй носились над садом и перелетали с одной рябины на другую, общипывая ярко-красные ягоды.

Убить дрозда в нашем ребячьем представлении было пределом охотничьего счастья и торжества. Но это и действительно дело нелёгкое. Для того чтобы подстрелить из монтекристо птицу, к ней надо подойти довольно близко: шагов на десять — пятнадцать. А попробуй-ка подберись на такое расстояние к дрозду. Ведь это птица очень осторожная — чуть заметит, что к ней человек приближается, сейчас же затрещит, и поминай как звали.

Потому-то мы с Серёжей так и мечтали о такой трудной, но замечательно интересной охоте. Дрозды прельщали нас, конечно, и тем, что эта птица даже у взрослых охотников считалась вкусной дичью, и даже сам Михалыч нередко с охоты привозил застреленных им дроздов. Их жарили в сметане, и все ели с большим аппетитом.

Правда, ни мне, ни Серёже пока ещё ни разу не удалось застрелить дрозда, но мы всё-таки не теряли надежды.

Помню одно замечательное для меня, как начинающего охотника, воскресное утро в самом конце сентября. Осень стояла погожая, солнечная — настоящая золотая осень. В это утро мы с Серёжей встали пораньше, напились чаю и, взяв ружьецо, отправились в сад над речкой. Как там было хорошо! Даже Серёжа, не очень любивший, как он частенько насмешливо говорил, «созерцать красоты природы», а предпочитавший всегда действовать — ловить рыбу или стрелять из ружья, и тот невольно задержался на опушке сада и сказал:

— Вот здорово!

Действительно, трудно было придумать что-нибудь лучше этой картины.

Сквозь поредевшую листву старых яблонь внизу под нами синела река. А за рекой далеко-далеко виднелись скошенные, опустевшие луга с потемневшими от дождей стогами сена, жёлтые перелески. И над всем этим осенним простором в прохладном прозрачном небе плыли одинокие облака.

Мы стояли и любовались заречными далями. Вдруг громкая трескотня дроздов сразу вывела нас из этого созерцательного настроения.

— Потянем жребий, кому первому стрелять, — сказал Серёжа, поднимая с земли увядший листок.

Он сунул обе руки за спину, затем протянул ко мне крепко сжатые кулаки:

— В какой руке?

— В левой.

Серёжа разжал оба кулака. Листок оказался в правом.

— Не угадал. Значит, я первый. — С этими словами он вынул из кармана коробку с патрончиками и зарядил ружьё. — Ну, теперь не мешай мне! — И он, ловко перебегая от одного дерева к другому и прячась за их стволы, начал подкрадываться к группе рябин, откуда только что раздавалась трескотня дроздов.

Я наблюдал за ходом охоты издали. Дрозды, несомненно, были на рябинах. Они продолжали покрикивать и перелетать с дерева на дерево.

Вот Серёжа подобрался к ближайшей рябине, вот он поднимает ружьё, целится.

«Неужели застрелит дрозда?» Я испытываю какое-то смешанное чувство надежды и тайной зависти. «Впрочем, чего же мне завидовать, — пробую я себя успокоить, — он ведь старше, поэтому и стреляет лучше меня. А может, ещё и не попадёт, даже наверняка не попадёт».

Раздаётся выстрел. Дрозды с громким криком разлетаются. Мгновение Серёжа глядит куда-то вверх, потом бросается вперёд. И в то же время я вижу, как серенький комочек падает с дерева на землю.

«Убил, убил дрозда!» Вот теперь уж несомненная жгучая зависть сжимает моё сердце. Но в то же время мне хочется как можно скорее увидеть эту замечательную добычу. Я бегу со всех ног к Серёже и подбегаю в тот самый миг, когда он поднимает с земли застреленную птицу. Боже мой, как она хороша! И какая огромная! Наверное, с хорошего цыплёнка. Михалыч никогда таких большущих не привозил.

В этот миг я и не думал о том, что свежая, только что убитая птица всегда кажется больше и наряднее той, которая уже пообмялась и обтёрлась, лёжа несколько часов в охотничьей сумке. Мне было не до размышлений. Серёжа весь сиял от счастья, рассматривая свой трофей. У дрозда была чудесная дымчатая головка и спинка, а грудка рыжеватая, с тёмными пятнышками.

— Ну, теперь ты попробуй, — всё так же счастливо улыбаясь, сказал Серёжа, зарядив и передавая мне ружьецо.

— Да что же пробовать? — уныло ответил я. — Все от выстрела разлетелись, ни одного не найдёшь.

— Ничего, подожди немножко, опять прилетят.

Я взял ружьецо и нехотя побрёл по аллее из растущих в два ряда старых рябин.

«Квох, квох, тррр, тррр!» — раздался прямо над моей головой тревожный крик дрозда.

Я быстро поднял голову. Дрозд сидел возле самого ствола, наклонившись, уже готовый взлететь.

«Улетит, сейчас улетит!» — мелькнуло в голове, и я, почти не целясь, вскинул ружьё и выстрелил.

Дрозд громко затрещал и полетел прочь. Только одно пёрышко закачалось в воздухе и стало медленно, как листочек, опускаться к земле.

— Промазал? — спросил Серёжа.

— Попал немножко, перо выбил, — отвечал я, поймав и разглядывая выбитое перо.

«И зачем я поторопился? — грызла горькая мысль. — Чуть-чуть прицелиться поточнее, и я бы тоже убил. А теперь опять Серёжина очередь стрелять. Неужто он второго убьёт, а я ни одного? Нет, это уж слишком, этого бог не допустит!» — подумал я, с большой неохотой отдавая ему ружьё, и опять стал ждать своей очереди.

Серёжа, окрылённый удачей, а кстати, и моим промахом, стал осторожно обходить дерево за деревом, внимательно всматриваясь в их вершины.

Если мой дрозд не улетел после выстрела, а сидел на дереве затаившись, то очень возможно, что и на других деревьях тоже затаились дрозды. Их-то Серёжа и высматривал. Он осмотрел уже несколько старых рябин — пусто.

Вдали немного особняком стояли ещё два дерева, все сплошь увешанные гроздьями ягод.

Серёжа подошёл к ним, глянул вверх и тут же вскинул ружьё. Выстрел! Что-то метнулось в ветвях, перелетело с одной на другую.

Теперь стрелять моя очередь. Я опрометью бросился к Серёже. Но пока бежал до него, раздался ещё выстрел, и убитый дрозд тяжело шлёпнулся на землю.

— Нечестно, это нечестно! — чуть не плача, закричал я. — Почему не подождал? Моя очередь!

— Да я его ранил! — возбуждённо отвечал Серёжа и не думая извиняться или оправдываться. — Разве не видел? Он с сучка на сучок перелетел и опять сел. Вторым я его и добил.

— А может, он вовсе не ранен был, может, с испугу не полетел. А ты и рад, что я далеко.

— Ну вот ещё, с испугу!.. Держи ружьё, стреляй. Можешь тоже два раза подряд выстрелить.

— В кого мне теперь стрелять? Убил моего, а теперь «стреляй два раза»!

— Как же, «моего»! — передразнил Серёжа. — Да ты бы и не попал вовсе.

— Болван! — не выдержав, крикнул я.

— От болвана и слышу! — пренебрежительно ответил Серёжа и, забрав своего второго дрозда и насвистывая что-то, не спеша зашагал в другую сторону.

Я со злостью посмотрел ему вслед. «Ох уж теперь и будет задаваться, прямо не подходи! Ну и наплевать, ну и пусть...» И, вертя в руках бесполезное ружьё, я без цели зашагал вдоль заросшего кустами овражка. Дошёл почти до его середины. Стоит ли дальше идти? Может, посидеть вот здесь, на бугорке, подождать немного, глядишь — дрозды и опять на рябины слетятся. Я присел на старую кочку и стал бездумно глядеть прямо перед собой на край овражка, на куст орешника, уже наполовину сбросившего свою листву. Вдруг мне показалось, что на земле под кустом, среди опавшей листвы, что-то шевельнулось. Нет, это ветерок пошевелил отдельные листья. Нет, опять. Я пригляделся получше. Что это? Кучка пёстрой листвы или какой-то комочек? Вот он опять слегка шевельнулся. Это не листья, это кто-то сидит там, притаился под кустиком.

Но кто же: зверёк или птица? Всё равно.

Не вставая с кочки, я получше прицелился в загадочный бурый комочек и выстрелил. В тот же миг над комочком взметнулось серое крыло, затрепыхалось в воздухе и бессильно опустилось.

Бросив ружьё, я подбежал к кусту.

Подбежал — и замер. Нет, этого не может быть!

Протёр глаза. Не может быть! Я схватил в руки убитую птицу.

— Серёжа, Серёженька! — не своим голосом завопил я. — Иди, иди скорее сюда, я вальдшнепа убил!

Вальдшнеп! Нет никаких сомнений. Только у него может быть такой длинный, прямой, как палочка, нос, такие бурые с пятнами пёрышки, точь-в-точь как опавшие листья. Такого точно убил при мне Михалыч весной на тяге.

Подбежал Серёжа:

— Где? Покажи!

— Вот он! — Я боялся выпустить вальдшнепа из рук: ну-ка ещё оживёт и улетит.

— Да дай мне, не съем же его!

— Только осторожней, не упусти.

Серёжа взглянул на меня и вдруг расхохотался:

— Ты что, рехнулся, что ли? Как же убитого упустить можно?

Но я не обиделся на Серёжу ни за его смех, ни за его слова. Что мне теперь какие-то слова! Я настоящий охотник! Я застрелил не какого-нибудь дрозда, а настоящую дичь — вальдшнепа!

Я про себя несколько раз повторил это чудесное слово: «Вальдшнеп, вальдшнеп!...»

Серёжа рассматривал мой трофей и даже не пытался скрыть своей зависти. Он мельком взглянул на своих двух дроздов, которых, пока я ходил с ружьём, он лихо прицепил на верёвочке себе к поясу.

Какими маленькими и жалкими показались эти пичужки по сравнению с моим длинноносиком!

Я вспомнил, как Михалыч не раз говорил, что вальдшнеп, дупель, бекас и крошка гаршнеп — это так называемая ко-ро-лев-ска-я дичь, значит, даже не просто дичь, а самого высокого класса.

— Ну что же, будешь ещё раз стрелять? — угрюмо спросил Серёжа.

— Нет, стреляй ты, мне больше не хочется, — ответил я.

Серёжа быстро взял ружьё и пошёл дальше вдоль овражка, вдоль кустов.

«А что, если он сейчас второго найдёт и тоже застрелит? — как ножом, резанула мысль. — Конец тогда моему торжеству. Боже, зачем я, дурак, отдал ему ружьё, ведь у меня был ещё выстрел! Догнать его, сказать, что я решил не уступать свою очередь? Но ведь я уже уступил, теперь он и не отдаст ружьё. Боже, что я наделал, что я наделал!...»

Даже мой вальдшнеп был мне теперь не мил. Я сидел как на иголках, ожидая, что вот-вот Серёжа выстрелит.

Выстрел. Конец. Сердце у меня оборвалось. Вот он уже возвращается, несёт в руках вальдшнепа... Всё кончено!

Подошёл Серёжа, взглянул на меня:

— Ты что нос повесил?

— Убил?

— Нет, промазал. Хотел дрозда на лету убить...

Я поднял глаза. Серёжа стоял передо мной, вертя в руках сухие листья орешника.

От сердца сразу всё отлегло.

— А я пошёл поискать, думал, не сидит ли где-нибудь под кустом ещё такой же красавчик! — весело сказал Серёжа, беря в руки и снова разглядывая мою добычу. — Знаешь, после такой дичи совсем не хочется этих воробьёв стрелять. — И Серёжа небрежно кивнул головой на своих дроздов. — Спрячу в карман, а то прямо стыдно рядом с твоим их показывать.

Я слушал его слова, как сладчайшую музыку. Слушал и вдруг подумал: «А вот если бы не я, а Серёжа застрелил вальдшнепа, я, конечно, очень бы ему позавидовал, позавидовал, но вслух ни за что не признался. А он прямо это сказал, ничуть не скрывая. Молодец Серёжа! Он всё может прямо сказать, а я не могу. Почему это?»

Стрелять дроздов ни Серёже, ни мне больше не хотелось, да их больше и не было — все разлетелись.

Мы побродили немного по саду и пошли домой.

Какое впечатление произвела моя дичь на маму и на Михалыча, даже трудно рассказать! Мама просто никак не могла этому поверить и всё спрашивала:

— Неужели правда ты его сам застрелил? — И, обращаясь к Серёже, ещё раз спрашивала: — Он правду говорит, не выдумывает?

А Михалыч тут же надел очки, внимательно осмотрел вальдшнепа, нашёл свежую ранку от пули и таким образом удостоверился, что я его действительно застрелил, а не подобрал где-то дохлого. Потом Михалыч встал со своего места, подошёл ко мне, протянул руку и, пожав мою, торжественно сказал:

— Жму руку настоящему охотнику! — И ещё добавил: — Поздравляю вас «с полем», уважаемый коллега!

Я тоже крепко пожал ему руку. Да, в эту минуту я действительно чувствовал себя настоящим охотником, а кроме того, ещё и самым счастливым человеком на всём белом свете.

ОПЯТЬ ШКОЛА, ОПЯТЬ ЗУБРЕЖКА

Как не хотелось после такого радостного воскресного дня с самого утра тащиться в школу, приниматься зубрить арифметику, молитвы, хрестоматию и списывать с книги длинные упражнения!

На улице солнышко, жёлтые, ещё не совсем облетевшие деревья, листва под ногами, весёлое, будто весной, чирикание воробьёв. А здесь, в комнате, только общий крик, зубрёжка, подзатыльники бабки Лизихи. И мучительное ожидание, когда же наконец стрелки стенных часов покажут долгожданное время — два часа. К тому же в понедельник время обычно тянется как-то особенно медленно.

Я сидел за отдельным столиком, поглядывал в окно и зубрил бесконечную таблицу умножения на пять и на шесть. Все числа путались, никак не удавалось их запомнить, особенно ежели наряду с этими скучными «пятью шесть, пятью семь, пятью восемь...» вдруг в памяти ярко-ярко вспыхивает облетелый ореховый куст над овражком, бурая опавшая листва под ним и среди этой листвы — красавец долгоносик.

Только вспомнишь об этом, и все «пятью пять» сразу куда-то исчезнут, будто их совсем и не бывало.

Пока я, сидя за отдельным столиком, безнадежно пытался вызубрить таблицу умножения, за большим столом шли другие занятия. Елизавета Александровна объясняла сразу нескольким ученикам правила десятичных дробей. В чём заключались эти правила, я ещё не понимал. Но зато отлично понимал, что из-за них уже несколько ребят стоят «столбом», а двое — даже на коленях.

В этот день бабка Лизиха была сильно не в духе. Её линейка то и дело звонко шлёпала по спинам то одного, то другого нерадивого ученика. Линейка успешно делала своё дело — перепуганный ученик совсем сбивался с толку и забывал даже то, что раньше твёрдо знал.

Я уже хорошо заметил, что Лизиха, когда бывала не в духе, обычно выбирала в качестве жертвы кого-нибудь одного из ребят, над ним и начинала «мудровать». На этот раз она особенно прицепилась к Васе Комарову. Это был угрюмый мальчик, всегда какой-то нелюдимый, замкнутый. Его мать была прачка, стирала у Елизаветы Александровны бельё. А за это Лизиха учила Васю бесплатно.

— Ты что ж, совсем учиться не хочешь? Становись на колени! — орала Лизиха, хватая Васю за плечо и пригибая к полу.

Он всё так же молча стал на колени.

— Ты пойми: твоя мать целый день стирает, целый день спину гнёт. А ты, мерзавец, не ценишь этого, учиться не хочешь! Ну да я из тебя дурь-то выбью! Отвечай: как разделить на десять?

Вася молчал, исподлобья поглядывая на страшную старуху, наклонившуюся прямо над ним.

— Не хочешь отвечать? Я тебя спрашиваю: не хочешь?

— Я не понимаю, — угрюмо ответил Вася.

— Не понимаешь, тогда и учиться нечего, нечего на шее у матери висеть, обжираться её! Не понимаешь — в дворники иди.

Стоя на коленях, мальчик изо всех сил сдерживался, чтобы не заплакать.

— Ты чего мне рожи-то корчишь?! — закричала на него Елизавета Александровна.

Вася не выдержал, уткнулся лицом в книжку и зарыдал.

— Притворяйся больше, сирота казанская!.. — цыкнула на него бабка Лизиха и принялась за других ребят. — Николай, отвечай!

Черноглазый бедовый Коля вскочил с места и начал быстро отвечать правила деления.

— Не тараторь! — оборвала его Лизиха. — Говори потише. Ничего не поймёшь.

Коля стал говорить медленнее.

— Ты что еле-еле тянешь, умираешь, что ли? Не знаешь — так и скажи. Стань столбом!

Коля злобно сверкнул глазами, хотел что-то ответить, но сдержался и молча встал.

— Митенька, ну ты-то хоть знаешь?

— Знаю, Елизавета Александровна.

— Ну, порадуй хоть ты меня.

Митя, не вставая с места, начал отвечать довольно бойко и уверенно.

Елизавета Александровна слушала, одобрительно кивая головой.

— Умница! — наконец сказала она. — А теперь, родной, я тебя вот что попрошу: помоги мне, голубчик, растолкуй этому олуху правила деления... — И она ткнула концом линейки в спину всё ещё стоявшего на коленях Васи. — Иди, дурак, Митенька тебе всё объяснит!.. А вы все, — обратилась она к остальным ученикам, — будете сейчас решать задачи.

Все сели по местам, а Вася мрачно поплёлся к Мите и сел рядом с ним на соседний стул.

Прошло ещё около часа. Все сидели молча, решая задачи. И вдруг среди тишины раздался звонкий Митин голосок:

— Елизавета Александровна, я не могу с Васей заниматься! Он меня совсем не слушает.

Лизиха подняла от книги глаза. В них горело бешенство и негодование.

— Ты что же это, подлец, выделываешь?! — задыхаясь от злости, крикнула она на Васю.

Тот встал со стула и уставился на Лизиху глазами, полными неприязни.

— Да он мне ничего не объясняет. Он сам не знает! — со злобой в голосе проговорил он.

— Кто не знает? Это Митенька-то? Ах ты, неблагодарная скотина! Он на тебя время тратит, учит тебя. А ты вместо благодарности...

— Ничего он не знает! — злобно перебил её Вася. — Он вам по шпаргалке отвечал и мне её переписать сует. На кой она мне? Вот она!

И он, встав с места, подал Лизихе листок бумаги, мелко исписанный рукой самого Митеньки.

Елизавета Александровна небрежно взглянула на листок и отложила его в сторону.

— Это неправда! — взвизгнул от злости Митенька, вскакивая с места. — Это не шпаргалка, это конспект. Я в него и не заглядывал. Я для себя написал. Утром на свежую голову ещё разок повторить.

— «Утром, на свежую голову»! — передразнил его Вася. — А мне для чего совал, мне что сейчас говорил? Подлиза!

— Молчать! — заорала Лизиха. — Я тебя, негодяй, вон выгоню! Учу бесплатно, из милости, из жалости к твоей матери учу, а ты ещё разговаривать! Ну, погоди у меня...

Она вскочила со своего места, огромная, растрёпанная, как ведьма, схватила Васю за руку, потащила вокруг стола к своему креслу.

— На колени! На колени, подлец! — орала она, тряся за плечи перепугавшегося мальчишку. И так толкнула его вниз, что он упал, ударился локтем об пол и даже взвизгнул от боли.

— За что вы меня? — горько заплакал он.

— За что? За то, что учиться не хочешь! А ещё Митеньку оболгать хотел! погоди, я твоей матери всё расскажу. Она с тебя дома шкуру спустит! Дармоед проклятый!

Вася уже ничего не говорил. Он только рыдал, не в силах больше сдерживаться.

Все в комнате притихли. Такая отвратительная сцена разыгралась при мне в первый раз. Я был так потрясён, что сидел будто в каком-то оцепенении.

— Ну, выучил таблицу? — злобно спросила Елизавета Александровна, обращаясь ко мне.

— Не выучил. Не могу, — запинаясь, ответил я.

— Это ещё что за новости?! Почему не можешь?

— Голова очень болит, — с перепугу ответил я.

— Ага! Сразу как учить, так и головка заболела. Иди сюда, встань столбом. Голова-то скорее пройдёт.

Я подошёл и встал вместе с другими около страшного Лизихино кресла. Это было моё первое наказание.

«Если ударит, сейчас домой убегу!» — подумал я, с опаской поглядывая на крепкую дубовую линейку, которую бабка Лизиха держала в руках. Но она, видимо, устала от расправы с Васей и сидела в своём кресле не двигаясь и даже слегка прикрыв глаза. Какая она была противная, словно огромная сытая жаба! За что она била и мучила Васю? И сколько ещё придётся терпеть мне самому в этом ужасном, отвратительном доме?!



Когда мы с Серёжей пошли домой, я спросил его:

— А что это за листочек Вася Лизихе отдал: шпаргалку или конспект?

— Эх ты, мумочка! — рассмеялся Серёжа. — Конечно, шпаргалка.

— А почему же Лизиха Митьку за неё не отодрала?

— Потому что он «Митенька, умница, утешение наше»! — ядовито ответил Серёжа. — Да и зачем его драть, когда она уже Ваську за него отлупила? А Васька — дурак, так ему и поделом!

— За что поделом?

— За то, чтоб не лез. Знает ведь, что Митенька — «радость наша, солнышко наше». А он хотел это «солнышко» за ушко да на солнышко, вот и обжётся, вперёд умнее будет.

В эту ночь я долго не мог уснуть. Всё думал о случившемся в школе. Елизавета Александровна стала казаться мне ещё отвратительней. Она, значит, не только злобная, не только притворщица, а ещё и много хуже. За что она травит Васю? За то, что он бедный, что она его учит бесплатно, за то, что мать у него прачка и побоится вступить за Васю.

Как всё гадко и подло! Мне хотелось заплакать и рассказать кому-нибудь об этой большой несправедливости. Но кому рассказать? Серёжа и так всё знает и не видит тут ничего особенного. А мама? И вот, пожалуй, первый раз в жизни я подумал, что и мама ничего тут не поймёт, а может быть, и не захочет слушать. Ведь она всё время твердит, что Елизавета Александровна нас всех очень любит, ради настолько и живёт. И мне стало так тяжело на душе, так одиноко...

Напротив меня, у соседней стены, мирно спал и посапывал во сие Серёжа. А я лежал с открытыми глазами, смотрел в мутно белевший надо мной потолок и всё думал и думал о том, почему в жизни иной раз так плохо бывает.

Я думал до тех пор, пока, ничего не придумав, под самое утро наконец заснул.

ИНОЙ РАЗ ХОРОШО И ПОБОЛЕТЬ

У меня заболело горло, поднялась немного температура. И мама сказала, что, как ни грустно, мне придётся несколько дней посидеть дома и не ходить в школу.

Не знаю, может быть, маме и было от этого грустно, но мне ни чуточки. Наоборот, я очень обрадовался, что хоть несколько дней не буду видеть этой отвратительной обезьяньей рожи и отдохну от постоянного крика, ругательств и колотушек.

Наступили хорошие дни. Утром Михалыч уходил на работу, Серёжа — в школу. И дома оставались только мы с мамой. Мама стряпала в кухне вместе с тёткой Дарьей, а потом что-нибудь шила или штопала Михалычу носки, которые он, по словам мамы, «просто нарочно каждый день продырявливал».

А потом, к двум часам, приходил Серёжа из школы, Михалыч — из больницы, и мы садились обедать. За обедом Серёжа всегда рассказывал последние школьные новости: кого сегодня драли, кто полдня на коленях стоял, у кого Елизавета Александровна изорвала в клочки тетрадку за то, что на неё села клякса.

Новости были обычно очень похожими одна на другую. В основном менялись только герои приключений. Сегодня Кольке попало, завтра — Ваське, а послезавтра — Ольге. Последней доставалось особенно часто, вероятно, за то, что она была уже взрослой и училась не по принуждению, а по доброй воле. Наверное, бабка Лизиха хотела её испытать, проверить, насколько действительно крепко сидит в ней желание учиться, а потом и самой стать учительницей. Бедная Ольга, самая большая, самая старшая из нас, уже совсем взрослая барышня, терпела от Лизихи великие муки! Обливаясь горячими слезами, вместе с нами, ребятами, она часами стояла на коленях, уча закон божий или правила грамматики. Наверное, её любовь к учению была действительно очень велика, а терпение и покорность собственной судьбе в образе злющей Лизихи прямо безграничны.

На третий день моей счастливой болезни Серёжа принёс очень интересную новость.

— Митеньку-то нашего вчера на улице камнем подшибли! — оживлённо рассказывал Серёжа.

— Кто подшиб? Как? Куда попали? — посыпались нетерпеливые вопросы.

— В самую морду, повыше глаза, всю бровь рассекли! Еще бы немножко — и глаз вон.

— «В морду»! Ну кто же так говорит? — неодобрительно покачала головой мама.

— Простите, в личико, — с недоброй улыбкой поправился Серёжа. — Чуть всё личико на сторону не свернули и глазик не выбили.

— Да кто же бросил камень? — заинтересовался Михалыч.

— А это вот неизвестно, — весело сказал Серёжа и прибавил: — Елизавета Александровна прямо с ума сходит, хочет дознаться. Сегодня Ваську и Кольку весь день колотила. «Заживо, кричит, обдеру, а узнаю!»

— Почему же именно их? — спросила мама.

— На них думает. Только оба молчат.

— Да разве сам Митя не видел, кто в него камнем швырнул? — удивился Михалыч.

— Не видел. Вечером было, темновато. Шёл по переулку. Вдруг из-за угла — шлёп ему! — И Серёжа озорно рассмеялся. — Так ему, гаду, и нужно — не ябедничай другой раз!

— А он ябеда? — спросил Михалыч.

— Да ещё какая! — кивнул в ответ Серёжа.

— Тогда поделом, — охотно согласился Михалыч. — Доносчиков и в наше время лупили.

— Ну уж извини, не камнем же в лицо! — возмутилась мама. — Так и кривым недолго остаться.

— А уж это его дело, — ответил Михалыч. — Фискалов жалеть не приходится.

Я молча слушал этот интересный разговор. И, кажется, первый раз в жизни был на стороне не мамы, а Серёжи и Михалыча. Я вспоминал, как Митенька всё время из кожи вон лез, чтобы выслужиться перед Лизихой и порисоваться перед всеми нами. Вот теперь и дорисовался! Но кто же его бил? Неужели Вася или Коля?

После обеда я спросил Серёжу, что он об этом думает.

— А откуда я знаю! — небрежно ответил он.

Но мне вдруг показалось в его ответе что-то уж слишком небрежное. Может, он что-нибудь знает? Знает и скрывает от меня? Но почему же, разве я кого-нибудь выдавал? Наверное, он по-прежнему считает меня всё маленьким: свяжись, мол, с такими, ещё брякнет там, где не следует. Ну что ж, не хочет рассказать, и не нужно.

А на следующий день ещё новость: у Митьки ботик пропал. Собрались мы в два часа домой уходить, глядь — ботика нет. Искали, искали, всю переднюю перешарили — нет, да и только. Елизавета Александровна прямо взбесилась.

— Ищите, — кричит, — все ищите! Пока не найдёте, никого домой не пушу, сидите весь день не жравши!

Митька разревелся. Он ведь жадный-прежадный, а ботики совсем новенькие, только на днях ему мать купила.

— Мне, — говорит, — за них дома вот как достанется.

Ну что ж, пропал — и всё, сколько его ни искали, как в воду канул!

Елизавета Александровна поорала, а потом говорит:

— Хорошо, пусть все уходят обедать, только трое останутся: Колька, Васька и Борис. Эти пускай хоть до вечера ищут. — Потом сходила в кладовку, принесла оттуда свои старые ботики и говорит Митьке: — Надень, голубчик, сегодня. К вечеру мы его всё равно найдём. А не найдём — за счет этих негодяев купим.

Митька надевает старые ботики, а сам ревёт:

— Достанется мне!..

Потом стал пальто надевать... Из рукава бултых его собственный ботик. Тут мы как загалдели:

— Небось сам запрятал! Только всех на целый час без обеда оставил...

Митька уж рад-радехонек.

— Зачем, — говорит, — мне его туда прятать? — Одейся — и марш домой.

Над этой историей смеялись все: и Серёжа, и Михалыч, и мама.

Смеялся и я, но в то же время с тревогой думал: «Какой смелый тот, кто всё это проделывает. Ведь попадись — и конец! Елизавета Александровна не помилует, до смерти заколотит».

МЫ ГОТОВИМСЯ СТАТЬ ПТИЦЕЛОВАМИ

На дворе была уже поздняя осень. Пошли дожди, а потом начало подмораживать, особенно по утрам. Идешь, бывало, в школу, под ногами земля как каменная. А ветер такой холодный, резкий, хуже, чем зимой.

Кончились наши с Серёжей воскресные охоты в саду. Дрозды улетели на юг, да и вообще никаких птиц не было видно, все куда-то от холода попрятались. По воскресным дням я стал опять частенько заглядывать к Петру Ивановичу. У него в домике и летом и осенью всегда было одинаково интересно.

Монотонно стучит швейная машинка, и, стараясь её заглушить, на разные голоса заливаются птицы.

Но теперь, осенью, у нас с Петром Ивановичем нашлось ещё одно очень интересное дело. Пётр Иванович готовился к зимней ловле птиц, а я ему помогал. Мы вместе чинили птицеловную сеть. Всё лето она пролежала в чулане, и её во многих местах погрызли мыши. Сеть мы расстелили на полу. Я ползал на четвереньках, выискивая дыры; пробовал — крепки ли нитки, не подгнили ли. А Пётр Иванович все сомнительные места заделывал новыми прочными нитками.

Кроме сетки, нужно было ещё подготовить западни, проверить, чутко листораживаются сторожки и крепко ли захлопываются дверцы.

Следовало ещё наладить самоловные петли-волосянки. Их Пётр Иванович делал из конского волоса, прикрепляя каждую волосяную петлю к прочной тонкой верёвке. Когда петель привязано было достаточно, этой верёвкой туго обвязывался пучок конопли с созревшими семенами.

— Вот воткнём в снег такой пучок, — говорил мне Пётр Иванович, — щеглы или синицы усядутся на него коноплю поклевать, ножками в волосянках и запутаются. Только при этой ловле надо ухо остро держать, — добавлял он. — Таковую волосянку без присмотра ни на минуту нельзя оставлять. Это тебе не западня. В западню птица попала и сидит в ней. Тут ей и корм под носом, ешь сколько душе захочется. А волосянка — другое дело. Попадёт птица лапкой в петлю, задёрнет и давай биться, рваться из неё. Если вовремя не подоспеть, может себе ножку попортить, вывихнуть её. А ещё хуже, если головой в петлю залезет: не подоспеешь вовремя — и удавится. Большой грех себе на душу тогда возьмёшь.

С Петром Ивановичем мы не только проверяли и готовили снасти для будущей зимней ловли. Как только выдавалась погода получше, мы шли в бли-

жайший лес, заготавливали на зиму для птиц разные лесные ягоды: калину, рябину. Этим делом Пётр Иванович занимался уже с самого начала осени.

Придём, бывало, в лес, найдём дерево, где ягод побольше, и начинаем обрывать спелые грозди. Пётр Иванович рвёт, а сам всё время мне говорит:

— Смотри, сынок, не торопись, не ломай сучьев, деревце не порть, не уродуй. Оттого, что мы кончик ветки ножичком срежем, дереву вреда не будет. Оно весной новые побеги пустит. А сломаешь толстый сук — всю красоту испортишь.

Наберём, бывало, целый мешочек разных ягод — и домой. А там в домике Петра Ивановича свяжем отдельные грозди верёвочкой и подвесим их в кладовке к жерди под потолком, чтобы провяли и подсохли немножко. Зимой, в бескормицу, птицы и таким ягодам очень обрадуются.

Каждое воскресенье я почти целый день проводил у Петра Ивановича, прибегая домой только пообедать. Серёжа ловлей птиц совсем не интересовался.

— Буду я с этими воробьями возиться! — презрительно говорил он. — Я лучше пойду с ребятами в футбол на выгоне поиграю.

Приходя домой от Петра Ивановича, я с жаром рассказывал о наших приготовлениях к зимней ловле птиц. Мама к этому была равнодушна, зато Михалыч заинтересовывался всё больше и больше.

— А знаешь, дружище, — однажды сказал он, — почему бы и нам с тобой в нашем саду не заняться этим делом? Я уж давно об этом подумываю. Только птиц, которых поймаем, будем держать не в клетках, а в вольере.

— Что же это такое? — спросил я.

— Вольера? Ну та же клетка, только очень большая, такая большая, что даже ты можешь в неё войти. Остов её мы сделаем из деревянных реек и обтянем его металлической сеткой. Ты понимаешь, как здорово это получится! — воодушевился Михалыч. — Вольеру мы поставим одну в приёмной, а другую у меня в кабинете. Внутри них мы настоящие кустики или деревца в кадочках посадим, пол песком посыплем. Птицам там будет не жизнь, а просто рай. Продержим их зиму до весны, а весной, в день весеннего равноденствия, все дверцы настезь, окна в комнатах настезь — летите куда хотите.

— Постойте, постойте! — вмешалась мама в наш разговор. — Я слышу: клетки строить, птиц заводить. А кто, осмелюсь узнать, кормить их будет, клетки им чистить, всю грязь за ними убирать?

— Не беспокойтесь, мадам, всё, решительно всё будем делать мы сами, — галантно раскланиваясь и даже отводя руку в сторону, заявил Михалыч.

— Это уж я хорошо знаю, как вы всё сами делаете. И зайчат, и ежей, и галок — всех заводите, а как кормить, ухаживать, чистить — вас и след простыл, никого не найдёшь.

— Нет, вы положительно способны убить всякий полёт мечты, — благодушно улыбаясь, сказал Михалыч.

— Ах, поменьше бы вы мечтали да побольше за собой грязь убирали, — недовольно ответила мама.

— Мадам, да вы просто поэт. От гнева даже стихами заговорили.

— От вас не только стихами заговоришь, запоёшь скоро! — ответила мама и невольно рассмеялась.

— Разрешила! Разрешила! Раз смеётся, значит, разрешила! — в восторге закричал я.

— Да уж делайте что хотите, — махнула мама рукой и отправилась в кухню.

А мы с Михалычем перешли в кабинет и принялись обсуждать, как лучше сделать вольеру и где её удобнее всего поставить.

— Отличная идея — устроить зимнюю квартиру для птиц, — говорил Михалыч. — Кстати, и постолярничаем, а то мой верстак уже и пылью покрылся. Давай-ка сделаем точный чертёж вольеры.

Мы принялись рассчитывать и чертить.

— Дверку сделаем с таким расчётом, чтобы в вольеру можно было свободно войти, иначе внутри и убирать будет невозможно.

— Чтобы я мог пролезать, — уточнил я.

— Ну да, чтобы ты, да и мама тоже... — уклончиво заметил Михалыч.

— А маме зачем? Мы же сами всё будем делать: и убирать и кормить.

— Да, да, конечно, — поспешно согласился Михалыч. — Но всё-таки... Ну, может быть, и она когда-нибудь захочет туда заглянуть. Ведь это очень интересно: провести часок-другой в обществе разных птиц.

— Хорошо, — согласился я. — Пусть и мама сможет туда залезть. Но ведь и вам тоже, наверное, туда захочется... в общество птиц...

— Ну, я уж снаружи буду за птичками наблюдать. Мне туда лазить не нужно, — ответил Михалыч. — Мне хочется тебе и маме удовольствие доставить. А что обо мне толковать.

КВАРТИРА УЖЕ НЕ ПУСТУЕТ

И вот снова кабинет Михалыча превратился в весёлую столярную мастерскую. Опять мы таскали доски, отмеривали, пилили, строгали. И нужно сказать, что на этот раз работа шла значительно успешнее. Может, это зависело оттого, что задание было попроще, а может быть, уже приобрели кое-какой навык.

В общем, мы довольно ровно нарезали доски для пола вольеры, выстругали их и так же удачно заготовили тонкие рейки для деревянного каркаса самой вольеры. Зато с дверкой дело совсем не заладилось. Она получалась кривой, кривой и никак плотно не входила в предназначенную для неё дверную раму.

— Ну, не стоит тратить золотое время на пустяковые доделки, — решил Михалыч.

Он позвал столяра, и тот прямо в кабинете разобрал весь наш каркас, выбросил из него две-три косившие рейки, заменил их новыми, немножко подстрогал и перебрал пол, сделал новую дверную рамку и саму дверь. В общем, как выразился Михалыч, кое-что слегка подправил, подчистил. Потом он обтянул вольеру проволочной сеткой, и всё было готово. Оставалось только поставить в вольеру какие-нибудь кустики, насыпать в кормушку еду, налить в поилку воду и пригласить крылатых гостей занять приготовленную для них зимнюю квартиру.

За кустиками дело не стало. В первый же тёплый день, когда земля вновь оттаяла, больничный сторож Дмитрий выкопал у нас в саду два куста смородины и вместе с корнями, с землёй поместил их в два деревянных ящика. Кусты были торжественно водружены в вольеру, которая заняла, как было уже заранее решено, угол в кабинете.

— Но где же птицы? — вопрошал Михалыч. — Я не вижу птиц! Я не слышу их щебетанья, их песен!

Михалыч был прав, да и мне самому хотелось как можно скорей заселить нашу просторную, светлую и тёплую квартирку крылатыми квартирантами.

Снасти для ловли тоже были давно готовы, налажены и проверены.

Оставалось только ждать зимы. Мой наставник по части птиц, Пётр Иванович, говорил мне:

— Осенью земля открыта, открыты все травки, кустики и всюду достаточно разных семян. В это время ловить птиц нелегко, куда проще ловить их зимой. Укроет снег поля и леса, вот тогда всякая птаха и начинает кочевать, искать себе пристанища. Тогда её и ловить можно, и в клетку сажать. Тогда ты ей помогаешь от голода, от смерти спастись. А осенью она и без тебя проживёт. Зачем её осенью ловить, пусть до зимы погуляет, вольным воздухом подышит, на солнышке погрееется.

Но вот наконец пришла и зима. Пришла совсем неожиданно. С вечера ещё и земля, и деревья в саду, и крыши соседних домов были все тёмные, отсыревшие. Уже дня два, как потеплело, и всё время моросил мелкий, противный дождь. И вдруг поздно вечером вместе с дождём стали падать на землю большие, лохматые снежинки.

Михалыч вернулся домой от больных, вошёл в переднюю, и все мы ахнули: и шапка и пальто были совсем белые.

— Поздравляю! Кажется, наступает зима, — весело сказал он. — Снег так и валит.

— Растает ещё, — с сожалением ответила мама. — Первый снег всегда сходит.

— Как сказать. По времени уже давно пора, — возразил Михалыч. — И учти, что он ложится не на мёрзлую, а на талую землю. Это тоже хороший признак.

— Ну, дай бог, — ответила мама.

Перед тем как улечься в кровати, мы с Серёжей потушили в комнате лампу и заглянули в окно. За окном всё было бело и мутно. Даже сарая и то не видать.

— Зима! — сказали мы и легли спать.

Михалыч оказался прав. За ночь напало много снега, к утру разъяснело и чуть-чуть подморозило.

Первое зимнее утро. Вся земля укрыта белым пушистым покрывалом, всё так и блестит на солнце. Это не просто утро, а праздник земли. И как ужасно, что нельзя его праздновать как полагается, нельзя достать из кладовки санки, лыжи и бежать кататься с горы. Вместо этого надо идти в школу — писать, читать и решать противные примеры по арифметике.

Мучительно долго тянулся в школе этот светлый, по-зимнему радостный день.

Пообедали и опять в школу — готовить уроки. Так и не пришлось как следует порадоваться первому снегу, слепить деда-снеговика, построить снежную крепость. Одно только и утешало, что до воскресенья остался всего один день.

В субботу вечером я уже был у Петра Ивановича.

— Ну, как дела? — волнуясь, спросил я.

— Всё, сынок, в полном порядке, — отвечал тот. — Точок в саду расчистил, сетку приладил. На точок конопли насыплем да рябинки понакидаем. Глядишь, завтра с утра кто-нибудь и пожалует на наше угощение. Только ты, сынок, утром не мешкай, пораньше приходи. Птица, она с утра еду себе ищет. Утречком самое время её ловить.

Я обещал прийти как можно раньше, распрощался и пошёл домой.

Наутро я заявился к Петру Ивановичу ещё до восьми часов.

— Вот молодец, сынок, что не проспал! — похвалил он меня, — Сейчас оденусь, и отправимся счастье попытать.

Мы пришли в садик, подсыпали конопли на точок, подбросили туда же пригоршни две свежей рябины, попробовали, хорошо ли действует сеть, и, убедившись, что всё в порядке, отошли в сторонку шагов за тридцать от точка. Там стояла старая беседка. В неё мы и спрятались. Чтобы в беседке было удобнее сидеть и караулить птиц, Пётр Иванович устроил внутри низенькую широкую лавочку, а по сторонам между столбиками натянул какую-то старую холстину.

Через холстину ветер не продувал, так что в беседке оказалось тепло и уютно.

Мы уселись на лавку, приподняли немного с одного края холстину и стали наблюдать. На наших глазах занимался тихий зимний день. Было пасмурно. С низкого пепельно-серого неба изредка опускались вниз большие, похожие на клочья ваты, мохнатые снежинки.

Ветви разросшихся яблонь и груш, казалось, были увешаны сплошной массой ослепительно белых цветов.

В этот тихий зимний денёк старый сад вновь расцвёл; расцвёл, может быть, не так молодо, как весной, но зато не менее пышно и красиво.

Мы сидели с Петром Ивановичем совсем рядом, прижавшись друг к другу, и молча всматривались в пушистые белые ветви деревьев. Не шевельнётся ли там что-нибудь живое. Но ветви деревьев были неподвижны.

И вдруг одна из них качнулась; вниз с неё полетела серебристая снежная пыль.

По оголившейся ветке над самым точком бойко запрыгала синица.

Она поглядела вниз на дорожку, где так аппетитно темнели на белом снегу зёрнышки конопли и так ярко краснели разбросанные тут и там ягодки рябины.

Но синицу, видно, что-то смущало. Может, она не понимала, откуда здесь на дорожке вдруг появилась такая пропасть конопли.

«Чирвирик!» — пискнула синица. Это на её птичьем языке, вероятно, означало: «Что-то тут неладно, что-то подозрительно».

К первой синичке откуда-то подлетела и вторая. «Цир-вир, цир-вир!» — громко застрекотала она, видимо тоже выражая своё изумление и недоверие при виде такого количества неизвестно откуда взявшейся еды.

Но соблазн был слишком велик. И обе синички, немного ещё посоветовавшись друг с другом, всё-таки решили попробовать позавтракать.

Они, одна за другой, слетели на точок и с аппетитом принялись за коноплю. Схватит в клюв семечко, взлетит с ним на ближайший сучок, раздолбит, съест — и снова вниз.

— Дёргайте, дёргайте! — зашептал я Петру Ивановичу, который держал в руках верёвку от снасти.



Стоило только дёрнуть за эту верёвку — и два полотнища сетки взлетели бы над точком и, опустившись, укрыли его вместе с синичками.

— Подождём! — также шёпотом ответил Пётр Иванович. — На что нам синицы, их полно. Может, кто другой прилетит.

Мне очень хотелось поймать хоть что-нибудь. Но я в знак согласия кивнул головой и продолжал наблюдать за точкой. Скоро обе птицы наелись и улетели. «Вот,— подумал я, — неизвестно за кем погнались, а синиц прямо из рук упустили».

Мы просидели ещё с полчаса. Ни одна птица больше не появлялась. Я совсем загрустил. «Ну хоть бы опять синица прилетела! — думал я. — Хоть бы воробей сел, и то интересно. А так сиди и смотри на снег. Разве это ловля?»

Рассуждая сам с собой, я даже не заметил, как к точку подлетели два снегиря. Увидел я их, только когда они уселись на куст бузины, рядом с точком, уселись, распушились и замерли. Издали они походили на два больших ярких цветка. Один снегирь с красной грудкой и чёрной головкой, а другой немного поскромнее, с оранжевой грудкой.

Птицы-цветы с полчаса, а может, и больше совершенно не подавали признаков жизни.

— Врёте, проголодаетесь! — шептал мне в ухо Пётр Иванович. — Потерпи, сынок, вот увидишь, слетят на точок.

Но снегيري и не думали подлетать к еде. И вдруг снова на соседнем кусте показалась синичка. Может, одна из тех, что уже побывала недавно на точке, а может, и другая. Но бойкая птичка оказалась очень решительной. Ни минуты не раздумывая, она слетела на точок и принялась за еду.

Этот пример подействовал и на вялых, сонных снегирей. Один из них вытянул шейку и стал глядеть вниз, будто раздумывал: стоит или не стоит слетать. Повертел головкой, подумал да и слетел на точок.

«Чего же он ждёт, не ловит!» — возмутился я, от нетерпения сжимая в руке какой-то сучок.

Но Пётр Иванович так и замер, держа наготове верёвочку от сетки.

А снегирь спокойно сидел на снегу, то склёвывая зёрнышки, то поднимая головку и оглядываясь по сторонам. Синичка быстро наелась и улетела.

«Сейчас и снегирь улетит», — мелькнула в голове тревожная мысль.

Но вместо этого и второй снегирь неожиданно тоже слетел на точок.

В тот же миг Пётр Иванович дёрнул за верёвку — полотнища сетки взвились, как два огромных крыла, и накрыли точок.

Перегоняя друг друга, мы понеслись туда, где под сеткой беспомощно трепыхались пойманные снегيري.

— Осторожней, сынок, осторожней, не торопись, лапку ему не повреди, — запыхавшись от беготни и волнения, говорил Пётр Иванович, когда я пытался высвободить из сети запутавшуюся ножку птицы.

Наконец оба снегиря были освобождены и посажены в переносную клеточку.

— Ну, теперь домой! Пора дружков моих покормить, клетки почистить да и самим закусить.

Мы пришли в домик Петра Ивановича. Как там показалось тепло и уютно после нескольких часов, проведённых в саду на морозе.

Поставили самовар. Начали чистить клетки, наливать в них свежую воду, насыпать свежий корм. Ручные птицы нас вовсе не боялись. А один чиж, не дождавшись, пока Пётр Иванович поставит кормушку на место, вскочил на её краешек и начал есть, забавно разбрасывая клювом семечки конопли.

— погоди, погоди! Дай хоть поставить,— делая вид, что сердится, говорил Пётр Иванович, любуясь своим маленьким приятелем.

Потом он стал кормить синичку, тоже совсем ручную. И вдруг синичка ловко выпорхнула из-под руки, начала летать по комнате, присаживаясь то на одну, то на другую клетку, и наконец уселась на висевшую над столом лампу.

— Ах ты, озорница! — погрозил ей Пётр Иванович. — Знаю, что тебе надо, уж я-то знаю!

Он пошёл в кладовочку и принёс оттуда кусочек свежего сала.

— Вот чего ты захотела, — сказал он, показывая синице угощение.

«Чир-ви-рик, чир-ви-рик!» — затараторила она. Слетела со шкафа и уселась хозяину на плечо.

— Ну, этого ещё не хватало, — развёл он руками. — Уж больно тебе не терпится. Подождёшь, не умрёшь.

Он взял с полки ниточку, обвязал ею кусочек сала и подвесил его к лампе.

— Вот теперь прошу!

Но просить не пришлось. Синица тут же подлетела к салу, вцепилась в него острыми когтями, повисла на нём, раскачиваясь, как на качелях. Сама качается, а сама знай долбит сало острым клювиком, отщипывая от него крохотные кусочки.

Старичок, ласково улыбаясь, смотрел на свою озорную любимицу. Она раскачивалась, а он ей в такт напевал:

Слышится голос свирели,
Слышен таинственный звон...
Тихо качайтесь, качели,
Сладкий навейте всем сон.

«Творрра, творрра!» — вдруг заскрипел, закричал из своей клетки скворец.

Пётр Иванович встрепенулся:

— Ах, батюшки мои, про тебя-то я совсем и забыл. Сейчас, сейчас дам творожку, сейчас, мой голубчик!

Он достал из шкафа баночку с творогом, высыпал его на стол на газету и, открыв клетку, пригласил скворца:

— Лети, дружок, закуси, позавтракай.

Пока скворец ел творог, мы закончили уборку и остальных клеток.

— Теперь можно и самим чайку напиток. Небось проголодался, сынок, — весело потирая руки, сказал Пётр Иванович.

Он достал из шкафчика хлеб, две чашки и вазочку с вишнёвым вареньем.

— Сейчас и закусим.

Мы уселись пить чай, любуясь, как птицы тоже завтракают в своих клетках.

Скворец, плотно закусив творогом с кашей, весело разгуливал теперь по столу, склёвывая крошки хлеба.

— Хорошо с вареньицем чайку попить, — говорил Пётр Иванович, — благодать!

Но тут и скворушка, видимо, заинтересовался вареньем. Он вскочил на край вазочки, точь-в-точь как наша Галя к маме на тарелку. Потом скворец запустил в вазочку свой длинный клюв и вытащил ягоду. Вытащил и стал пробовать. Кажется, понравилось. Он вытащил другую, третью и, наконец, для удобства — прыг прямо в варенье, да и завяз.

Как он испугался! Замахал крыльями, рванулся. Вазочка набок, всё варенье на скатерть. А скворец с перепугу хозяину прямо на голову.

— Да ты что, совсем взбесился? Пошёл, пошёл вон! — закричал Пётр Иванович. — Сколько дел, озорник, натворил!

Мы начали счищать ложкой со скатерти варенье. Весь стол был перемазан.

— И волосы все испачкал. Опять иди в баню из-за него, опять голову мой!.. — Он погрозил скворцу, который сидел на шкафу и прихорашивался. — Вот я тебе, разбойник, дам!

«Творрра, творрра!» — радостно отозвался тот.

— Да не творог, а розгу дам.

«Творрра, творрра!» — опять уверенно повторил скворец.

— Ну, что ты с ним сделаешь? — рассмеялся Пётр Иванович. — Как тут сердиться на такого озорника?

Домой я пришёл только к обеду.

— Ну, как успехи? — спросил Михалыч.

— Кое-что поймали, — скромно ответил я и показал клеточку со снегирями.

— О-оо! Снегири! — воскликнул Михалыч. — Да ещё самец и самочка. С красной грудкой — это самец.

Я утвердительно кивнул головой.

— Отлично, отлично! Неси их ко мне в кабинет. Давай обновим нашу вольеру.

Снегири были посажены. После тесной клетки, где они просидели полдня, птицы очень обрадовались просторному помещению, стали перелетать с жёрдочки на куст и обратно. Потом оба спустились на землю, и тут же, не обращая на нас внимания, начали с аппетитом есть коноплю.

— Вот как проголодались! — негромко сказал Михалыч и, обняв меня за шею, добавил: — Итак, дружище, начало положено. Квартира уже не пустует теперь. Нужно и нам с тобой в нашем саду ловлю птиц наладить, да и подкормить их тоже не мешает. Ишь как стараются! Голод, брат мой, штука страшная.

СКВЕРНАЯ ИСТОРИЯ

Воскресенье — это был единственный день недели, когда мы с Серёжей отдыхали от школы, от крика, от несносной зубрёжки. Но воскресенье кончалось, и впереди нас ждало целых шесть дней чего-то серого, однообразного и совсем безрадостного.

К тому же и на улице было невесело. Зима наступила сразу, но какая-то недружная: то снег, то мороз, а то вдруг дождь пойдёт. Снег раскиснет, в воздухе сырость, туман.

В один из таких невесёлых деньков мы с Серёжей завтракали на перемене, стоя в передней.

Мимо нас проходил Вася. Он шёл задумавшись, видимо что-то соображая. Уже пройдя мимо, он вдруг вернулся и, конфузливо потупясь, спросил:

— Ребята, у вас рубля в долг не найдётся? Я отдам. Мамка получит за стирку, и отдам.

Мы с Серёжей смущённо переглянулись.

Денег ни у кого из нас не было: мама считала, что они нам не нужны, и никогда не давала.

— Нет, честное слово, нет. Нам на руки не дают, — отвечали мы. А я даже карманы вывернул. — Вот, смотри, только платок.

— Я верю, — угрюмо ответил Вася и как бы про себя добавил: — Нужно очень. Мамка больна.

— А ты у Елизаветы Александровны попроси, — неожиданно раздался за его спиной голос Митеньки.

Мы все разом обернулись.

Он стоял позади нас, ласково улыбаясь.

— Хочешь, я сам для тебя попрошу, скажу, что ты стесняешься? — предложил он таким же вкрадчивым, сладеньким голоском.

— А хочешь, я тебе в морду залеплю? — весь вспыхнув, ответил Вася.

— Грубиян, мужик! — бросил ему Митенька и, повернувшись на каблучках, юркнул в комнату.

— У, сволочь поганая! — задыхаясь от злости, проговорил Вася.

— За что ты его? Он же помочь тебе хотел, — вступился я.

— «Помочь, помочь»! Знаю я его помощь. Выставиться перед Лизихой захотел. Вот, мол, какой я добрый, хороший! Только меня не ценят.

Десятиминутная перемена кончилась. Мы все опять сели за книги и тетрадки.

Я сидел над грамматикой и никак не мог заставить себя учить глаголы. Всё думал о Васе. Вот у него больна мама. Ему зачем-то нужен рубль, может, купить лекарства, может, еду купить, а рубля нет, и достать негде. Как приду домой, попрошу у мамы. Она добрая — она даст.

Васе в этот день, видно, было совсем не до учения. Он сидел, нервно потирая лоб, несколько раз вставал, выходил куда-то.

— У тебя что, живот болит? — грозно окрикнула его Лизиха.

— Ничего у меня не болит, — ответил он, садясь на своё место.

— Тогда чего же ты бегаешь? Устал, бедненький, отдохнуть захотел?

Вася промолчал.

Я так и не выучил глаголов, но время подвигалось уже к двум. Уже недолго до конца. Может, и не спросит.

Вошла служанка тётя Поля и заговорила с Лизихой о хозяйственных делах.

«Слава богу, хоть немного времени, да оттянет».

Тётя Поля спросила, что купить на ужин, и попросила денег на покупки.

— Принеси мой кошелёк. Он в спальне на тумбочке.

Тётя Поля пошла и тут же вернулась:

— Там нет кошелька.

— То есть как нет? Я же его утром сама положила. Слепли все, под носом ничего не видят! — заворчала Лизиха, вставая, и направилась в спальню сама.

Прошло несколько минут. В коридоре слышались тяжёлые торопливые шаги. В комнату вошла Елизавета Александровна. Лицо у неё было багрово-красное. Глаза сузились в крохотные щёлочки.

— Кто взял мой кошелёк?! — задыхаясь от ярости, с трудом выговорила она.

Мы все разом подняли голову от книг и тетрадей и в немом ужасе глядели на обезумевшую старуху.

— Кто взял мой кошелёк?! — ещё страшнее прохрипела она. — Сознавайтесь. Иначе хуже будет!

В комнате царил мёртвая тишина. Страшные, змеиные глазки перебежали с одного ученика на другого, стараясь пронзить насквозь.

— Я в последний раз спрашиваю! — Она сделала минутную паузу. — Не сознаётесь? Ну хорошо! — При этом она грузно повернулась и пошла обратно в спальню.

— Что теперь будет? — нервно проговорил кто-то.

— Всех перепорет, — ответил другой. — Будет бить, пока не узнает...

Время шло. Лизиха не показывалась, и от этого с каждой минутой становилось всё страшнее. «Что-нибудь ужасное нам готовит», — думал каждый, как пригвождённый сидя на своём месте.

— Николай, сюда! — раздался из спальни зловещий Лизихин голос.

Коля весь съёжился и побледнел как смерть.

— Я не пойду, я боюсь! — зашептал он. — Почему меня?

Дверь из спальни распахнулась. Выбежала Лизиха, вся растрёпанная, точно безумная. Подбежала, схватила Колю за руку и потащила в спальню.

— Я не брал! Не надо, боюсь! — закричал он таким страшным голосом, что у меня мурашки побежали по коже.

— Что она с ним будет делать? — зашептали оставшиеся в комнате.

— Господи, помоги! — пролепетал кто-то, тихо всхлипывая.

Дверь вновь распахнулась, вышел Коля, бледный, трясущийся, но живой, целый.

— Борис, ко мне! — крикнула Лизиха.

— Иди, не бойся! — шепнул Коля. — Не бьёт. Поклясться заставляет.

За Борисом в страшную комнату пошёл Вася, потом Серёжа... Все ребята один за другим.

Наконец я услышал:

— Георгий, иди сюда!

Онемев от ужаса, я, как во сне, встал со своего места, прошёл переднюю и очутился в спальне Лизихи.

Посреди комнаты помещался маленький столик; он был накрыт белой скатертью. На ней стояла горящая свеча и лежала какая-то небольшая толстенная книжка в синем бархатном переплёте с золотым тиснённым крестиком посередине.

Сама Лизиха сидела тут же на стуле. Лицо у неё было уже не свирепое, а какое-то жуткое, налитое кровью и совсем неподвижное.

Она пристально взглянула на меня и сказала мрачным голосом:

— Ты, конечно, не взял! Тебя только так, для порядка, как и других. Ты не взял кошелёк? — В её голосе вдруг послышалось какое-то недоверие.

— Не брал, честное слово, не брал!

— Положи руку на евангелие. Поклянись, что не брал и не знаешь, кто его взял. Помни: если скажешь неправду или утаишь что-нибудь, бог страшно накажет, руки отнимутся, язык... Клади руку, клянись!

Я положил правую руку на бархатную книжку. «А ну-ка сейчас рука отнимется или онемеешь, что тогда? — мелькнула страшная мысль. — Тогда она решит, что я взял».

— Говори: «Клянусь, что денег не брал и не знаю, кто это сделал!» — зловещим шёпотом произнесла она.

Я повторил и пошевелил пальцами руки. «Слава богу, кажется, не отнялась».

— Иди!

Всё так же, как во сне, я вышел из страшной комнаты и сел на своё место.

«А что будет с тем, кто взял? — неожиданно подумал я. — Он ведь не сможет сказать неправду. Это — клятва. Солжёт — язык отнимется».

Елизавета Александровна вызывала всех по очереди, но никто не признался, и ни у кого не отнялись ни руки, ни язык.

— Хорошо же! — сказала она угрожающе. — Встаньте все в ряд.

Мы встали. Елизавета Александровна начала у каждого тщательно обследовать карманы.

— А это что? — свирепо сверкнув глазами, обратилась она к Борису.

— Это, это... это пу-пу-пу-гач, — заикаясь, еле выговорил он.

Елизавета Александровна выхватила из кармана игрушку и со злостью швырнула её в дальний угол, чуть не угодив при этом Ольге прямо в лицо.

— «Пугач»! Я тебе покажу, подлец!

Но и осмотр карманов ни к чему не привёл. Кошелек ни у кого не оказался.

— Садитесь по местам. Начинайте заниматься своим делом.

И она тяжёлой, расхлябанной походкой пошла в переднюю.

— Теперь все куртки обшарит, — дрогнувшим голосом сказал Борис. — А у меня в кармане рогатка. Беда! Выпорет, непременно выпорет.

Все мы сидели, замерев на своих местах, и прислушивались к шаркающим шагам в передней.

— Вот он! Ах ты, подлец! — раздался нечеловеческий крик.

Лизиха ворвалась в комнату, как иступлённая. Она трясла кошельком.

— А-а, подлец! А ещё на евангелии клялся. Подлец, клятвопреступник!

Она подбежала к столу и схватила за руку Васю. Схватила, сдёрнула на пол:

— На колени! Вот тебе, вот, вот, вот!.. — И она изо всех сил ударила его по щекам. — Вон из моего дома! Вор, подлец! Во-о-он! Сейчас полицию позову. В тюрьму, в острог!..

— Я не брал, ей-богу, не брал! Простите, не брал я... — в ужасе, сам, верно, не понимая собственных слов, лепетал Вася.

— Ах, ты ещё врать, врать ещё! Вот тебе, вот!..

С размаху она, видно, попала по глазу.

Мальчик взвизгнул от боли и вскочил на ноги.

— Простите, пожалуйста, простите его! — вдруг выскочил и встал перед Елизаветой Александровной Митенька. Встал и заслонил собой Васю. — Простите его, — повторил он, — у него мать больна! Он хотел у вас рубль попросить, хотел, да побоялся.

Елизавета Александровна на секунду опешила от этой неожиданной защиты. Но тут же опомнилась и грубо оттолкнула Митю:

— Не лезь, блаженный! Тоже защитник! Мать заболела, так он воровать? А завтра с ножом придёт, зарежет... Вон из моего дома, вон! — снова заорала она. — Пришли мать ко мне. Не пришлешь — в полицию заявлю. Оба воры, обоих в острог упеку!

Не помню, как я оделся, как вышел на улицу. Даже Серёжа, всегда такой стойкий, мужественный, и то был подавлен.

— Уж взял бы деньги, и дело с концом! — раздражённо сказал он. — А кошелек-то зачем? Видно, не успел вынуть, помешал кто-то. Так и сунул, дурень, в пальто!

У нас дома весть о воровстве и страшной расправе произвела очень тяжёлое впечатление, в особенности на маму. Михалыч тоже был огорчён.

— Бедность, — сказал он. — От бедности чего не сделаешь! — Но потом, подумав, добавил: — А всё-таки лучше бы попросил. Чужие кошельки таскать не следует...

— Оставь, пожалуйста, свою мораль! — перебила его мама. — Кого просить-то? Я попросила на лечение Татьянки. Много кто дал?

— Да-а-а! — протянул Михалыч. — Скверная история. Тяжёлая история.

— Знаете что, ребятки, — сказала мама, — я вам дам пять рублей, отнесите их Васе, скажите — займы, мол, пусть когда сможет, тогда и отдаст. Ну, хоть через год, через два...

— Нет, он теперь не возьмёт, — покачал головой Михалыч. — Ему и ребят теперь стыдно будет, ведь на их же глазах попался.

— Это верно! — грустно согласилась мама. — Может, послать с Дарьей прямо его матери, сказать — за стирку деньги прислали? Вот только от кого?

Михалыч задумался.

— Лучше Дмитрия попросить отнести. Пусть скажет — из больницы прислали: от кого-то из больных или из служащих. Я, мол, и не спрашивал от кого. Она, наверное, многим стирает. Сама пускай и догадывается, если захочет.

Деньги Дмитрий отнёс.

— Ну, отдал? — спросила мама, когда он вернулся. — Что она сказала?

— Больная лежит, — нехотя ответил Дмитрий. — Велела деньги назад отдать. Говорит, ничего я у них не стирала и получать мне с них не за что.

КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ

Время всё постепенно смягчает, даже самое печальное, самое страшное. Стала понемногу забываться и история с украденными деньгами.

Вася больше не показывался в доме Елизаветы Александровны. В полицию она на него не заявила, только погрозила сгоряча.

Самого Васю я несколько раз после этого видел на улице. Но он тут же отворачивался и спешил перейти на другую сторону. Ему было стыдно встречаться с кем-нибудь из старых товарищей по школе.

А занятия у нас шли по-прежнему. По-прежнему Елизавета Александровна кричала, ругалась и дралась. Зато к Мите с тех пор стала ещё ласковее, ещё нежнее. Да и многие из нас, ребят, уже не так его сторонились. Правда, он выскочка, и подлиза, и Лизихин любимчик, всё это верно и очень противно, а всё-таки только он один осмелился защищать Васю. Все тогда языки прикусили от страха. А он не побоялся. Пусть из его защиты толка не вышло, а всё-таки он сказал правду, не побоялся.

Митя, видно, и сам замечал, что многие из нас смотрят на него даже с уважением. Но от этого он стал ещё заносчивее. Уж не ходит по комнате, а будто на крыльях летает — глядите, мол, все на меня, любуйтесь, вот какой я герой, когда нужно — и самой Лизихи не испугался.

Только Борис да Колька из одного упрямства не хотели признавать в Мите ничего хорошего.

— Пожалел он Ваську?! Как же, держи карман шире! — кричал Коля, выходя вместе с другими ребятами из школы на улицу. — Уж он пожалеет! Просто покрасоваться перед всеми захотел. Вот и всё.

При этих словах я невольно вспомнил, что почти то же самое сказал про Митю в тот страшный день и сам Вася.

«Нет, конечно, они зря так говорят, — думал я. — Ну, может быть, и хотел немножко покрасоваться. А ведь никто из нас ничего сказать не осмелился. Всё-таки он не такой уж плохой, как думают Боря и Колька».

Серёжа тоже был со мной согласен.

— Хоть и подлиза, а ничего парень, — сказал он. — А Колька с Борькой его ненавидят. Митеньку Лизиха леденчиками угощает, прямо в ротик суёт, а их только линейкой пониже спины потчует. — И Серёжа при этом сделал очень выразительный жест рукой.

Потекли один за другим однообразные, скучные дни. На дворе уже была настоящая зима. Весь городок завалили глубокие сугробы снега. Ходить можно было только по узким тропинкам вдоль домов и заборов. По утрам мы с Серёжей вставали в школу, когда на дворе бывало ещё совсем темно. Пили чай при свете лампы. Только к девяти часам начинало понемногу светать.

В школе каждый день было всё одно и то же. Уже входя в переднюю, мы слышали из комнаты пронзительный крик бабки Лизихи:

— Николай, ко мне! Вот тебе, вот тебе, негодяй!.. Борис, стань на колени, мерзавец!



Нового было, пожалуй, только то, что теперь, после изгнания Васи, бабка Лизиха в качестве козла отпущения избрала Бориса.

Стыдно сознаться, но мы, ребята, частенько от души потешались над злоключениями своего милого, безобидного товарища.

Боря был дальний родственник Елизаветы Александровны, какой-то двоюродный внук. Наверное, отчасти поэтому он и пользовался особенным, «чисто родственным» вниманием своей «заботливой» бабушки. Отец Бориса, Михаил Ефимович, имел булочную, кормил калачами, кренделями, сдобными булочками и просто чёрным хлебом весь наш городок. Это был, пожалуй, у нас в городке самый крупный, самый шумный

и самый весёлый человек. С огненно-рыжей бородой, в поддёвке нараспашку, настоящий ухарь-купец.

Громяхая колёсами своего огромного полка, он, бывало, лихо катил на мельницу за мукой, раскланиваясь со всеми встречными, знакомыми и незнакомыми. Его-то уж все у нас знали. Обрато с мельницы в гору он ехал чинно, шажком, восседая на туго набитых мешках, весь с ног до головы припудренный мукой и похожий уже не на ухаря-купца, а на сказочного деда-мороза.

Его сын Боря был в миниатюре точной копией отца. И даже такой же огненно-рыжий. Вот только пока ещё без усов и без бороды. Он был очень толстый, очень весёлый, с румяным, немного веснушчатым лицом и курносый носиком. Всем своим видом он походил на пышную, сдобную булочку.

Больше всего на свете Борька любил вместе с отцом ездить на полке за мукой, самостоятельно управляя лошадей, и меньше всего на свете любил учение. Но самым ненавистным для него был, несомненно, французский язык. Невозможно даже передать, что только Боря с ним выделывал. Самое главное,

что он решительно не признавал никакого французского произношения. Произносил всё, как и требуется, чисто по-русски.

— Читай! — грозно кричит, бывало, бабка Лизиха.

И Боря читает, старательно выговаривая каждое слово:

— Каман ву порте ву?

— Боже мой, боже мой! — хватается за голову Лизиха. — Пекарь! Пекарь и есть! Тебе бы с отцом булки печь, а не по-французски заниматься. Ну, как я тебя учила произносить? Ну как, негодяй?

— За что, Елизавета Александровна?! — вскрикивает Борька.

— За ухо, за ухо деру! Чтобы слушал, чему тебя учат! Мягко выговаривай и в нос, а не так, будто дрова колешь. Ну, повторяй: comment vous portez-vous?

— Каман вуу-у... — нерешительно тянет Борис.

— Опять «каман», опять топором зарубил! Вот тебе! Вот тебе!..

Лизиха отвешивает несколько звонких шлепков. Получать их, конечно, совсем неприятно, но зато они так аппетитно звучат, будто сама Лизиха месит, прихлопывая, крутое сдобное тесто.

— Больно ведь! — протестует Борька.

— Для того и деру, чтобы больно было! — поясняет Лизиха. — Да тебя не пробьёшь: будто подушка к заду приделана. — И Лизиха шлёпает так, что, наверное, слышно на улице.

— Ой-ой-ой! — взывает Борька, стараясь защититься. — Не надо, не бейте!

— Вот теперь, кажется, пробила. Теперь будешь слушаться. Читай дальше!

— Бьен, тре бьен! — стараясь выговаривать как можно яснее, на всю комнату вопит Борис.

Лизиха затыкает уши.

— Пекарь, настоящий пекарь! — не то плачет, не то смеётся она.

Борис замолкает. Он в полном недоумении: что бабка Лизиха от него хочет?

ПЯТНИЦА

Кроме воскресного дня, был у нас, у ребят, и ещё один любимый денёк недели — пятница.

В этот день в Черни собирался базар. Со всех окрестных сёл и деревень съезжался народ. На Соборной площади устраивался торг. Кто, бывало, продаёт глиняные горшки, кто — мётлы и веники, кто — кадушки... Тут же торгуют всякой птицей: гусями, курами, утками, а дальше — мясом, поросятами... Чего только нет! На площади крик, шум; над площадью тучи галок и голубей. В воздухе крепко пахнет сырыми кожами, солёными огурцами и конским потом.

Хорошо потолкаться среди народа, послушать, как продавец звонко стучит палочкой по глиняному горшку, демонстрируя его прочность, или принять участие в ловле сбежавшей курицы. Или купить на копейку жареных семечек,

стручков, мятных пряников — жамок. Всё хорошо! Только редко это удавалось, разве кой-когда, мимоходом. Ведь базар бывает с утра до обеда, в это время приходилось не гулять по площади, а сидеть в классе.

Но пятницу мы всё-таки очень любили, и именно потому, что в этот день бывал базар.

А раз базар, значит, много приезжих, значит, и в лавках большая торговля.

Бойко торговал в этот день магазин красных товаров Ивана Андреевича Соколова — так бойко, что хозяину одному трудно было справляться. Нужно и деньги от покупателей принять, сдачу дать, не просчитаться, и за приказчиками последить, чтобы кто из них не сплутовал в свою пользу. Да и за покупателями поглядывать не мешает. Покупатель разный бывает!

Поэтому в пятницу обычно с самого утра Елизавета Александровна уходила в лавку, сама помогала мужу следить за всем. В этот день нам только задавались самостоятельные задания. А чтобы мы не очень безобразничали, присматривать за нами приходила какая-то двоюродная племянница Елизаветы Александровны — Мария Михайловна, молоденькая, тихая девушка.

Мария Михайловна сама не меньше нас боялась бабушку Лизиху и, когда та уходила, умоляла нас только не очень бушевать, не вскакивать на стол, не драться, а главное, упаси бог, не поломать чего-нибудь из Лизихиной обстановки. В остальные наши дела она совершенно не вмешивалась. И мы могли свободно ничего не делать весь день, рискуя только быть выдранными за невыполненные задания.

Но предстоящая расплата мало кого страшила. Во-первых, она была ещё далеко — завтра, а не сегодня, а главное — Лизиха отлично могла отодрать, даже если задание и будет выполнено. Наказание у неё зависело не от наличия вины, а от настроения самой наказующей. Хорошая была торговля, крупная выручка — значит, ни про какие задания и не спросит, а ежели базар был плохой, торговали скверно — тогда выучил не выучил, всё равно держись.

Вот мы и старались не думать о завтрашнем дне, а как можно лучше использовать сегодняшний.

Сначала все ещё кое-как сидели на своих местах, каждый занимался чем-нибудь интересным: кто рисовал, кто готовил шпаргалки, кто играл с соседом в пёрышки. Особенно вольничать побаивались: а ну-ка Лизиха почему-нибудь вернётся назад? Но проходил час, другой, возрастала уверенность, что она крепко засела в лавке, и тут понемногу все расходились.

Обычно веселье начинал Николай. Он был самый вертлявый, и ему первому становилось невмоготу сидеть паинькой, если нет поблизости бабушки Лизихи.

Озорно оглядевшись по сторонам, он вскакивал со стула, выбегал на середину комнаты и делал лихую стойку на руках — вверх ногами.

Это бывал как бы сигнал к началу веселья. Завидя проделки друга, Борька исчезал под столом, и оттуда раздавалось неистовое хрюканье и поросячий визг.

В тот же миг из разных концов комнаты начинало доноситься мычание, ржание, бляение, кудахтанье кур, гоготанье гусей. Вся комната сразу превращалась в коровник, свинарник, птичий двор... во что угодно, но только не в класс.

Правда, несколько наиболее сознательных учеников, и прежде всего, конечно, Митенька, не принимали никакого участия в этих развлечениях. Они забирали свои книжки и тетрадки и переходили в соседние «тихие» комнаты, предоставляя в наше полное распоряжение столовую, а вместе с ней и несчастную Марию Михайловну, которая тщетно металась из одного конца комнаты в другой, стараясь то разнять какой-нибудь дружеский поединок, то прекратить игру в прятки под столом, то прогнать со стола вскочившего туда, кричавшего петухом Кольку.

Среди этих многочисленных дел и обязанностей Мария Михайловна не забывала самое главное — постоянно подбегать к окну и следить за тем, не покажется ли в конце улицы сама бабка Лизиха.

И вот как-то раз в самый, разгар веселья внизу, на лестнице, послышался страшный голос.

Кто где был — кто на столе, кто под столом, кто верхом на товарище, — все так и замерли. Почудилось или нет?

Зловещий крик повторился. Вихрь смятения, и все уже на местах, все за книгами, какую кто только успел схватить.

Секунду до этого класс представлял собой палату буйно помешанных. Секунду спустя он превратился в палату тихих маньяков. Все сидят, уткнувшись в книги, и, не обращая друг на друга никакого внимания, на разные голоса барабанят, завывают, трубят — кто французский, кто немецкий, кто божий закон, кто географию. Все галдят, и в то же время каждый чутко прислушивается к тому, что творится за дверью.

Вот она распахнулась. Крики, ругательства и отчаянные шлепки врываются в комнату вместе с морозной свежестью.

Елизавета Александровна в шубе, в тёплом платке, в калошах, не раздеваясь, ломится в комнату. Одной рукой она тащит за ухо Бориса, другой наделает его отборными шлепками.

Где она его поймала? Вид у Борьки совсем домашний. Он без шапки, в рубашке, даже ворот расстёгнут.

— Мария Михайловна, да что же вы тут смотрите? — обрушивается она на перепуганную наставницу. И, не дожидаясь её ответа, продолжает гневно кричать: — Вхожу во двор, а этот мерзавец летит навстречу. В руках снежок, гонится за петухом. Петух не знает куда деваться, через забор, на улицу, а этот,

этот...— она тычет пальцем Борьке в затылок, — этот прохвост со всего маху мне прямо в живот. Чуть с ног не сбил.

Она, обессилев, опускается в кресло, всё ещё не выпуская из рук Борькино ухо.

— Ну, погоди, голубчик! Я сейчас с тобой расправлюсь... Митенька! — громко, но уже совсем другим голосом кричит она.

Из соседней комнаты мигом выскакивает её любимчик. Ясно, что он стоял за дверью и подслушивал.

— Митя, — устало говорит бабка Лизиха, — будь добр, дружок, сходи во двор, кликни сторожа Семёна. Да пусть вожжи захватит. Борьку пороть.

— Я не дам! Не смеете! Я папке скажу! — пытается протестовать Борис, но получает пару увесистых шлепков и смиряется.

— Митенька, пальтишко надень, а то простудишься! — кричит вслед Елизавета Александровна.

Мы все сидим, застыв на своих местах, в ожидании чего-то страшного и в то же время занятого. Бедный Борька! Все его злоключения вызывают у нас, помимо сочувствия к нему, ещё и невольную улыбку.

Вот он стоит сейчас перед бабкой Лизихой красный, потный, весь какой-то растерзанный. Его ждёт неминуемая экзекуция. Его посиневшее ухо — в неприятельских руках. И всё-таки весь вид его будто говорит: «Ну что ж, что высекут, а я всё-таки не покорюсь!»

Хлопает входная дверь. С постной рожицей и блестящими от радости глазами входит Митенька. За ним в дверях появляется огромная фигура сторожа с вожжами в руках.

— Чаво вам, хозяйка, надоть? — безразличным голосом спрашивает он.

— Семён, бери его, помоги мне выпороть.

Семён так же лениво, вразвалку, подходит к Борису, берёт его за плечо, тащит через переднюю в спальню. Борька отбивается изо всех сил, гневно кричит:

— Пусти, не смей, папке пожалюсь!

— Иди, иди, не балуй! — тащит его Семён.

Елизавета Александровна поспешает следом.

Процессия скрывается в спальне. Дверь захлопывается.

— Ой, батюшки мои! — всхлипывает в уголке Мария Михайловна. — Ведь просила вас всех: будьте потише, не деритесь, не озорничайте!

Мы не слушаем её причитаний. Мы слушаем только то, что творится за дверьми в спальне.

Оттуда доносится шум возни, потом звонкие удары вожжей, поросычий визг Борьки и свирепые окрики Лизихи:

— Я тебя отучу, я тебя отучу! Вот тебе, вот тебе!..

Затем опять возня, опять крик Борьки, но уже не поросячий, а гневный, протестующий:

— Я тятке пожалюсь! Он вам даст!..

— Поговори ещё, негодяй! — орёт Лизиха.

Дверь распахивается. Борька выскакивает красный, потный, как из бани, на ходу застёгивая и приводя в порядок штаны.

— Куда?! Назад! — вопит бабка Лизиха. — Семён, хватай его!

Но Борька уже накинул куртку, шапку в охапку и был таков.

— Ну, погоди, подлец, я тебя завтра ещё раз выпорю! — кричит она вслед беглецу.

— Хозяйка, мне можно идтить? — равнодушно осведомляется Семён.

— Иди с богом, спасибо тебе, — говорит бабка Лизиха.

— А вожжи брать ай здесь оставить?

— Зачем — здесь? — сразу не может понять старуха.

— Вы же ещё завтра его посечь собирались.

— Ну, когда понадобится, тогда и принесёшь. А то дедушка увидит, рассердится, скажет: «Что у вас здесь — конюшня, что ли?» Иди, иди. Когда нужно, опять принесёшь.

— Мне что, я принесу, — отвечает Семён и уходит.

На следующий день всё пошло по-старому, как будто вчера ничего и не случилось. Борька с утра явился на занятия. Отцу, конечно, он ничего не сказал. Да и о чём говорить? Петуха снежками гонял? Гонял. Бабке Лизихе в живот с разбегу ткнулся? Ткнулся. Кто же виноват, что выпороли? А начнёшь отцу рассказывать, пожалуй, ещё добавит горячих по тому же самому месту. Нет, уж лучше молчать.

Бабка Лизиха тоже молчит. Всё это она, конечно, ещё припомнит, но только не теперь, а в другой раз, к удобному случаю.

Во время перемены к Боре подходит его лучший друг — Колька.

— Ну как, ничего, сидеть можно? — сочувственно осведомляется он.

— Ничего. Сегодня можно, — мрачно отвечает Борис. И тут же добавляет: — А Митьке я всю рожу разобью! Ишь какой услужливый. Погоди у меня, дождёшься!

— Возьмём в работу, — охотно соглашается Николай.

Перемена кончается. Мы все вновь берёмся за дела.

И У МИТЕНЬКИ ЕСТЬ ГРЕШКИ

Я, со своим робким характером, даже не мог себе представить, как можно у бабки Лизихи дурачиться, озорничать, не боясь, что она накроет и отдерёт, как

Сидорову козу. Такие удальцы казались мне чудо-героями. И первым из них был, конечно, Коля.

Стоило только Лизихе хоть на минуту отвернуться, он обязательно выкинет какую-нибудь штучку. То соседа щипнёт, так что тот подпрыгнет как ужаленный, то сам вдруг вскочит со своего места, вытянется в струнку и отдаст бабке Лизихе честь. Да при этом ещё такую рожу скорчит, что ребята не удержатся и фыркнут.

— Что за смех, в чём дело?! — грозно окрикнул Лизиха, быстро оглядываясь по сторонам.

Но все сидят, опустив носы в книжки и тетрадки. А виновник происшествия прилежно учит грамматику или закон божий. Лицо у него такое тихое, углублённое в своё дело; уж никак не подумаешь, что именно он-то и есть всему причина. «Но что, если Лизиха обернётся в тот момент, когда он с глупой рожей становится перед ней во фронт, что тогда будет?» И при одной этой мысли у меня мурашки пробегают по коже.

А один раз бабушку Лизиху во время занятий позвали зачем-то в кухню. Только она скрылась за дверью, Колька, как вихрь, сорвался со своего стула, плюхнулся в её кресло, накинул на плечи тёплый Лизихин платок, надел на нос очки и, постучав линейкой по столу, хриплым голосом запищал:

— Борька, негодяй, иди сюда, я тебя высеку!

Весь класс так и прыснул со смеху.

Потом Колька не торопясь взял со стола Лизихины карманные часы и задумчиво через очки поглядел на них.

— Целый час ещё маяться! — вздохнул он и тут же вдруг приложил часы к груди.— Эх, хороши часики! Вот бы мне такие, да ещё с цепочкой по всей груди. Вот бы я пофорсил!

В это время скрипнула входная дверь, в коридоре послышались тяжёлые шаги. И тут же, как в кино, картина сразу переменилась: очки и часы лежат на столе, платок на кресле, а Коля, уткнувшись локтями в край стола, громко и нудно долбит на весь класс коренные слова.

Он орал их так громко, что даже вошедшая в класс бабушка Лизиха была неприятно поражена.

— Николай, не ори. Учи громко, но не ори, ты не в кабаке.

— Хорошо, Елизавета Александровна, — покорным голосом ответил Коля, снова углубляясь в повторение своего урока.

Бабушка Лизиха спокойно уселась в кресло, накинула на плечи тёплый платок и надела на нос очки — всё точь-в-точь, как только что представил в её же кресле Николай.

Многие не удержались и фыркнули.

— Опять смешки! — грозно крикнула Лизиха. — Смотрите у меня! Что-то уж больно развеселились!

Она обвела всех подозрительными, злобными глазами и добавила:

— Закрывайте книжки, приготовьтесь к диктанту.

За столом произошло движение. Все книги были мигом закрыты и спрятаны. А на их месте появились чистые тетрадки.

— Загородиться друг от друга! — скомандовала Лизиха.

Снова за столом лёгкое движение. И вот уже каждый ученик отгорожен справа и слева от своего ближайшего соседа поставленной углом раскрытой книгой. Каждый сидит как будто в своём собственном отделении.

Когда всё было сделано, бабка Лизиха открыла хрестоматию и начала диктовать. Все склонили голову над столом, принялись писать. В классе воцарилась тишина, только слышался голос Лизихи да монотонный скрип перьев.

Я диктантов ещё не писал, а только списывал с книжки и поэтому с интересом исподтишка наблюдал за работой других.

Лица у всех были очень сосредоточенные. Многие от усердия даже приоткрыли рот, другие беззвучно шевелили губами, третьи старались незаметно из-за книжки заглянуть в тетрадь соседа. А Боря от усердия совсем положил голову себе на плечо и сопел так громко, будто он не диктант писал, а тащил на полок тяжёлый мешок муки.

— Борька, не спи! — крикнула Лизиха, прерывая диктовку.

— Я не сплю, Елизет Санна! — выпалил Борис.

— Тогда не сопи и голову попрямей!

Диктовка продолжалась.

Вдруг Лизиха опустила книгу и грозно глянула в самый конец стола:

— Николай, ты что, стервец, к Митеньке всё заглядываешь? Привык на чужой шее ехать. Пересядь на другое место!

— Я не к Митеньке вашему заглядываю, — вспыхнул Коля, — а гляжу, как ваш Митенька сам с книжечки сдувает. Вот посмотрите!



И, не дав никому опомниться, Коля схватил книжку, которой Митя отгородился от соседа, и подал Елизавете Александровне.

— Да-а-а-а, хрестоматия... — даже немного растерявшись, сказала Лизиха. — Митенька, что же это ты бабушку обманываешь?

— Я вас не обманывал! — дрожащим от негодования голосом воскликнул Митя. — Я и не заметил, какая это книга. Вот честное слово! Вот крест божий! — И он трижды истово перекрестился на икону.

— Верю, верю, голубчик, — успокаиваясь, ответила Елизавета Александровна. — Возьми другую книжку, отгородись от них.

После диктанта все отдали Елизавете Александровне свои тетради и пошли по домам обедать.

Мы вышли общей ватагой.

— А ловко ты его подсадил! — радовался Борька, хлопая Николая по плечу. — Молодец! Как это ты углядел только? Вот тебе и Митенька — паинька-мальчик. Да вот и он, лёгок на помине.

В это время мимо ребят проходил Митя. Он злобно взглянул на Николая, но тут же придал своему личику ласковое выражение.

— Эх, Коля, Коля! — сказал он. — Зря ты на меня наклеветал, ей-богу, зря! Ну да бог с тобой. Я обиды не помню.

— Иди, иди, пока не подсыпали! — крикнул Борька, грозно направляясь к Митеньке.

Но тот решил больше не продолжать беседу и торопливо засеменял ножками по расчищенной тропинке. Каждой хорошо одетой женщине он уступал дорогу и, сняв шапочку, здоровался.

— Какой вежливый, милый мальчик! — слышалось ему вслед.

В пять часов, когда мы все снова собрались в школе готовить уроки, нас ждало неожиданное и весьма занятное известие: Елизавета Александровна раздала ребятам тетрадки диктанта. Каждая ошибка была подчёркнута синим карандашом, а в конце страницы подведён итог. «Победителем», как всегда, оказался Борька: он сделал ошибок больше всех — двадцать три. Но этот рекорд никого особенно не удивил, даже саму Елизавету Александровну. Меньше двадцати ошибок у Борьки никогда не бывало. Самая интересная новость заключалась совсем в другом: Митенька — краса и гордость всей школы, не делавший почти никогда ни одной ошибки, — в этот раз сделал девять, и все девять во второй половине диктанта.

Эта новость шёпотом облетела сразу всех ребят.

— А что же тут удивительного? — пожал плечами Николай. — Книжку отняли, а писать не умеет, вот и насажал.

Новость обсуждали все, но огорчены ею были только двое: бабка Лизиха и сам Митенька.

Лизиха вертела в руках тетрадь своего любимца и упавшим голосом говорила:

— Митенька, родной, как же это случилось?

— Сам не знаю, — изумлённо открыв свои большие серые глаза, отвечал Митя.

— Но почему же все ошибки именно во второй части диктанта, когда книжки не было? Может, ты всё-таки иногда в неё заглядывал?

— Не заглядывал я! — нервно, с затаённой злобой, но всё с тем же кротким видом отвечал Митя.

— Тогда почему же именно во второй?

— Потому что я очень расстроился, — проговорил Митя, и в голосе его задрожали слёзы. — Расстроился потому, что вы мне не верите, вы могли заподозрить, что я, что я...

Дальше он не мог уже говорить, разрыдался и выбежал в переднюю. Бабка Лизиха кряхтя, но всё-таки быстро поднялась с кресла, тоже побежала вслед за ним.

— Ну, прости, прости, родной, старую бабушку... — слышались из передней её ласковые слова, столь непривычные именно для неё.

Вскоре оба вернулись в комнату, оба расстроенные, но вполне примирённые. Митя сосал леденец, стараясь хоть чем-нибудь подсластить свою горькую участь.

В этот же вечер бабка Лизиха нещадно отодрала Борьку и Николая, чтобы слушались, чтобы учились лучше, вообще — сами знают, за что!

Всё это случилось в субботу, значит, на следующий день можно было отдохнуть и от учения, и от самой бабки Лизихи.

КТО БОЛЬШЕ ПОЙМАЕТ!

Хорошо, что Михалычу в своё время пришла в голову счастливая мысль: устроить в птичьей вольере дверцу побольше, чтобы в неё можно было пролезать не только мне, но и маме. Эта деталь оказалась совсем не лишней, так как основной уход за нашим птичьим хозяйством постепенно перешёл в руки мамы. Я, правда, тоже помогал — изредка чистил клетку, кормил и поил птиц, но учение в школе отнимало слишком много времени. Придётся уже поздно вечером, немножко погуляешь — и спать, а утром ещё по-тёмному опять в школу. Когда же тут думать о птицах! А их количество в нашей вольере всё увеличивалось.

Каждое воскресенье мы с Петром Ивановичем занимались ловлей сеткой. А кроме того, в его и в нашем саду были развешаны западни-самоловы, и в них тоже частенько попадалась добыча.

Держали мы в вольере только щеглов и снегирей. Правда, в западни часто попадались синицы, но мы их тут же выпускали. Пётр Иванович говорил, что синица хоть и маленькая, а злобная птичка: она очень драчлива и, если держать её вместе с другими мелкими птицами, может их сильно поранить, даже заклевать до смерти.

Я до сих пор не знаю, есть ли в этом хоть доля истины. Но тогда мы с Михалычем твёрдо решили: синиц в общей вольере не держать. А отдельных клеток у нас не было, да и зачем они? Только успевай и с этим-то хозяйством управляться!

Бывало, утром мы с Серёжей в школу торопимся, а мама надевает фартук, повязывает голову платком и лезет с веником в вольеру. Птицы давно уже к ней привыкли. Она им кормушки чистит, корм сыплет, а они на голову, на спину ей садятся, скачут, как по веткам, чирикают. Мама сердится, ворчит.

— Наказание, да и только. Надо кур идти кормить, а тут изволь пустяками заниматься, за воробьями ухаживать. А кому они нужны? Выпустили бы на волю, и дело с концом! Мучение, и только!.. Да отвяжитесь вы! — отмахивается она от слишком уж нахальных щеглов, которые не хотят ждать, пока мама нальёт им воду в купальницу, а пытаются искупаться прямо в тазике. — Ну, что с ними поделаешь, опять всю измочили!

И мама гонит от себя прочь выкупавшегося щегла:

— Куда ты, негодник, на голову лезешь? Вон сядь на жёрдочку, там и отряхивайся.

Но я вижу: маме самой очень нравится, что птицы такие доверчивые и так хорошо её знают.

Ах, как не хочется уходить в школу! Как было бы хорошо залезть в вольеру вместе с мамой и помогать ей! Однако делать нечего — уже скоро девять, надо спешить.

Только воскресный день был уже полностью в моём распоряжении. Но и тут некогда ухаживать за птицами — нужно идти на ловлю новых.

И вот однажды в ловлю птиц решил включиться и сам Михалыч. Я был этому очень рад — ведь если Михалыч за что-нибудь возьмётся, тут уж дело закипит.

В нашем саду тоже расчистили точок. Пётр Иванович смастерил нам вторую сетку, точь-в-точь такую же, как у него, приладил её. И я начал приманивать к точку птиц.

Каждое утро перед школой забежишь, бывало, на одну минуточку в сад и бросишь две-три пригоршни конопли на точок. А на сучки соседних яблонь развесишь грозди рябины. Вот и дело с концом!

Наконец наступило воскресенье, тот счастливый день, когда нам с Серёжей не надо идти в школу, а Михалычу на работу.

С самого раннего утра Серёжа, сунув в карман пару бутербродов, отправился на весь день кататься с ребятами на лыжах. Ну, а мы с Михалычем решили попытать счастья — половить птиц в нашем саду. Признаюсь, я очень волновался, потому что Пётр Иванович тоже хотел половить у себя в саду. Кто же больше поймает, кто победит?

Беседки, где бы можно было сидеть и поджидать, у нас в саду не было. Поэтому взамен её мы с Серёжей накануне соорудили из снега настоящую крепость. А чтобы наблюдать из неё за точком, проделали в снежных стенках несколько глазков. Для сидения поставили два толстых чурбана. Позади одного даже врыли в виде спинки ставню от окна. Это — Михалычу. Получилось прямо настоящее кресло, только подлокотников не хватало.

Ещё в субботу пригласили в сад Михалыча «для примерки». Он, кряхтя и отдуваясь, но с явным удовольствием влез внутрь крепости, уселся в «кресло» и сказал:

— Превосходно!

Даже папиросу там выкурил. Значит, всё в порядке. Только бы в воскресенье погода дело не подпортила.

Но погода с утра оказалась отличная. Ясная, тихая, с лёгким морозцем.

И вот мы с Михалычем прямо после утреннего чая оделись потеплее — и в сад.

Михалыч устроился поудобнее в самодельном кресле, огляделся по сторонам и весело продекламировал из «Горя от ума»:

За третье августа: засели мы в траншею:

Ему дан с бантом, мне на шею.

Посмотрим, у кого сегодня дело с бантом получится: у нас или у Петра Ивановича?

— Конечно, у нас! — уверенно заявил я. — Я ведь каждое утро птиц к нашему точку приманивал, а Пётр Иванович не очень-то это делает. Когда подсыплет приманку, а когда и забудет.

— Ну, поглядим, поглядим, — ответил Михалыч. — Заранее петушиться нечего. Цыплят, говорится, по осени считают.

— Да, а кто же у нас за верёвку дёргать будет? — небрежно, как бы о чём-то совсем незначительном, спросил я.

— Мне кажется, — так же небрежно ответил Михалыч, — лучше первому дёргать мне. У меня, знаешь, рука понадёжней, потвёрже. А то ты, пожалуй, ещё заволнуешься, всё дело испортишь.

— Почему заволнуюсь, почему испорчу? — вспыхнул я. — Я каждое воскресенье ловлю, а вы только первый раз.

— Ах, ты вечно о глупостях споришь! — немного раздражаясь, ответил Михалыч. — Ну хорошо, давай жребий бросим.

— Вот это дело!

Жребий бросили. Дёргать за верёвку досталось мне.

— Ну, только не торопись, не волнуйся! — поучал Михалыч. — Слушай, когда я скамандую.

«Почему я должен его команду слушать? — с возмущением думал я. — Первый раз ловит, а уже командир!» Но я не хотел ссориться и ничего не ответил.

Мы замолчали, стали пристально смотреть каждый в свой глазок.

Вот на точок прилетела синица, за ней вторая, третья.

— Дёргай! — шепнул Михалыч.

— Зачем? Мы же их не ловим, только пугать.

— Попробуем, как сеть действует.

«Э, нет, — подумал я, — меня не проведёшь: я дёрну, а потом его очередь».

С самым невинным видом я передал Михалычу конец верёвки:

— Дёрните, если хотите проверить.

— Нет, правда, не стоит их зря пугать, — с таким же невинным видом ответил он.

Мы отлично без слов поняли друг друга.

Прошло с полчаса. Синицы одна за другой так и летели на наш точок. Потом пожаловала целая стайка воробьёв. Они тоже расселись на точке и начали торопливо клевать коноплю.

— Вот и воробышки прилетели позавтракать, — добродушно сказал Михалыч. — Хоть и вороватая птица, а люблю их. Уж больно они весёлые, говорливые. Особенно весной, такой крик поднимут... А ведь теперь, брат, и до весны не так уж долго осталось, доживём как-нибудь.

Я утвердительно кивнул головой.

Меня начинало тревожить: «Почему же ни щеглы, ни снегири к нам не прилетают? Может, они и совсем в наш сад залетать не будут, может, он им чем-нибудь не по душе. Зря тогда мы с Серёжей и точок расчищали и крепость строили. Всё зря». Но главное меня беспокоило, что сейчас делается в саду Петра Ивановича. Наверное, он уже парочку щеглят накрыл, а может, и куда больше. Вот обидно-то будет. Он, конечно, не скажет, но подумать подумает: «Ну какие они птицеловы, куда им со мной тягаться».

От таких мыслей на душе становилось тревожно и горько. Даже не радовало чудесное зимнее утро.

А утро было действительно на редкость — как будто серебряное. Густой иней убрал, опушил все ветви деревьев. Даже каждая самая тоненькая веточка была украшена длинными блестящими иглами.

Синее небо, и на его фоне серебряные кроны деревьев. Что может быть величественнее и красивее этого? Но мне, признаться, в тот день было не до созерцания красоты.

Прошёл ещё час. Шапка на голове Михалыча, его брови и усы заиндевели, и он стал походить на сказочного деда-мороза.

Вероятно, для большего сходства он изредка негромко, внушительно побрякивал.

Но ожидаемое часто приходит тогда, когда уже отчаешься его ждать. Так случилось и в этот раз.

Михалыч уже несколько раз поглядывал на лёгкий дымок из кухонной трубы и наконец робко произнёс:

— А не пора ли нам пойти закусить?

— Подождём ещё хоть немножко! — взмолился я.

— Да чего же, собственно, ждать? Видишь, не летят сегодня.

— Может, прилетят.

— Очень сомнительно. Ну, подождём ещё с полчаса, — вздохнув, согласился Михалыч.

Однако ждать нам не пришлось. Почти тут же мы вдруг услышали звонкие, переливчатые голоса. И делая стайка довольно крупных птиц, величиной со скворца, расселась по верхушкам деревьев.

Я замер от восторга и тайной надежды. Таких красавцев я видывал только на картинках. Это были свиристели, наши зимние гости с далёкого севера — из тайги.

Пёрышки у них были коричневато-розовые, крылья и хвост чёрные с белыми, жёлтыми и малиновыми полосками. Но особенно хорош был хохол на голове, как будто лихо зачёсанный к затылку.

Свиристелей явно прельстили ярко-красные ягоды рябины, развешанные пучками на соседних с точкой деревьях и по кустикам на самом точке.

Проголодавшиеся птицы, не задумываясь, подлетели к ягодам на деревьях и давай их клевать.

Я натянул верёвку. Сейчас слетят на точок. Так и есть! Один уже слетел на кустик посреди точка. Вот и другой.

— Лови, лови! — зашептал мне Михалыч.

Я судорожно затряс головой: «Рано. Сейчас и другие подсядут».

— Лови, улетят! — И Михалыч потянулся к верёвке.

Я хотел отстраниться, нечаянно дёрнул сам, да слабо. Сетка как бы нехотя взвилась и упала на точок, укрыв его только наполовину. Вся стая свиристелей взвилась и улетела.

— Что вы наделали?! — в отчаянии завопил я, чувствуя, что сейчас расплачусь.

— А ты что ж не ловишь? Заснул, что ли?

— Да они все бы к нам слетели. Эх, вы! Не буду с вами ловить. Ловите один!

— И я, уже не в силах сдержаться, разревелся и побежал домой.

— О чём ты плачешь? — перепугалась мама.

— Михалыч... Михалыч всё дело испортил! Я бы свиристелей поймал, а он испортил.

— Не плачь из-за пустяков, — старалась успокоить мама, — ещё прилетят, ещё поймаешь.

— Нет, не прилетят! Редкие птицы. Больше не прилетят.

Пришёл Михалыч. Вид у него был крайне смущённый.

— Ну, извини, брат! — подошёл он ко мне.— Ну, давай мириться. Правда, погорячился я малость.

Мир у нас состоялся очень скоро. И, чтобы хоть чем-нибудь меня утешить, Михалыч предложил пойти в кабинет проверить, в каком состоянии находится его ружьё, промазать его ещё разок. Да и поднабить патронов к будущей весенней охоте.

Я быстро развеселился. Вечером пришёл Пётр Иванович, принёс нам пойманных им трёх щеглов. Михалыч рассказал ему о том, как он помешал мне поймать свиристелей и выйти победителем в сегодняшней ловле.

Пётр Иванович слушал внимательно, кивал головой, а потом сказал:

— Хуже быть не может, когда двое за верёвку хватаются. Тут обязательно осечка получится.

С общего согласия решено было сегодняшнее состязание в ловле не считать.

Всё это было очень хорошо. Одно плохо, что свиристелей уже не вернёшь. Забегая вперёд, скажу: это была единственная возможность поймать северных залётных гостей. Больше ни к нам, ни к Петру Ивановичу эти птицы в сад не залетали.

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ

Вскоре со мной произошло одно маленькое происшествие. Оно случилось тоже в нашем саду.

Посреди сада рос большой старый дуб. Его ствол был узловатый, суковатый, и по нему очень удобно забираться довольно высоко до развилки толстых сучьев. В этой развилке мы с Серёжей летом частенько сживали. Зимой на дуб ни я, ни Серёжа не лазили: и лезть в тёплой курточке неудобно, да и делать на дереве нечего — холодно и ветер насквозь пронизывает.

Но однажды мне пришла в голову блестящая идея. В передней у нас в уголке стоял большой дождевой зонтик Михалыча. Осенью, а то и летом Михалыч часто брал его с собой, когда во время дождя ходил к больным. Зимой же зонтик стоял без всякого употребления.

«А что, если взять его, залезть с ним на дуб, раскрыть там зонтик да и спрыгнуть с ним в снег. Никогда не упадёшь, если крепче держать двумя руками; так и спустишься вниз, как огромный осенний лист».

Сказано — сделано. И вот я, выбрав подходящий денёк — тихий, не холодный, забрался с зонтом на дуб. Забрался и поглядел вниз. Во дворе за забором мама кормила кур.

Какая удача, что ветерок дует как раз в направлении двора. Воображаю, как изумится мама, когда я пролечу над её головой и крикну: «Здравствуй!» Наверное, я опущусь уже за двором на улице. Только бы под лошадь не попасть. Я посмотрел на улицу. Пусто, ни одной подводки. Я раскрыл зонтик. «Ну, раз, два, три!»



Прыжок. Какой-то треск сверху. Зонт вырвало из рук, и я, считая сучья, полетел на землю. Хорошо, что сучья не дали сразу упасть, хорошо, что внизу был снежный сугроб.

Я сразу же вскочил на ноги, глянул на дуб. Мой зонт, вывернутый вверх, беспомощно качался на сучьях. С огромным трудом я достал его оттуда. Весь он был перекорёжен, никак не закрывался. Кое-как я всё-таки

его закрыл.

Счастье, что мама ничего не видела. Я крадучись пробрался в переднюю, поставил изуродованный зонт на прежнее место и как ни в чём не бывало снял тёплую курточку.

«Боже мой, да она вся изорвана! Всюду клочья ваты торчат. Будто меня целая стая собак рвала». Ничего не поделаешь, придётся просить маму зашить. Но что ей скажешь, как я так изодрался? Открыть всю правду опасно — может очень рассердиться. Скажет: ещё руки-ноги переломает. Ну, придумаю что-нибудь.

Пришёл через часок в мамину комнату. Как можно ласковее прошу:

— Мам, зашей, пожалуйста, дырочку.

Мама только взглянула на меня, даже руками всплеснула:

— Кто ж тебя так изодрал? Всё лицо в царапинах! Подрался, что ли?

— Нет, я упал немножко.

— Упал?! — изумилась мама. — На что же ты так упал? На колючий куст?

— Да, там в саду кустик один, смородины...

Мама поглядела на мою куртку:

— Батюшки мои! И вся куртка в клочьях. Нет, это ты врешь, что на куст упал. Сознаться сейчас же, кто тебя так разукрасил!

В это время в комнату вошёл Михалыч.

— О-о-о! Хорош! — воскликнул он. — Как воронами весь исклёван. Где ж это ты умудрился?

Ничего не поделаешь, пришлось признаться.

К моему изумлению, мама не очень рассердилась. А когда я рассказал, как хотел пролететь над ней и поздороваться, даже рассмеялась.

И Михалыч веселился от души.

— Ах ты, горе-воздухоплаватель! — сказал он, потрепав меня по плечу. — Выдрать бы тебя следует, вконец сломал мой зонтик. Ну, да не буду драть, пусть это Елизавета Александровна за меня сделает. Её, сам говоришь, особо просить не приходится.

Михалыч напророчил. Вечером, готовя уроки, я зазевался и нечаянно перевернул локтем чернильницу. И на клеёнку и на скатерть — всюду попало.

Бабка Лизиха пришла в ярость. В этот вечер я первый раз в жизни отведал линейки.

— С боевым крещением! — весело поздравил меня Коля, когда мы уходили домой.

— Спасибо. Желаю тебе завтра такой же удачи! — отвечал я.

Хоть в этот вечер сидеть за ужином на стуле было не очень удобно, даже просто больно, но я чувствовал себя героем: будто породнился и с Колей и с Борисом. Кроме того, я понял, что быть выдраным не так уж страшно, зато почётно в глазах товарищей, а ради этого стоит и потерпеть.

У ДЕТЕЙ НУЖНО ВОСПИТЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО УМ, НО И ЧУВСТВА

Это случилось примерно за месяц до зимних праздников. Однажды, после того как мы в школе позавтракали и уже вновь собирались засесть за свои занятия, бабка Лизиха неожиданно сказала:

— Заниматься сегодня больше не будем. Живо сдвигайте все столы к стенке, а стулья выносите в другую комнату.

Мы изумились: «Зачем это? Наверное, хочет убирать комнату к праздникам». Но спросить, конечно, никто не решился. Да и не всё ли равно? Главное, что учение на сегодня кончено, а это самое приятное. И мы с большим рвением принялись за работу. А сама Лизиха, сидя в сторонке на своём кресле, только руководила всем да изредка покрикивала:

— Борис, не сломай стула, неси осторожней, это тебе не мешок с мукой!.. Николай, зачем столько книг набрал?! Чтобы уронить всё? Держись у меня тогда!.. Митенька, не двигай этот стол, не надорвись, родной!..

Но никто ничего не сломал, не уронил, Митенька не надорвался, всё обошлось благополучно. И через полчаса уже большая часть комнаты оказалась совсем свободной.

— Ну, теперь слушайте меня, — сказала Лизиха. — Скоро праздники. Вы все, наверное, пойдёте в гости, на ёлку. А что там будете делать?.. Ну, хоть ты? — Она ткнула пальцем в Бориса. — Что ты в гостях будешь делать?

— Не знаю, — засмутился тот.

— Как так не знаешь? Отвечай, а то худо будет! — прикрикнула Лизиха и потянулась к линейке.

— Пирог буду есть, — поспешно ответил Борис.

— Так всё время и будешь пироги лопать?

— И чай с конфетами пить, — добавил, улыбаясь, Боря.

— Потому ты такой и толстый, потому тебя линейкой и не пробьёшь, что всё время лопаешь... — внушительно пояснила Лизиха. — Нет, ребята, в гостях не только лопать до упаду нужно, надо и развлекаться, надо уметь танцевать. — Она сделала паузу и торжественно добавила: — Вот я вас сейчас и буду этому учить. Прежде всего мы разучим вальс. Ну, становитесь в пары. Каждый кавалер пусть выберет себе даму.

Мы стояли оцепенев.

— Ну, что же вы?

Никто не двинулся с места.

— Стесняетесь? Тогда я сама вам выберу. Борис, становись с Клавочкой. Николай, пригласи Ольгу. Юра, не прячься за дверь, бери в пару Соню...

В один миг все стали в пары. Ребят оказалось больше, чем девочек. Поэтому Лизиха велела оставшимся мальчикам стать в пары друг с другом.

Ах, как я позавидовал им! Я стоял рядом с Соней и чувствовал, что весь даже вспотел от страха перед предстоящим обучением. Танцевать я совсем не умел и очень стеснялся своей неловкости. А тут ещё нужно было при всех обнимать девочку и кружиться с ней по комнате. «Ну как ещё зацеплюсь за что-нибудь и упаду? — в ужасе думал я. — Уж лучше лишний час бы задачи решать, чем эта мука».

Расставив всех парами, Лизиха вошла в круг и немного приподняла юбку, из-под которой выглянули полосатые шерстяные чулки и стоптанные ночные туфли.

— Смотрите на мои ноги! — приказала она. — Вальс танцуют в три такта. Раз — кавалер делает левой ногой шаг назад, два — приставляет другую ногу, три — плавный поворот на полкруга... Ну, девиц учить нечего, наверное, и так все умеют. Умеете?

Все девочки кивнули головами.

— Прекрасно. Начали!

Лизиха подошла к стоявшему в углу пианино и стала медленно наигрывать вальс «Лесная сказка». В это же время она громко считала:

— Раз, два, три.., раз, два, три..

Мы сдвинулись с места и вразнобой, не в такт поползли вдоль стены.

От волнения и страха я уже не слышал ни музыки, ни счёта бабки Лизихи, а просто мелкими шажками семенил, вертясь вокруг самого себя. Соня делала что-то совсем другое и изо всех сил тянула меня куда-то вперёд. Я не поддавался. От напряжения Соня совсем запыхалась, покраснелась, и у неё даже капельки пота выступили на лбу.

Я чувствовал, что с непривычки голова у меня начинает кружиться. «Сейчас наскочу на дверь и упаду! — в ужасе подумал я. — Господи, помоги, чтобы не упасть!»

Но в этот критический для меня момент вдруг раздался плачущий голос Клавочки:

— Борька, да что ж ты делаешь?!

Лизиха оборвала музыку:

— Что такое? Что он делает?

— Все ноги мне истоптал! — сквозь слёзы пробормотала Клава.

— Борис, ты что безобразничаешь?! — сурово прикрикнула бабка Лизиха.

— Я не безобразничаю, — тоже чуть не плача, отозвался Борис. — Я не умею танцевать. Лучше уж высеките, только отпустите.

— Высечь я тебя и так высеку! — сурово заявила Лизиха. — А танцевать ты у меня всё равно будешь.

— Ой, господи! — заплакала Клава. — Дайте хоть немножко ногам отдохнуть.

— Успокойся, — ответила бабка Лизиха, — больше тебя с ним танцевать не заставлю. Потанцуй теперь с Серёжей, а с Борькой я сама буду.

Она встала из-за пианино:

— Ольга, умеешь вальс играть?

— Я только один — «Две собачки» — умею.

— Ну, собачки так собачки. Только играй помедленнее. Борис, ко мне! — приказала она.

— Не могу я, — засопел Борис, — у меня живот заболел.

— Это от пирогов, а не от танцев, — пояснила Лизиха. — Потанцуешь, всё внутри утрясётся и пройдёт. Иди, иди сюда, становись вот так... Теперь обними меня за талию.

— За какую? — забормотал Борис.

— Дурак! — Лизиха схватила Борькину руку и обвила ею вокруг своего необъятного туловища. — Вот это и есть у женщин талия. А теперь начали! Ольга, играй: раз, два, три... раз, два, три...

Мы снова задвигались. Но теперь двигаться было уже не так страшно — никто ни за чем не следил, всё внимание было обращено на первую танцующую пару.

Я смотрел на Лизиху и Бориса и вспоминал, как к нам в Чернь один раз приехал балаган. Там, среди прочих номеров, был тоже танец. Под шарманку танцевали медведица с поросёнком. Теперь Лизиха с Борисом очень походили на ту самую танцующую пару. Оба были толстые, оба красные от напряжения. У Бориса на лице написан ужас, а у Лизихи такое выражение, будто она его сейчас съест.

— Раз, два, три... Раз, два, три... Борька, шевели ногами, а то выпорю!

— Я же шевелю.

— Не в такт шевелишь.

— Я не знаю, что вам от меня нужно. Отпустите бога ради!

— А вот сейчас узнаешь...

Лизиха правой рукой привычно взялась за борькино ухо:

— Я тебя в такт буду поддёргивать, сразу поймёшь. Ну, сначала: раз, два, три... раз, два, три...

Необыкновенный танец продолжался. Проползая мимо дверей, я ненароком взглянул в них и сразу остановился. В дверях, широко раскрыв от изумления рот, стояла мама.

— Мамочка! — бросился я к ней, оставив в одиночестве свою даму.

Все обернулись в нашу сторону.

— А, Надежда Николаева к нам пришла! — отпуская Борькино ухо, воскликнула Лизиха и поспешила к маме. — А мы, видите, к праздникам готовимся, вальс разучиваем, — пояснила она маме, которая никак не могла оправиться от изумления.

Мама обняла бабушку Лизиху:

— Дорогая моя, ну, вы просто необыкновенная! Как вас на всё хватает — и уроки, и танцы!..

— Хватает. Пока, бог милостив, на всё хватает. Только они вот не ценят меня, даже сердятся за то, что я их уму-разуму обучаю. Вот Борюшка никак танцевать не хочет. Я уж его шутя за ушко водила.

— Да, да, шутя! — проворчал со своего места Борис, трогая красное и распухшее, как лопух, левое ухо.

— Ты что там, Боренька, говоришь? — ласково и в то же время значительно переспросила бабушка Лизиха.

— Я ничего не говорю! — сурово буркнул он.

— Не говоришь, ну, значит, мне так показалось. — И Лизиха продолжала рассказывать маме о том, что у детей надо воспитывать не только ум, но и чувства, нужно развивать ловкость и грацию.

Мама со вниманием слушала и кивала в знак одобрения.

Приход мамы нас всех очень выручил, так как танцев в этот день больше не было и мы, быстро поставив на место столы и стулья, разошлись по домам.

Придя домой, мама с восторгом начала рассказывать Михалычу, какая Елизавета Александровна удивительная женщина, что она нас не только наукам обучает, но даже сама лично учит танцевать.

— Сама?! Танцевать?! — изумился Михалыч. — И сама тоже танцует?

— Ну да, конечно.

Михалыч расхохотался:

— Дорого бы я дал — посмотреть на это зрелище!

Мама, не выдержав, тоже улыбнулась:

— И ты знаешь, с кем она танцевала в паре?

— С кем? Со своим дедом, что ли?

— Нет, что ты, что ты! Он ведь церковный староста. Какие же с ним танцы. С внуком, с Борисом.

Михалыч снова расхохотался:

— Это с тем, кого вожжами порола?

— Вот именно. Да ещё как танцевала! Он её за талию держит, а она его за ухо.

— Ой, умру, ой, умру!.. — хохотал Михалыч, так что слёзы выступили из глаз.

— А линейка-то в такт по заду не подшлёпывала?

— Нет, линейки я не заметила, — тоже смеясь, отвечала мама.

Идея выучить нас танцевать крепко засела в голове нашей наставницы. Ещё хуже было то, что Лизиха решила перенести эти уроки на воскресные дни и тем самым лишила нас последнего отдыха.

Но, к нашему счастью, уроки танцев вскоре закончились, и притом совершенно неожиданно, раз и навсегда.

Помню, мы, так и не освоив вальса, приступили к изучению краковяка. И вот в самый разгар танца, когда всё кругом походило на шабаш ведьм на Лысой горе, входная дверь вдруг отворилась, и в комнату вошёл сам Иван Андреевич.

Как раз в это время Елизавета Александровна, приподняв юбку, показывала нам какое-то па.

Иван Андреевич так и остолбенел на месте. Мы все тоже замерли.

— Это что же такое значит? — слышался в тишине его негромкий суровый голос.

— Это... это... дедушка, я ребяток танцевать учу, — робко и конфузливо заговорила Лизиха.

— Ребяток, танцевать? Так, так, — Он помолчал и потом всё так же тихо, не повышая голоса, добавил: — Ну вот что, Елизавета Александровна, мой дом не для того, чтобы в нём плясать. Я его не для плясок построил. Хотят ребята

дурачиться, пусть на двор идут, а у меня в доме прошу больше этой комедии не устраивать! — И он, повернувшись, пошёл к себе в спальню.

Тут бабка Лизиха струхнула не меньше нас самих.

— Дедушка не в духе, дедушка сердится! — залепетала она. — Расставьте мебель и расходитесь с богом, только потихоньку, не шумите.

Мы оделись и вышли из дома.

— Вот деду-то спасибо! — с облегчением вздохнул Борис. — А то бы она до праздников всё ухо мне напрочь оторвала.

Больше танцам нас ни разу не обучали.

ПОДЛЕЦ

Зима была в полном разгаре.

Приближались зимние праздники. И чем они были ближе, тем мучительнее становилось их ожидание. Мне просто не верилось, что я на целых две недели освобожусь от вставания по утрам затемно, при лампе, освобожусь от зубрёжки, от брани бабки Лизихи, смогу гулять, кататься на санках и ловить птиц сколько мне будет угодно.

Да когда же наступит это счастливое время? Нет, я не доживу до него.

Серёжа тоже мечтал о праздниках. Ведь он тогда уедет в Москву к своей маме, побывает в театре, а может, даже в цирке.

Но пока всё это было только в мечтах. А на деле приходилось по-прежнему ежедневно ходить в школу и готовить уроки.

Елизавета Александровна, наверное, тоже устала. Во всяком случае, день ото дня она становилась всё злее и придирчивее. Бориса уже дважды пороли вожжами в спальне. Колька ходил с подбитым глазом. Лизиха хотела ударить его по плечу, а он пригнулся — вот и получил синий фонарь под глазом. Ольга, несмотря на свой двадцатилетний возраст и внушительный вид совсем взрослой барышни, терпела такую же печальную участь.

Бабке Лизихе как будто даже доставляло какое-то особенное удовольствие ставить Ольгу на колени рядом с нами, ребятами, и так же отделять её линейкой.

Казалось, Лизиха хотела этим сказать: хоть ты и взрослая, а раз уж попала ко мне, изволь подчиняться и терпеть, как все другие. Мне наплевать, что ты уже взрослая. Не хочешь терпеть — выходи замуж.

Собственно, всё это Лизиха не раз и высказывала при нас самой Ольге. Та только молчала да, когда уже не хватало никакого терпения, горько плакала.

Один только Митенька благоденствовал по-прежнему.

После неудачного диктанта, когда у него отобрали книжку, он, видимо, так «расстроился», что в каждом диктанте стал делать не менее десяти, а то и пятнадцати ошибок. Но бабка Лизиха скоро и с этим примирилась. Правда, по

вечерам она занималась с ним особо, заставляла списывать с книги и даже диктовала ему отдельно. Но успехи были не такие уж блестящие.

— Ну что, без книжечки-то не вытанцовывается? Опять десять ошибок насажал, меня догоняешь! — поддразнивал его Николай.

Митенька при этом от злости бледнел, но ничего не отвечал. Только один раз со слезами в голосе сказал:

— Бог тебя за меня накажет. Вот увидишь, накажет!

— За тебя-то? — удивился Колька. — Да он меня наградит ещё, что я тебя на чистую воду вывел.

Эта лёгкая перебранка заклятых врагов произошла на большой перемене. После перемены в тот день все решали трудные арифметические примеры и потому, чтобы немного освежиться, то один, то другой удалялись в переднюю и дальше в сени, якобы «по необходимости».

Ушёл даже самый прилежный — Митенька, ушёл и что-то долго не возвращался.

А вот и Коля решил немного освежиться. Он вышел в переднюю. И вдруг оттуда донёсся его яростный крик:

— Ты что здесь делаешь? Дай сюда!

Послышалась возня.

Елизавета Александровна встрепелась:

— Колька, в чём дело? Иди сюда!

Колька влетел в комнату весь красный, задыхаясь от бешенства:

— Он, он! Сволочь!.. Он — часы, мне в карман... Вот, глядите!

— Кто? Какие часы? — изумилась бабка Лизиха.

— Ваши, ваши часы! В карман суёт! А я вхожу, увидел. Вот он!

Все обернулись к передней. В дверях стоял Митенька, бледный как смерть.

— Митя мои часы тебе в карман совал? — спросила Лизиха. — Что ты врёшь! Зачем?

— Не знаю. Чтоб вы искать начали. Чтоб подумали — я их взял. Чтобы... — Колька остановился, поражённый какой-то мыслью, вдруг даже завизжал от злости: — Он! Он и тогда — Ваське! Он... кошелёк. Васька не брал! Он, он... подлец!..

Все вдруг поняли, о чём кричит Коля. Поняла и Елизавета Александровна.

Она встала и подошла к Мите:

— Говори, зачем часы ему совал?

— Я пошутил, — чуть слышно ответил тот.



— Пошутил? — как-то загадочно проговорила Елизавета Александровна. — И тогда тоже пошутил?

Она вдруг взяла Митю за воротник курточки и стала дрожащими руками расстёгивать.

— Что вы, что вы!.. — залепетал он.

Елизавета Александровна вытащила из-под воротника крест на тонкой золотой цепочке:

— Целуй крест, клянись, что не ты кошелёк положил!

Митя весь затрясся.

— Целуй, говорю, и помни: руки-ноги отсохнут, если, если соврёшь!

— Простите меня! — завизжал Митя, бросаясь на колени, схватил руку Лизихи, начал её целовать, — Простите, простите меня! Я больше не буду!

— Подлец! Иуда!.. — заорал в исступлении Колька, готовый броситься на Митеньку.

— Николай, на место! — приказала Елизавета Александровна.

Все разом притихли.

— Встань, Митя! — сказала она взволнованным, но твёрдым голосом. — Не проси! Бог тебя простит. Собери книжки и уходи. Больше ты у меня учиться не будешь.

Митя понял, что просить уже не стоит. Он встал и, опасливо поглядывая в сторону Николая и Бориса, быстро собрал свои книжки и тетрадки.

— До свидания, Елизавета Александровна, — сказал он серебряным голоском, будто ничего и не случилось.

Елизавета Александровна не ответила.

Митя подождал секунду: не простит ли? И, не дождавшись, вышел в переднюю.

Хлопнула выходная дверь.

Все сидели молча, будто придавленные страшной новостью.

Потом Елизавета Александровна обратилась к Коле:

— Сходи к Марье, Васиной матери. Скажи, что Елизавета Александровна её просит сейчас же прийти. Если Вася дома, пусть тоже придёт. Скажи — я очень прошу.

Все мы продолжали сидеть за книгами, но ничего не учили. Да и Лизиха не требовала. Она сидела за столом, облокотив голову на руку, и будто никого из нас не замечала.

Не знаю, сколько времени длилось это мучительное ожидание.

Несколько раз Лизиха даже вставала и выходила в переднюю, послушать — не идут ли. Слушала, снова устало садилась в своё кресло.

Наконец послышались шаги. Пришли. В комнату вошёл Коля и следом за ним худая немолодая женщина в поношенном пальто и в платочке.

Она не вошла в комнату, а остановилась в дверях и низко поклонилась Елизавете Александровне.

— Здравствуй, Марья! — сказала бабка Лизиха, вставая навстречу. — Проходи, проходи сюда!

— Благодарствуйте. Я и тут постою, — ответила женщина.

Бабка Лизиха подошла к ней и положила руку на плечо,

— Виновата я перед тобой, Марья! — сказала она дрогнувшим голосом. — Перед тобой и перед Васей. Не брал он денег, зря мы все на него подумали.

— Зачем все? — тихо ответила Марья. — Мы не думали, мы знаем, что он не вор.

— Грех попутал, уж ты прости! — И она поцеловала Марью в щёку,

— Что ж, бог простит, — ответила та. — Конечно, уж очень тяжело, уж очень прискорбно тогда было! Вася чуть руки на себя не наложил. Э, да чего зря вспоминать! — добавила она.

— Да, да, что об этом вспоминать! — подхватила Лизиха. — Правильно говорится: кто старое помянет, тому глаз вон. А что же Васенька-то с тобой не пришёл? Прикажи ему, чтобы завтра же приходил утром. Скажи: бабушка Елизавета Александровна его ждёт, о нём очень соскучилась.

— Нет уж, благодарим вас, — сухо ответила Марья. — К чему ему сюда идти после такого сраму...

— Да ведь всё же выяснилось! — перебила её Елизавета Александровна. — Никто про него и не думает плохо.

— Это верно, — так же сухо ответила женщина. — Только ходить ему на учёбу будто и не к чему. Он уж в переплётную ходит, книги переплетать обучается. Ну и пусть. Всё-таки к делу привыкает, да и копейка в дом.

— Слушай, Марья, — сказала ей Елизавета Александровна, — посуди сама: разве дело, чтобы Васенька так недоучкой и остался? Денег нет, так я же его как учила бесплатно, так и буду учить. Всё по-старому так и останется.

— Нет уж. Мы премного вам благодарны, — отвечала тем же деревянным голосом женщина, — а в обучение его не отдам. Хорошо, что тогда в острог его не посадили. Слава богу, цел, невредим остался. Много вами, сударыня, довольны.

— Ну, как знаешь, — сухо ответила Елизавета Александровна, отходя в сторону. — Я же хотела Васеньке помочь.

— Много вами довольны, — повторила женщина.

Обе замолчали. Елизавета Александровна не знала, что ещё сказать.

— Можно идти мне? — спросила Марья.

— Ступай, если хочешь, — пожала плечами Елизавета Александровна. — Я тебя не держу.

Женщина вышла в переднюю.

— Стой, стой! — закричала ей вслед Елизавета Александровна. — Если Васенька всё-таки надумает учиться, пусть когда хочет приходит. Я ему всегда рада. Да постой же ты!

Марья опять появилась в дверях.

Елизавета Александровна встала, подошла к буфету и достала из него горсть леденцов — тех самых, которыми всегда потчевала Митеньку.

— Вот, — сказала она, протягивая женщине конфеты, — передай от меня Васеньке.

— Премного вам благодарны, — поклонилась женщина, не двигаясь с места.

— Бери, бери, не стесняйся! Не тебе даю, а Васеньке.

— Не извольте беспокоиться. Он у нас к сладостям не привычен, ещё зубы разболятся.

Обе женщины стояли друг против друга, не двигаясь с места.

— Позвольте мне пойти? — опять спросила Марья. — А то старик у меня один дома. Я ведь только на минутку к вам, как сами наказывали.

И, не дождавшись ответа, Марья потихоньку вышла в переднюю. Ушла.

Елизавета Александровна постояла, потом резко повернулась к буфету и швырнула на полку леденцы.

— Хамка, тварь неблагодарная! — раздражённо крикнула она в пустую переднюю.

Оттуда никто ей не ответил.

НЕОТЛОЖНЫЕ ДЕЛА

Наконец-то настали долгожданные зимние каникулы. Как только нас отпустили из школы на праздники, Серёжа в тот же день уехал к своей маме в Москву. А мы с увлечением занялись подготовкой к ёлке. По вечерам мы с мамой доставали со шкафа из передней запылённые картонные коробки из-под старых шляп, стирали сырой тряпкой с них пыль и открывали крышки.

Из коробок весело выглядывал какой-то особый мир — мир праздников. Тускло поблёскивали перепутанные между собой серебряные и золотые нити «дождя», ёлочной канители. Будто сказочные расписные яблоки, лежали укутанные в вату разноцветные стеклянные шары.

А как хороши были ватные зайчики, белки, мишки!.. Как празднично сверкали усыпанные блёстками звёзды! И всё это было забрызгано жёлтыми застывшими капельками воска от свечей. И вся вата, как снег в лесу, усыпана сухой еловой хвоей.

Мы бережно вынимали каждую вещицу и проверяли: в порядке ли нитяная петля, за которую игрушку надо будет прицепить к сучку ёлки. Где нужно, привязывали новые петли. Потом мама доставала стеклянные разноцветные

бусы. Добрая половина их оказывалась побитой. Но это нас ничуть не смущало. Такова уж судьба этих бус — ежегодно биться, да так и висеть на ёлке разбитыми, похожими на раскрытые ракушки с серебряной сердцевинкой.

— Блестят, и хорошо, — говорила мама, откладывая бусы в сторону.

Наконец с самого дна коробки появился большой ватный дед-мороз. Вид у него был сильно помятый, будто заспанный. И неудивительно — попробуй-ка проспи в темноте на шкафу целый год, от елки до ёлки.

Мама бережно поправила на дедушке шапку, мешок с игрушками, который он нёс за спиной, немножко выправила голову, сильно склонившуюся на один бок от долгого лежания. Стряхнула со старика прошлогодние иголки. И дед-мороз снова стал «как молодой», готовый занять своё законное место под ёлкой.

Очень весело было перебирать старые ёлочные украшения, но ещё веселее — делать новые. Каждый год мы с мамой клеили из золотой и серебряной бумаги длинные блестящие цепи и маленькие корзиночки. В каждую корзиночку клалась конфета. И до чего же вкусны оказывались потом эти конфеты с ёлки, немного подсохшие, пахнущие хвоей, куда вкуснее свежих, из магазина.

В самый разгар такой весёлой предпраздничной работы в комнату частенько заходил и Михалыч. Он добродушно, но слегка иронически посматривал на наше занятие и говорил:

— Делать вам нечего! Клеят какие-то бумажные колечки! Ну зачем они? Украшений и так пропасть, вешать некуда.

На подобные замечания мы с мамой ничего не отвечали и продолжали своё занятие.

Постояв с минуту, Михалыч обычно присаживался тут же рядом на стул, закуривал папиросу и, лукаво улыбаясь, следил за работой.

— А ну-ка, Юра, дай и мне немножко поклеить, так и быть — помогу вам.

— Да ведь ты же глупостью это считаешь! — удивлялась мама.

— Конечно, глупость, — соглашался Михалыч. — Просто делать нечего, терпеть не могу сложа руки сидеть.

Я давал Михалычу лист золотой бумаги, запасные ножницы, кисточку для клея. И Михалыч с увлечением принимался за работу.

Сейчас же начиналось состязание: кто за час склеит больше колечек, у кого цепь выйдет ровнее и красивее. В пылу трудов мы не замечали, как летит время.

— Ужин подали, идите, а то остынет! — всегда неожиданно раздавался из столовой грозный приказ тётки Дарьи.

— Подожди, сейчас! — отвечала мама.

Тётка Дарья появлялась в дверях, суровая и непреклонная.

— Чего ждать-то? — гневно вопрошала она.

— А ты разве не видишь, что мы срочным делом заняты? — с возмущением вступался Михалыч.

— «Заняты, заняты!»! — передразнивала Дарья. — Тоже, подумаешь, дело!

— Конечно, дело! — убеждённо отвечал Михалыч. — И притом, учти, не терпящее отлагательства.

— Ну что же, не терпит, и не нужно, — равнодушно соглашалась тётка Дарья. — Не хотите, значит, есть, я ужин в кухню уберу.

И она не торопясь поворачивалась, собираясь уходить.

— Стой, стой! — испуганно кричал ей вслед Михалыч. — То есть как это уберёшь? Мы сейчас. Я ужасно проголодался.

И он, не доклеив свою цепочку, спешил в столовую.

НА ЁЛКЕ

Больничный сторож Дмитрий привёз из леса небольшую, но очень пушистую ёлку. Её внесли в дом, поставили в кадку с песком посреди кабинета, и сразу в комнате запахло свежей хвоей, смолой, запахло зимними праздниками.

Когда ёлка оттаяла и немного согрелась, мама разрешила мне начать её украшать. Сама она тоже принимала в этом участие.

Принесли лестницу-стремянку. Я забрался повыше, водрузил на верхушку ёлки блестящую звезду, а потом стал развешивать канитель, бусы, флажки и разные другие украшения. Мама украшала нижние ветви. Не прошло и часу, как деревце было уже полностью наряжено.

Пришёл из больницы Михалыч. Ещё раздеваясь в передней, он уже потянул носом и, подняв палец вверх, многозначительно сказал:

— Чую праздничный дух!

Потом вошёл в кабинет, с удовольствием оглядел украшенную ёлку и добавил:

— Угадал. Вот она какая красавица!

После обеда начались приготовления к праздничному вечеру. В кухне что-то стряпали. Оттуда с озабоченным видом то и дело появлялась мама или тётка



Дарья, поспешно шла в столовую, доставала из буфета блюдо или какую-нибудь миску и тут же исчезала в кухне.

Если мы с Михалычем к ним за чем-нибудь обращались, они только отмахивались: «Не мешайте, мол, не до вас теперь!» — и, не отвечая, спешили по своим очень срочным делам.

— Да-ас! — в раздумье сказал Михалыч. — К «начальству» теперь лучше не приставать, а то достанется на орехи. Давай-ка, брат, удалимся в тихую пристань и будем оттуда наблюдать за ходом событий.

Мы удалились в Михалычев кабинет, сели к письменному столу и начали перебирать, приводить в порядок в ящиках разные охотничьи и рыболовные принадлежности.

В одном из ящичков лежал потёртый толстый альбом с фотографиями. Я отлично помнил каждую из них, но всё-таки время от времени любил их снова рассматривать.

Это были очень старые, порыжевшие и выцветшие за долгие годы фотографии Михалыча и его приятелей, когда все они были ещё совсем молодые.

— Ну что, прогуляемся в страну былого? — предложил Михалыч.

— Конечно, прогуляемся, — охотно согласился я.

Мы уселись рядышком и начали перелистывать страницу за страницей.

— Вот это я ещё студент, — говорил Михалыч. — Боже мой, боже мой! И самому поверить трудно. А это мы с приятелем после охоты на зайчишек. Видишь: три штуки взяли, двух — я, а третьего — Сашка. Видишь, он своего за уши держит? Отличная была охота! — И Михалыч в сотый раз начал рассказывать мне про эту охоту.

Я знал весь рассказ наизусть, мог подсказать вперёд почти каждое слово. Но от этого прелесть рассказа ничуть не уменьшалась. Наоборот, с каждым разом он становился мне всё ближе, всё родней. Мне уже начинало казаться, что я и сам тоже участвовал в этой охоте.

Иногда Михалыч забывал и пропускал какую-нибудь подробность. Я тут же с жаром перебивал его, указывал на пропущенное.

— Ах, да, да, забыл совсем! — виновато говорил он.

В конце концов у обоих из нас создавалось впечатление, что мы вспоминаем что-то общее, вместе пережитое. И я даже частенько ловил себя на том, что фантазирую, сочиняю от себя всё новые и новые подробности.

Михалыч этого вовсе не замечал; ему самому, наверное, начинало казаться, что всё это не придумано, а именно так и было на самом деле.

И в этот раз мы с жаром принялись рассказывать друг другу о том, как Заливай погнал русака, как тот помчался прямо через деревню, чтобы сбить со следа собаку. Но Заливая, шалишь, не собьёшь!..

В самый разгар воспоминаний в кабинет вошла мама. Увидя нас, оживлённо беседующих у открытого альбома, мама от возмущения даже развела руками:

— Вот уж лодыри записные! Смотреть тошно!

— А в чём дело, мадам? Чем мы провинились? — осведомился Михалыч.

— Ещё спрашивает! Совести у вас нет, вот в чём провинились! — И она гневно продолжала: — Дел по горло. Мы с Дарьей с ног сбились, а они картинки в альбоме рассматривают!

— Но ведь нам не было дано никакого задания, вот мы и удалились, чтобы не мешать, — пытался оправдаться Михалыч.

— Никакого задания?.. А сами что же вы не видите, что людям помочь нужно?

— Да мы охотно поможем, — вмешался я. — Дай задание, мы его мигом выполним.

— Ну это другое дело, — немножко смягчилась мама. — Беги в кухню, возьми у Дарьи миску с изюмом, и аккуратно из каждой ягодки выдёргивайте хвостики. Чтобы мне живо весь изюм перечистить!

— Будет исполнено! — в один голос отрапортовали мы с Михалычем.

И я со всех ног помчался на кухню за миской.

— Только, смотрите у меня, ягоды не поешьте! — сурово предупредила мама, когда я вернулся с изюмом в кабинет.

— Что вы, мадам, за кого же вы нас принимаете? — с достоинством ответил Михалыч.

— А гоголь-моголь, помнишь? Заставила вас сбивать. Что из этого получилось?

Михалыч сделал рукой негодующий жест:

— Кто старое помянет, тому глаз вон. Мы же вам тогда ещё объяснили, что немного увлеклись дегустацией.

— Только теперь не увлекитесь. Изюму у меня мало. Съедите — нечего в плюшки будет класть.

— Можете сосчитать каждую ягодку, ни одной не убудет.

— Вот и прекрасно! — ответила мама и вышла из кабинета.

Мы с усердием принялись за работу. Не прошло и часу — весь изюм был перечищен.

— Ну что ж, будем надеяться, что «начальство» не очень точно осведомлено о количестве переданных нам продуктов, — проговорил Михалыч, не без тревоги заглядывая в кастрюлю. — Маловато осталось! — вздохнул он. — Достанется нам от Самой. Ох, достанется!

— Но ведь мы же отсюда все хвостики, все соринки повытащили, — возразил я, — вот и стало поменьше.

— Соринки, хвостики... Это верно, — кивнул головой Михалыч. — Ну, будь что будет, неси!

Не без волнения я отнёс в кухню скромные остатки изюма. К счастью, мама с тёткой Дарьей решали какой-то срочный вопрос — тащить что-то из печки или подождать. На меня не обратили внимания. Я поставил миску на стол и тут же исчез.

Наконец все приготовления были закончены. В столовой накрыли стол. Мы все приоделись и стали поджидать гостей. Жаль только, что гости были для меня совсем неинтересные — все взрослые.

В кабинете рядом с ёлкой уже поставили карточный столик. Значит, придут знакомые Михалыча, закусят и сядут играть в карты. И всё-таки я с нетерпением ждал этого вечера, ждал, когда зажгут ёлку. Ведь под ёлку мама с Михалычем обязательно положат мне какой-нибудь интересный подарок. Но какой именно?

По опыту прошлых лет я хорошо знал, что сколько ни спрашивай, ни у мамы, ни у Михалыча ничего не узнаешь. Мама только будет улыбаться и уверять, будто ничего в этот раз и не собирается мне дарить. А Михалыч погрозит пальцем и внушительно скажет: «Много будешь знать, скоро состаришься. Учти эту премудрость, друг мой, и не приставай».

Вот я и учёл всё это и, сгорая от любопытства, поневоле ждал вечера.

Понемногу начали сходитьсь гости. Пришли и Василий Андреевич с Аделаидой Александровной и даже Кока. Правда, он зашёл только на минутку — поздравить маму и Михалыча с праздником. Кока торопился куда-то в другое место, где собиралась молодёжь и будут танцы.

— Ну, как охотничьи делишки? — спросил у него Михалыч.

— Дела идут! — весело ответил Кока. — Вчера с отцом ездили к Шаховскому в лес, трёх русачков гоняли. Я одного стукнул, а вот папаша второго прямо из рук упустил.

— Ну, положим, что не из рук... — вмешался в разговор Василий Андреевич, — Посудите сами: гончие где-то впереди меня в лесу подлавливают, в следах разбираются. Я в их сторону и смотрю, караюлю косога. Вдруг слышу, Кока мне кричит: «Береги!» Обернулся, а русачина сзади меня. Сидит в кустах и к гончим прислушивается. Только я повернулся, вскинул ружьё — его и след простыл.

— Нужно не зевать, — весело возразил Кока, — во все стороны поглядывать, тогда не упустишь.

Я стоял тут же рядом с говорившими охотниками и с наслаждением слушал их разговор.

— Кока, поди ко мне! — позвала мама из кабинета. — Помоги мне, пожалуйста, ёлку зажечь.

— Можно и мне? — бросился я к маме.

— Нет, нет, посиди в столовой, — ответила мама. — Сейчас зажжём и тебя позовём глядеть.

Дверь в кабинет закрылась, но ненадолго. Вот её уже открывают вновь, и все идут глядеть на зажжённую ёлку.

Лампа в кабинете погашена, светится только ёлка. Десятки тоненьких восковых свечей горят в её густых зелёных ветвях. Они освещают пушистые концы ветвей, похожие на мохнатые лапы каких-то сказочных птиц.

В их неярком дрожащем свете таинственно и внушительно поблёскивают стеклянные шары, звёзды и гирлянды канители. Кажется, что ёлка вся убрана в настоящее золото, серебро, в сверкающие алмазы.

Я с восхищением взглядываю на это чудесное зрелище и спешу к ёлке. Вижу, под ней что-то белеется, какой-то свёрток. Беру его в руки и читаю надпись на бумаге: «Юрочке от Михалыча и мамы». Что же там может быть? Свёрток большой и тяжёлый.

Быстро разворачиваю бумагу. Внутри какой-то чёрный коробочек. Да это же фотоаппарат и к нему все принадлежности: ванночки для проявления снимков, пластинки в запечатанных коробочках, фотобумага в пакетиках. Какие-то картонные трубочки — наверное, проявитель и закрепитель. Даже фонарик с красным стеклом — всё есть.

— Теперь ты всех нас снимать будешь! — говорит Василий Андреевич. — Нас с Кокой снимешь, когда мы с охоты с зайцами приедем.

— Обязательно сниму! — обещаю я и бегу благодарить маму и Михалыча.

— Ну, понравился подарок? — весело спрашивает мама.

— Очень, очень понравился!

Михалыч хлопает меня по плечу и внушительно говорит:

— Этот подарок тебя ко многому обязывает.

— К чему же?

— А к тому, чтобы ты запечатлел на карточках, так сказать, увековечил для потомства всё живое, что тебя окружает. Вот это, например. — И он указывает на птиц, дремлющих в вольере.

— Да разве и их можно сфотографировать? Ведь они не будут спокойно сидеть.

— А для этого существует моментальный снимок. — И Михалыч указывает на какую-то блестящую кнопку в моём аппарате. — Подожди, братец, — добавляет он. — Вот дождёмся весны, отправимся с тобой в лес. Таких снимков там понаделаем!

— Ой, как здорово! — хлопаю я в ладоши и бегу в спальню, чтобы разложить все принадлежности и как следует ими полюбоваться.

Но долго любоваться моими сокровищами мне не пришлось. В комнату вошла мама и сказала:

— Юрочка, к тебе гость пришёл и тоже подарок принёс, да ещё какой подарок!

Я опрометью бросился в кабинет, где находилась ёлка.

Посреди комнаты стоял Пётр Иванович. Его окружили все гости и что-то с интересом рассматривали.

— А, сынок! С праздником поздравляю! — приветствовал он меня. — Вот тебе подарочек принёс.

Окружавшие слегка раздвинулись, и я увидел в руках Петра Ивановича небольшую клетку, а в ней что-то серое, пушистое.

— Белка! — изумился я. — Откуда? У вас ведь не было.

— Не моя. Сам для тебя выпросил. У товарища выпросил, — говорил Пётр Иванович, передавая мне клетку со зверьком. — Она ручная, совсем ручная. По комнате бегают и сама в клетку заходит. И загонять не нужно.

Я не знал, как и благодарить за такой подарок. Хотел тут же выпустить белку из клетки, но Пётр Иванович сказал, что не нужно. Пусть денёк-другой оглядится в новом месте, попривыкнет, да и до ёлки её допускать нельзя, украшения может сбросить, побить, попортить.

— Вот нам отличный объект для фотографии, — сказал Михалыч. — С него мы и начнём наши съёмки живой природы.

Я взял клетку с белкой, понёс в спальню. И Петра Ивановича потащил с собой, чтобы показать свой фотографический аппарат и все принадлежности.

Пётр Иванович сказал, что это замечательная вещь и очень нам нужная.

— Мы теперь, сынок, всех наших пташек переснимаем. Весной выпустим каких на волю — они улетят, а карточки их на память останутся.

Мы с Петром Ивановичем уселись на диванчик. На столе перед нами лежали все мои сокровища: и аппарат, и принадлежности для проявления, и клетка с белкой.

Я приоткрыл дверцу клетки, просунул туда руку, угостил зверька кедровыми орешками.

Белка сейчас же уселась рядом, начала брать с ладони орешек за орешком и тут же ловко их разгрызала.

Наевшись, она встряхнулась и принялась умывать мордочку передними лапками. Потом она обнюхала мою пустую ладонь и вдруг стала вылизывать её своим влажным крохотным язычком.

— Это она благодарит меня за угощение, — обрадовался я.

— Нет, сынок, — покачал головой Пётр Иванович, — Ты, верно, в руке конфетку держал, вот она сладкое и учуяла. Страсть какая сластёна!

Я сейчас же сбегал в столовую и принёс белке конфету.

Зверёк взял её в передние лапки и с аппетитом съел.

Затем белочка напилась воды из поилки и, видимо вполне довольная угощением, улеглась, свернувшись клубочком, в уголке клетки. А сверху накрылась, как одеялом, своим большим пушистым хвостом.

В этот вечер я лёг спать очень поздно. Раздеваясь и укладываясь в постель, я всё поглядывал на клетку, в которой мирно спал мой новый четвероногий приятель.

— Спокойной ночи, белочка! — сказал я и нырнул под одеяло.

ФОТОГРАФИЯ ТВОРИТ ЧУДЕСА

Я никогда раньше даже не мог себе представить, что заниматься фотографией так интересно. Думал: наведёшь аппарат на то, что хочешь снять, щёлкнешь — и всё готово, получится фотокарточка. Ну, а как она получается, как проявляют, закрепляют, печатают, — обо всём этом я имел очень слабое представление.

И вот мы с Михалычем на следующий же день приступили к фотографированию.

Правда, тут сразу возникло затруднение. Возникло оно в связи с тем, что в комнатах не хватило света.

Оказалось, что снять можно далеко не всё, что видишь глазами. Кажется, в любой комнате очень светло и всё хорошо видно, а вот для пластинки света не хватает. Пришлось нашу деятельность перенести в основном на улицу. Вот тут дело сразу пошло на лад. Но с кого же начать фотосъёмку? Конечно, с мамы.

Мама надела свою домашнюю, невыходную шубку, тёплый платок на голову, взяла ведро с куриным кормом и вышла во двор. Её сейчас же со всех сторон обступили куры. Сценка получилась очень живая.

Мы с Михалычем приступили к съёмке. Собственно, снимал Михалыч, а я ему ассистировал.

Закрепили в снегу треножник, привинтили аппарат, стали наводить по матовому стеклу на фокус.

Дело это совсем не лёгкое: то мама получается в фокусе чётко, ясно, но все куры мутно, будто в дыму, то куры отчётливо, зато мама словно в тумане. А то вовсе либо мама, либо куры не умещаются на стекле.

Михалыч сердится:

— Собери ты их поближе к себе! Не могу же я сразу весь двор крупным планом взять.

Мама покорно зовёт:

— Цып, цып, цып! — и сыплет на снег куриное угощение.

Куры собираются в кучу, хлопчут, клюют, одна перед другой стараются.

Но Михалыч опять недоволен:

— Нет композиции в кадре. Какая-то толчея — куриные крылья, хвосты... и твои ноги. Ты присядь на снег.

Мама садится. Куры в полном восторге. Они бросаются в ведро, лезут прямо в него. Петух взлетает маме на колени.

— Чудесно! — восторгается Михалыч. — Вот так и сидите. Я сейчас кассету вставлю.

Но петух, видно, сниматься не хочет. Он соскакивает с маминых колен и лезет головой в ведро.

— Ну неужели же вы и минуты спокойно не можете посидеть?! — негодует Михалыч. — Я же просил!

— Кого ты просил? Петуха просил? — отвечает мама. — Да разве он может понять?

— Когда тебе нужно, отлично всё понимает, — ворчит Михалыч, — по часу у тебя на голове сидит. А конечно, если я прошу...

Он не успевает договорить. Петух взлетает маме на плечо.

— Хорошо! Держи, держи его! — умоляет Михалыч. — Минутку вот так поддержи!

Мама в переполохе хватается петуха за хвост. Петух вырывается, летит прочь, оставляя в маминой руке часть своего хвоста.



— А ну тебя, с твоей фотографией! — возмущается мама. — Весь хвост петуху из-за тебя выдернула. — Она решительно встаёт, забирает ведро и отправляется домой.

— Ну как, получилось что-нибудь? — с надеждой и сомнением спрашиваю я.

— Кажется, получилось, — кивает головой Михалыч. — Щёлкнул как раз, когда она его за хвост ухватила. Отличный снимок

должен получиться. А теперь пошли. Давай займёмся более мирными сюжетами.

Мы прошлись по двору, вышли на улицу, сфотографировали наш дом, потом сарай, сад, усыпанный снегом.

Вернулись опять во двор и тут неожиданно столкнулись с тёткой Дарьей. Она выносила мусорное ведро.

— Давай я тебя сниму, — предложил ей Михалыч.

— Да ну уж, зачем меня-то снимать? — нерешительно ответила она. — Кому я нужна-то, старая, страшная?

— Как — кому? — возразил Михалыч. — В деревню своим карточку пошлешь и себе на память оставишь.

— А то и верно! — вдруг оживилась тётка Дарья, — И вправду сними. В деревню пошлю. Вот дивиться-то будут.

Михалыч приладил аппарат. И тётка Дарья вытянулась перед ним, будто солдат начасах. Вытянулась и замерла, словно окаменела.

— Да ты лицо повеселей сделай, — посоветовал ей Михалыч. — И стань повольнее. А то точно аршин проглотила.

Но тётка Дарья не шевельнулась.

— Снимай, снимай! — сурово ответила она каким-то напряжённым, замогильным голосом. — Уж раз взялся, действуй, не томи.

Михалыч пожал плечами и снял.

— Всё? — с замиранием спросила тётка Дарья.

— Всё, — ответил Михалыч.

— Ну, спасибо тебе. — И тётка Дарья, захватив мусорное ведро, рысью побежала в кухню. На ходу она обернулась и ещё раз крикнула: — Спасибо тебе!

Мы с Михалычем тоже остались очень довольны, довольны тем, что совершенно нежданно-негаданно смягчили сердце нашего всегдашнего «врага» и притеснителя.

— Теперь она шёлковая будет! — подмигнул мне Михалыч. — Напечатаем её получше, сразу приручим. Погляди, как ещё подлаживаться к нам начнёт. Теперь она навеки наш верный союзник.

Михалыч оказался прав. Чудодейственная сила фотографии выявилась уже за обедом.

Мне, как всегда, не захотелось есть супа. Я поболтал в нём ложкой и отодвинул тарелку в сторону.

— Ты опять фокусничаешь! — рассердилась мама. — Ешь сейчас же, а то сладкого не получишь.

В это время тётка Дарья принесла из кухни котлеты.

Услышав, что мама на меня сердится, она вдруг вступилась:

— Да чего ты на него нападаешь? Ну, не хочет есть, значит, аппетиту ребёнок лишился. Не хочет — и не надо. Я ему потом яишенку с сухариками поджарю.

Мама так и замерла от удивления. Я тоже не верил своим ушам. Что случилось с вечно разгневанной тёткой Дарьей? Её будто подменили.

Но чудеса продолжались и далее: поставив сковородку с котлетами на стол, тётка Дарья ушла в кухню и тут же вернулась обратно. Подошла к Михалычу и,

конфузливо улыбаясь, поставила перед ним другую сковородочку с ростбифом, который аппетитно плавал в собственном соку.

— Поешь, ты ведь это любишь, — потупив глаза, сказала она и удалилась.

— Господи помилуй! — прошептала в изумлении мама. — Да что с ней сегодня случилось? Прямо из ведьмы в сущего ангела превратилась.

Мы с Михалычем многозначительно переглянулись и ничего не ответили.

После обеда началось самое интересное — проявление фотопластинок. В кабинете завесили одеялами оба окна. Даже под дверь подложили свёрнутый в трубку половик, чтобы из-под двери не засвечивало.

С письменного стола убрали все принадлежности, постелили клеёнку и поставили на неё ванночки с проявителем, водой и закрепителем. Потом погасили лампу и зажгли специальный красный фонарь.

И сразу всё стало таинственно и необычно, как в сказке. Весь кабинет погрузился в красноватый полумрак. Из темноты выступали причудливые очертания каких-то непонятных предметов. Что это — оленьи рога на стене или сучья и ветви диковинного дерева? А это лампа свешивается с потолка или кружит над нами огромная фантастическая птица?..

Но глядеть по сторонам и фантазировать мне было некогда. Самое интересное совершалось вот тут, передо мной на столе.

Михалыч осторожно вынул из кассеты белую матовую пластинку и положил в ванночку с проявителем.

Очень скоро на пластинке стали вырисовываться тёмные очертания каких-то предметов. Каких именно, я не успел разглядеть, потому что пластинка быстро вся потемнела. Михалыч прополоскал её в ванночке с водой и положил в раствор закрепителя.

— Пусть закрепляется, — сказал он, — а мы займёмся пока следующей.

И вторая пластинка вела себя так же, как и первая: быстро потемнела и, искупавшись в ванночке с водой, тоже была положена в закрепитель.

Так мы с Михалычем проявили все шесть пластинок. Только одна из них оказалась какой-то странной: сколько её ни проявляли, она так и не захотела чернеть.

— Чудеса, да и только! — удивлялся Михалыч. — Может, мы на ней ничего не снимали? Да нет, как будто все шесть засняли. Ну да поглядим при свете, что там вышло. — И Михалыч, всполоснув белую пластинку, тоже положил её в закрепитель.

Наконец проявление было закончено. Мы с Михалычем посидели впотьмах ещё с четверть часика, чтобы дать всем пластинкам получше закрепиться, а потом зажгли обычную лампу, так как на дворе уже стемнело.

— Посмотрим, посмотрим, что у нас тут получилось, — говорил Михалыч, надевая очки и бережно вынимая из закрепителя и снова ополаскивая в воде одну за другой все пластинки.

Теперь они были уже не белые, матовые, а чёрные и прозрачные. На каждой виднелись какие-то силуэты. Вот силуэт нашего дома, вот очертания сарая, деревьев. Только всё белое получается чёрным, а чёрное, наоборот, белым.

Пришла мама, тоже с интересом рассматривала проявленные пластинки. Тётка Дарья робко жалась в дверях.

— Да пойдёшь погляди, — пригласил её Михалыч. — Только это ещё негатив, тут всё наоборот.

— Нет, уж я потом погляжу, когда всё как положено будет, — сказала она и ушла в кухню.

— А где же я с петухом? — спросила мама.

Михалыч внимательно всматривался в негативы.

— Вот ты. А вот эти крючки — это крылья, хвосты куриные. Да на негативе трудно всё разглядеть. Завтра высохнет, напечатаем, тогда всё увидишь.

— А где же Дарья? — спросил я.

Михалыч пожал плечами:

— Что-то сам не вижу. Неужели я её с закрытой кассетой снял? Вот скандал-то будет. Да не может быть. Я твёрдо помню, что открывал кассету.

— А вот эта совсем пустая, на ней что снимали?

— Она-то меня и смущает, — нерешительно ответил Михалыч. — Ну да утро вечера мудреней, к завтраму высохнут, тогда разберёмся.

К утру действительно все пластинки высохли, и мы приступили к ещё более интересному делу — к печатанию карточек. Для этого каждую пластинку помещали в особую рамочку и прикладывали к ней светочувствительную бумагу. Рамочки с пластинками и бумагой выставили на подоконнике на самое солнце. К счастью, утро было солнечное. Прошло минут десять.

— Ну, можно вынимать снимки и класть их в закрепитель.

Всё это делалось уже не в темноте, а на свету.

Я глядел на получившиеся отпечатки и замирал от восторга. Вот наш дом, наш сарай, наш сад. А это что же такое? Как будто мама, и петух летит от неё. И тут же какой-то столб, не то ствол дерева. Но почему же петух пролетает сквозь него, будто этот столб прозрачный, вроде как облако? Батюшки! Да это вовсе не столб и не облако — это тётка Дарья! Но как же она попала к маме в курятник, зачем она здесь?!

— Всё кончено! — убитым голосом промолвил Михалыч. — Я нечаянно маму и Дарью на одну и ту же пластинку снял. Вот почему одна пустая, неснятая и осталась.

Мама отнеслась к нашей неудаче довольно спокойно.

— Зря только петуху хвост выщипала! — вздохнула она.

Зато тётка Дарья, узнав, что она почему-то не вышла на снимке, пришла в негодование. А тут ещё мама «подлила масла в огонь» — подшутила над Дарьей, что сквозь неё, как сквозь облако, петух на карточке пролетел.

Зачем мама так неосмотрительно сказала?

— Это я-то облако? Это сквозь меня-то петух пролетел?! — взревела тётка Дарья. — Когда он летел? Да что же я, мёртвая, что ли? Что ж, я не учуяла бы его?

Мама уж и не рада была, что пошутила.

— Успокойся, никуда он сквозь тебя не пролетал. Только на снимке так получилось.

— Ах он старый греховодник! — не унималась Дарья, грозя в сторону Михалычева кабинета. — Ишь непутёвый какой! Насмешку надо мной учинил, петуха сквозь меня пропустил. Ну погоди, я ему это попомню, я ему покажу петуха!..

Фотография продолжала творить чудеса — к ужину Михалычева прибора на столе вовсе не оказалось.

— Дарьюшка, а где же Алексею Михалычу тарелка, ложка, вилка? — удивлённо спросила мама.

— Нет ему ничего! — сурово отрезала Дарья. — Пусть своих петухов ловит и ест.

Михалыч сидел притихший, даже какой-то подавленный. Он чувствовал, что впереди его ждёт ещё немало бурь и гроз. Я тоже совсем приуныл.

ХВОСТАТАЯ ПРОКАЗНИЦА

Кроме фотографии, которая доставила нам с Михалычем столько переживаний, столько волнений, у нас на праздниках оказалось и ещё одно интересное занятие — приручение белочки, которую мне подарил Пётр Иванович.

Хотя она выросла среди людей и совсем никого не боялась, но нам предстояло приучить её к новому помещению и познакомить не только с нами — с людьми, но и с другими обитателями нашей квартиры: с Джеком, с котом Иванычем, вообще, как выразился Михалыч, со всеми нашими чадами и домочадцами.

На все эти ознакомления уходило тоже немало времени. Дело упростило только то, что белочка была очень общительна, нетруслива и охотно знакомилась со всеми обитателями нашего дома.

С Иванычем она тут же подружилась. Наверное, в той квартире, где она выросла, тоже была кошка, и белочка по опыту знала, что это зверь совсем не страшный.

В первый же день, когда я выпустил белку из клетки, она сразу обследовала всю комнату, побывала на шкафу, на оконной занавеске, на полке с книгами, потом она прыгнула на диван, где, по своему обыкновению, отдыхал Иваныч, и, не задумываясь, подскочила к нему.

Иваныч открыл заспанные глаза, глянул на белку, потянулся и замурлыкал.

«Хорошо, что они так мирно встретились»,— подумал я и побежал в другую комнату к маме, чтобы рассказать ей о состоявшемся знакомстве.

Когда я вернулся к себе, Иваныч уже снова спал, лёжа на боку и свернувшись в клубок.

А где же белка? Я осмотрелся — белки нигде не было видно. Фортка закрыта, дверь я тоже, уходя из комнаты, плотно закрыл. Куда же она девалась?

В полном недоумении я обыскал все уголки, заглянул под кровать, на шкаф, на полку — нигде нет, будто сквозь землю провалилась.

Очень изумлённый и расстроенный, я сел на диван рядом с Иванычем.

— Куда же наша белочка пропала? — спросил я его.

Иваныч слегка пошевелился. И вдруг из-под его лап, как из гнезда, выглянула серенькая ушастая мордочка, выглянула и снова спряталась.

— Так вот ты где! — обрадовался я.— У Иваныча прячешься.

Я осторожно раздвинул его лапы. Там, у тёплого Иванычева живота, уютно примостилась белочка. И вправду, словно в тёплом гнезде.

С этих пор белочка постоянно спала, угревшись в мягкой шерсти доброго, флегматичного Иваныча. Старому коту это, видимо, тоже нравилось, потому что, свёртываясь в клубок, он обычно напевал колыбельную песенку, будто убаюкивал своего маленького лесного друга.

На зайца белка не обращала никакого внимания, так же как и он на неё. А вот Джека первое время очень побаивалась. Как только увидит, в один миг стрелой взлетит на шкаф или на полку, бежит там наверху, волнуется, хвостиком вздёргивает, а сама сердито так цоклет: «Цок, цок, цок!»

Джек, бывало, остановится, поднимет вверх голову, посмотрит на сердитого зверька и дальше по своим делам отправится. Такие натянутые, враждебные отношения между белочкой и Джеком меня очень огорчали, но я не знал, как их исправить.

Прошло несколько дней, всё оставалось по-прежнему.

За эти дни белка совсем освоилась с нашим домом. Она беспрепятственно путешествовала по всем комнатам, кроме кабинета Михалыча. Там стояла наряженная ёлка, и белочка туда не допускалась.

Но вот однажды пришёл я с прогулки. Гляжу — дверь в кабинет распахнута; верно, её Джек отворил. Заглянул в комнату. Ой, ой, что там творится! На полу под ёлкой игрушки валяются: звёзды, шары, половина из них побита. Вокруг

ёлки носится Джек, наверх поглядывает. А наверху по веткам прыгает белка. Это она, значит, нечаянно и посбрасывала на пол разные украшения.

Но почему Джек так волнуется и всё наверх глядит?

Я остановился в дверях, жду, что дальше будет, гляжу — белка схватила в лапы конфету в бумажке, бумажку разгрызла, разорвала, конфету достала, куснула раз-другой и бросила — не понравилась, видно. Зато Джек её прямо на лету поймал, сразу проглотил — ему понравилась. А белка уже на другой сучок перепрыгнула, за другую конфету взялась. Джек внизу стоит, хвостом виляет, свою долю ждёт. Вот, значит, как они вдвоём на ёлке угощаются.

Насилу я согнал белку с дерева и вытурил из кабинета. Джека и гнать не пришлось. Он следом за белкой побежал. Наверное, решил, что она и в других комнатах будет его конфетами угощать.

В этот вечер пришлось снять с ёлки все украшения. Разве за белкой уследишь? Опять в кабинет заберётся, последнее поколотит.

Но проказы белки на этом не кончились. Помню, один раз утром хватились её — нигде нет. Мама говорит:

— Наверное, форточку открыли, она и убежала. Теперь не найдёшь.

Так и решили, что белка в форточку удрала.

Михалыч собрался идти на работу в больницу. Надел шубу. Сунул руку в карман, да как отдёргнет. А из кармана белка выглядывает. Мордочка сонная, зеваает, будто хочет сказать: «Ну, зачем вы меня разбудили? Я же так хорошо здесь устроилась».

А через несколько дней вот что случилось. Собралась мама вечером свою постель расстелить; взяла подушку, только встряхнула, а та словно бомба разорвалась. Вся комната в белом дыму. Мама с испугу подушку выронила. Из подушки что-то тёмное выскочило и прямо на шкаф. Понемногу «дым» стал рассеиваться, оседать на пол, на стулья белыми хлопьями. Да ведь это вовсе не дым, а пух из подушки! Сбоку в наволочке огромная дыра. А виновница переполоха — белочка — сидит себе на шкафу, пушинки со шкурки, с хвоста счищает. Это она прогрызла подушку и улеглась спать в тёплом пуховом гнездышке.

За такую проделку мама очень рассердилась:

— Убирайте её куда хотите! Она так все вещи перепортит.

Мы с Михалычем вступились было в защиту зверька, но мама и слушать ничего не захотела.

Наконец после долгих просьб и уговоров порешили так: белку у нас оставить, но запереть в клетку и выпускать только под строгим наблюдением.

Таким решением больше всех осталась недовольна сама белка. Она очень сердилась, сидя в клетке, и всё старалась зубами и лапками открыть дверцу.

Но ничего не поделаешь, на этот раз мама осталась неумолима.

ЕМУ НЕМНОЖКО НЕЗДОРОВИТСЯ

Как медленно тянется время, когда ходишь в школу, и как быстро проходят праздничные дни. Не успел оглянуться — уже и кончаются зимние каникулы.

Мы со дня на день поджидали приезда Серёжи, но вдруг получили из Москвы тревожное известие: Серёжа заболел воспалением лёгких, значит, приедет не скоро. Я был этим очень огорчён. Думал: вместе будем в школу ходить, вместе заниматься фотографией, и вот всё пропало. Нужно хоть перед началом учения к Петру Ивановичу сбегать.

За время праздников я так был занят фотографией и своей белочкой, что даже не заглянул к моему приятелю, но и он тоже почему-то с самого нового года ни разу к нам не зашёл.

Собрался я к Петру Ивановичу только в один из последних праздничных дней. Захожу, а он, одетый по-домашнему — в пиджачке, в брюках, — на постели лежит. Увидел меня, привстал, обрадовался:

— Заходи, заходи, сынок!
Давненько меня не навещал.

Я очень удивился, что Пётр Иванович белым днём и вдруг отдохнуть улёгся. Раньше он этого никогда не делал.

— Вам, может, нездоровится? — спросил я у него.

— Нет, ничего, так, устал, вот и прилёг. — Пётр Иванович грустно взглянул на меня и добавил: — Дело, сынок, не молодое. Вот и полежать хочется.

Я слушал и с изумлением глядел на своего старого друга: «Что с ним? Никогда он прежде так не говорил».

Заметя мой удивлённый взгляд, Пётр Иванович тут же прибодрился и будто сам с собой заговорил:

— Ничего, ничего, всё пройдёт, всё в жизни бывает.

Больше мы в тот день об этом не говорили, занялись более интересным делом: стали чистить клетки, менять птицам корм и воду.

И это меня тоже удивило. Прежде, бывало, Пётр Иванович занимался уборкой птиц с самого утра, а сейчас ведь уже и обед давно кончился. Да и обычная наша работа шла не так весело, как всегда.



Пётр Иванович совсем не разговаривал, не шутил со своими питомцами, даже скворушку прогнал, когда тот хотел, по обыкновению, сесть ему на плечо.

— Уходи, уходи, не до тебя сейчас! — устало сказал Пётр Иванович и тут же загнал скворца в клетку.

Потом мы вскипятили самоварчик, сели пить чай с мёдом, с вареньем. Собственно, пил только я один, а Пётр Иванович налил себе стаканчик да и не выпил.

— Не хочется что-то, сынок! — как будто извиняясь, сказал он. — Какой уж день сосёт под ложечкой, ни пить, ни есть нет охоты.

Вечером я простился с Петром Ивановичем и ушёл.

На душе у меня было очень грустно. Вот и праздники кончаются, и Пётр Иванович совсем невесёлый; может, заболел немножко, да не хочет сознаться.

Вскоре начались обычные занятия в школе. И утро и вечер, как всегда, учение, ругань, колотушки.

Насилу дождался первого воскресенья. Пораньше утром побежал к Петру Ивановичу. Наверное, точок у него расчищен, можно будет птиц половить, давненько мы их не лавливали.

Прибегаю, а Пётр Иванович опять на постели одетый лежит. В комнате не прибрано и очень холодно, будто печь совсем не топили, воздух какой-то тяжёлый, душный.

— Пётр Иванович, что с вами, заболели?

Улыбнулся, привстал с кровати:

— И сам не разберу, сынок, ничего не болит, а вот еле ноги таскаю.

— А вы сегодня кушали?

— Кушал, кушал, сынок.

Гляжу: на столе никаких остатков еды, только кусочек хлеба валяется.

— Пётр Иванович, а что вы кушали?

Опять как-то виновато улыбнулся.

— Да я, сынок, вот хлебца поел. Не тянет меня к еде. Сосёт и сосёт под ложечкой. Ну, да всё пройдёт, сейчас самоварчик поставим.

Он с трудом встал с кровати. Вместе поставили самовар.

— Давайте я вам помогу клетки почистить, — предложил я.

Пётр Иванович растерянно взглянул на меня:

— Чистить-то, сынок, нечего.

— Как — нечего? — Я взглянул на клетки. Все пустые. — А птицы где?

— Отпустил их, на волю выпустил.

— Зачем же посреди зимы? Они же к теплу привыкли. Замёрзнут, с голоду умрут.

— Не умрут, бог даст. Я их кормлю: коноплю, ягодки на снег бросаю. Они меня навещают.

— Да зачем же вы их выпустили?

— Силы нет, сынок, клетки чистить, за всеми ухаживать. Бог с ними, пусть на воле живут.

— Лучше бы мне их отдали. Я бы в вольере до весны подержал.

— Я и сам так подумывал, — виновато ответил Пётр Иванович. — Да вот, наподи, как тебе отдать-то их? Отнести — силушки нет, а сам ты не больно часто ко мне заглядываешь.

Мне стало вдруг очень грустно и стыдно, что я за всю неделю ни разу не навестил старика.

— Я, Пётр Иванович, целый день учусь, ни минутки свободной нету.

— Я понимаю, понимаю, — заторопился Пётр Иванович. — Учение — это не шутка, это важное, очень важное дело. — Он помолчал и тихонько добавил: — Вот и выпустил их, простился и выпустил.

— А скворушка где?

— Этот дома. Где-нибудь на шкафу сидит. Я уж его в клетку не загоняю. Пусть по комнате летает. И ему вольготней, и мне легче — клетку не убирать, корм не ставить. Он теперь прямо со мной обедает — что я, то и он.

Я украдкой взглянул на пустой стол, где валялся кусочек хлеба, и ничего не сказал.

Помолчали. Петру Ивановичу, видимо, хотелось занять меня чем-нибудь интересным, но чем, он не мог придумать. Я тоже не знал, чем заняться.

Так мы и сидели друг против друга. Он на кровати, я на табуретке. Сидели какие-то растерянные, даже чем-то сконфуженные.

И вот первый раз за все мои посещения этого уютного домика я вдруг почувствовал, что мне хочется поскорее отсюда уйти.

Петру Ивановичу, видимо, тоже было тяжело сидеть и говорить со мной.

— Да вы лягте лучше, полежите, — предложил я.

— Ох, сынок, чего ж всё лежать да лежать! Я и так и ночь и день всё лежу, отдыхаю.

«Творрра, творрра!» — неожиданно заскрипел откуда-то сверху скворец. Он слетел со шкафа на стол и начал подбирать крошки хлеба.

— Прости, дружок! — виновато сказал ему мой приятель. — Творожку-то у меня нонче для тебя и нету.

— Пётр Иванович, давайте я в лавку сбегаю! — обрадовался я возможности пробежаться по улице.

— Не надо, не надо! — замахал рукой старичок. — Куда там ещё бегать, зачем это? И без творогу обойдётся, не велика птица!

— Нет, нет, я сбегаю, я мигом! Давайте деньги!

Я вскочил и взялся за свою куртку.

Пётр Иванович совсем растерялся:

— Вот с деньгами-то у меня немножко осечка, издержался малость. — Он печально взглянул на свою швейную машинку в углу и на ворох тряпья возле неё. — Остановилась фабрика, почитай, третью неделю стоит, деньжонки-то и поизрасходовались.

— Да как же вы сами?.. — начал я и не кончил.

— Ничего, ничего, сынок! — поспешно перебил меня Пётр Иванович. — Теперь скоро поправлюсь, опять фабрику заведу, опять всё наладится.

«Творрра, творрра!» — снова заскрипел скворец.

— Молчи ты. Ишь какой надоеда! — махнул на него рукой мой приятель.

Скворец взлетел обратно на шкаф и угрюмо уселся на самом его краешке. Он нахохлился, опустил книзу длинный жёлтый клюв и стал вдруг удивительно похож на своего старого хозяина: такой же встрёпанный, такой же тощий, несчастный.

— Пётр Иванович, дайте его мне, пусть у меня поживёт, пока вы поправитесь.

Не то испуг, не то горькая усмешка появились на исхудавшем лице моего друга.

— Что ты, что ты, сынок? А я-то с кем же останусь? Лежу, лежу один, и поговорить не с кем. Он хоть и птица, может, и не понимает ничего, а всё-таки что-то лопочет. Послушаю — мне и радостней на душе. Будто кто со мной разговаривает. И я с ним тоже поговорю. — Пётр Иванович ласково взглянул на своего маленького крылатого друга и добавил: — Нет, сынок, пускай уж со мной век доживает. Оба мы старики. Много ли теперь осталось.

Опять замолчали.

В комнате было как-то необычно тихо, тихо по-особенному, будто случилось какое-то большое несчастье.

И вдруг я понял, почему это так тихо: не слышно птиц. Ведь в комнатке Петра Ивановича всё время, бывало, раздавалось их весёлое щебетанье.

— Эх, сынок, а про самоварчик-то мы с тобой и забыли, — вдруг встрепенулся Пётр Иванович. — Как бы не выкипел, не распаялся!

Я побежал посмотреть, что с самоваром. Он давно уже заглох, видно даже не закипел.

— Давай опять разведём пары, — предложил Пётр Иванович.

Мне пить чай совсем не хотелось.

Пётр Иванович не настаивал. Посидели ещё немного. Говорить было не о чем. Пётр Иванович, видно, очень устал.

— Ну, я пойду, — нерешительно сказал я.

— Иди, сынок, иди погуляй по свежему воздуху, — даже будто обрадовался Пётр Иванович.

Я простился и ушёл.

Выбежал на улицу, всей грудью вдохнул чистый морозный воздух.

Светило солнце. Сверкали огромные снежные сугробы. Снег весело поскрипывал под ногами. Я обернулся, взглянул на уютный знакомый домик. Он, как и прежде, приветливо поглядывал своими маленькими окошечками. Только из трубы не вился сизый дымок и дорожка к калитке была давно не расчищена. Казалось, в домике уже никто не живёт. «Хоть бы скорей Пётр Иванович поправился, — подумал я. — Опять будем вместе ловить птиц, опять будет всё хорошо и весело».

Я огляделся по сторонам, посмотрел на спрятавшиеся в сугробах деревянные домики, на заснеженные просторы полей за рекой, на распушившихся важных ворон, сидящих на заборах. Поглядел на всё это такое привычное, спокойное, дорогое, поглядел и даже не подумал, а как-то почувствовал: разве может случиться что-нибудь плохое, когда кругом всё так спокойно, тихо и радостно?

И я, уже позабыв о печальном свидании со своим другом, вприпрыжку побежал домой.

ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ

Когда я за обедом рассказал о том, что Пётр Иванович немножко заболел и даже выпустил всех своих птиц, мама и Михалыч вдруг забеспокоились. Они начали меня подробно обо всём расспрашивать.

Узнав, что Пётр Иванович уже третью неделю не работает и у него нет денег даже на творог для скворушки, мама укоризненно взглянула на меня и сказала:

— На всё у тебя было время: и гулять, и снимать, и с белкой возиться, а сходить узнать, как живёт твой приятель, на это времени и не осталось.

Я не знал, что ответить. Действительно, как же это случилось, что я и не поинтересовался, почему Пётр Иванович к нам не заходит? «Какой же я после этого друг? А он меня ещё сынком называет».

После обеда мама собрала в корзиночку разной еды и пошла навестить Петра Ивановича. Меня с собой она не взяла. Да я и не очень просился — ведь я же его только сегодня навещал.

Вернулась мама не скоро и пришла очень расстроенная. Она сейчас же начала рассказывать Михалычу о том, что Пётр Иванович очень плох, очень исхудал и почти ничего не может есть.

Михалыч слушал, курил, покачивал головой и наконец сказал:

— Кажется, дело дрянь.

— Ну, может, так что-нибудь, — грустно ответила мама.

— В больницу его положить надо, — решил Михалыч. — Что ж, он совсем один будет дома лежать?

— Да я уж попробовала об этом ему намекнуть, он и слушать не хочет. «Что, говорит, я там буду делать? Коль суждено поправиться, и здесь поправлюсь, а коли не суждено, лучше уж дома...»

Мама не договорила.

Михалыч кивнул головой.

— Ты, Юра, на днях сходи, навести его, — обратилась мама ко мне. — Он рад будет. Он о тебе всё говорил, всё мечтает, как вы летом за перепелами ходить будете.

— Да, да, летом... за перепелами... — невесело повторил Михалыч.

Я посматривал то на маму, то на Михалыча и старался понять, что такое с Петром Ивановичем. Неужели же он так сильно болен? Ведь он мне сказал, что у него ничего не болит, только слабость и кушать не хочется. Разве это такая уж страшная болезнь?

Через три дня я опять пошёл к своему приятелю. От мамы я уже знал, что ему пока не лучше, что он лежит в постели.

Каждое утро мама или сама ходила к нему — носила еду, или посылала тётку Дарью, чтобы та истопила печь и прибрала комнату. Михалыч тоже был у Петра Ивановича.

— В больницу, в больницу его нужно! — решительно сказал он, воротясь домой.

— Конечно, нужно, да вот не соглашается, — отвечала мама. — А может, он и прав, что не соглашается. Ведь вы же ничем помочь не сможете.

Михалыч пожал плечами:

— Мы не боги.

— Вот то-то и есть, что «не боги», — кивнула головой мама.

Когда я вошёл к Петру Ивановичу, я сразу увидел, что ему не только «пока не лучше», а просто значительно хуже. Он ещё сильнее похудел. Щёки совсем ввалились и обросли, как пёрышками, пучками жёсткой серой щетины, а нос ещё больше вытянулся, стал длинный, сухой и жёлтый, будто скворчинный клюв.

Вообще Пётр Иванович стал, ни дать ни взять, старый, облезлый скворец.

Сам он с виду был очень плох, зато в комнатке — куда лучше, чем когда я тут был последний раз, — всё прибрано, всё на местах и печь жарко натоплена.

— А, сынок, пришёл? — обрадовался Пётр Иванович. — Ну, бери табуреточку, подсаживайся. Я вот всё похварываю, никак не поправлюсь. — Он помолчал и снова заговорил: — Ну, да теперь полегче стало, на поправку дело пошло. Спасибо твоим папаше с мамашей, и Дарьюшке тоже спасибо, не забывают меня, старика. Без них я никогда бы и не поправился. Теперь, слава богу, полегче стало. Ну, а как на дворе? — спросил он. — Небось снежищу-то навалило, по самые крыши дома занесло.

Я начал рассказывать, как хорошо сейчас на улице, какое солнце, какие деревья в саду, все белые, мохнатые...

Пётр Иванович внимательно слушал, кивал головой и улыбался.

— Зимой тоже на воле хорошо, — сказал он. — А всё-таки, сынок, что ни говори, а краше всего — это весна. Вот коли доживём до весны, сойдёт снег с полей, зазеленеют, поднимутся озими, мы с тобой и махнём опять за перепелами. Помнишь, как прошлое лето ходили?

Я кивнул головой. Не знаю отчего, но эти планы на весну меня почему-то сейчас совсем не радовали. Мне было очень грустно, и всё казалось, что сам Пётр Иванович не очень верит в то, что всё это сбудется, уж очень часто он добавлял: «коли доживём», «если будем живы»...

Поэтому я от всей души обрадовался, когда хлопнула входная дверь и в комнату вошла мама. Она принесла Петру Ивановичу еду. От мамы пахло свежестью, холодком. С морозу она раздурманилась и казалась очень весёлой.

— Ну, как наши дела? — бодро спросила она у Петра Ивановича.

Тот привстал, сел в постели и сразу повеселевшим голосом ответил:

— Спасибо, Надежда Николаевна, спасибо, родная. Теперь гораздо лучше.

— Да я это и так вижу, — кивнула головой мама. — Сегодня вы много свежее выглядите.

Она вынула из корзиночки чистую салфетку, постелила на стол, поставила на неё тарелку и налила супу.

— Кушайте, пока тёплый. Я уж в бумагу его завернула, чтобы дорогой не остыл. А это манная каша. Её с вареньем можно.

— Спасибо, спасибо. Вы уж не хлопчите, — говорил Пётр Иванович. — Я сейчас есть не хочу, недавно только чай пил. Я попозже, вы уж не беспокойтесь.

Мама посидела, поговорила немножко и собралась уходить. Я пошёл её проводить, да кстати понёс горсточку конопли, высыпать в саду птицам.

Возвращаясь обратно в дом, я случайно заглянул в окошко, заглянул и остановился, не понимая, что такое происходит. В комнате, в полуоборот ко мне, стоял Пётр Иванович. Еле держась от слабости на своих тощих, как сухие палки, ногах, он поспешно выбрасывал в помойное ведро еду, которую принесла мама. Выбросил, задвинул ведро в угол, а сам с огромным трудом снова забрался на кровать. Меня он не заметил.

Когда я вошёл в комнату, он уже лежал в постели и вытирал губы платком.

— Поел, хорошо поел, — сказал он. — Спасибо твоей мамаше за хлопоты, за заботу... — Он поглядел на меня и вдруг по моему растерянному лицу догадался. — Ты видел, в окно видел? — с испугом проговорил он.

Я кивнул головой.

Пётр Иванович в изнеможении откинулся на подушку. Секунду мы оба молчали. Потом он обернулся ко мне и почему-то шёпотом заговорил:

— Ты мамаше не говори, ничего ей не говори! — От волнения он задохнулся, потом продолжал: — Не могу, сынок, проглотить, не проходит, вот тут не проходит. — И он своим костлявым, иссохшим пальцем указал на основание шеи.

— Будто ком какой в горле стоит, стоит и пищу не пропускает. Что проглочу, то и обратно выплуну. Только чаёк да водица проходят.

Я слушал это страшное признание и не знал, что отвечать.

— А есть-то хочется? — спросил наконец.

— Хочется, иной раз ох как хочется, а вот натура не принимает. — Он помолчал и, вздохнув, заговорил каким-то совсем чужим, глуховатым голосом: — Не дожить мне, сынок, до весны, знаю, что не дожить. Когда помру, ты скворушку к себе возьми, творожком, кашкой его корми. Он птица умная, весёлая птица, он мой дружок, утешитель мой. — Пётр Иванович махнул рукой. Замолчал.

И я вдруг увидел, как по его серым щетинистым щекам одна за другой побежали крупные прозрачные слёзы.

Я тоже не вытерпел и горько-горько заплакал. Это было правдивее и лучше всяких утешительных слов.

Так мы и плакали, прижавшись друг к другу и чувствуя свою полную незащитность перед чем-то таким страшным, о котором лучше не думать и словами не называть его.

«Творрра, творррра!» — озорно закричал со шкафа скворец.

— А ему всё нипочём, — сквозь слёзы улыбнулся Пётр Иванович. — Достань, сынок, ему из ящика творожку, пусть покушает.

Я достал творог, накрошил его на газету, и скворец принялся с аппетитом за еду.

Глядя на то, как он весело ест, мы оба немножко развеселились.

Пётр Иванович попросил налить ему в чашку воды и почти без труда всю выпил.

— Э! Да у меня, сынок, и впрямь дело на поправку пошло, — сразу повеселел он. — А ну-ка, дай мне из шкафчика вчерашний суп... — Он налил его в ту же чашку и тоже выпил. — Вот это да! — весь просиял он. — Гляди, какой я молодец! Да я и впрямь к весне поправлюсь. Значит, сходим ещё за перепелами с сетью, с дудочкой. — Он лукаво подмигнул мне: — Дурак я, дурак, что сегодняшнюю еду в ведро вылил. Боялся, опять в горле застрянет, при тебе есть боялся. А ты, видно, счастье мне, старику, принёс. Ну, теперь всё в порядке будет. Половим ещё перепелов весной. Вынь-ка, сынок, из-за шкафа нашу сеточку, давай проверим, не нужно ли где её подчинить, подштопать.

Я достал перепелиную сеть, и мы занялись её тщательным осмотром.

В этот день мы оба твёрдо решили, что все горести, все беды остались уже позади.

Придя домой, я, конечно, сейчас же рассказал маме о том, что Петру Ивановичу несколько дней было очень плохо.

— Он почему-то почти не мог проглотить еду, — сказал я, — и даже сегодня выбросил её в помойное ведро, чтобы мы не узнали, что он ничего не ест. А потом он попил воды и очень хорошо поел вчерашнего супу. И вообще он уже стал чувствовать себя много лучше и начал поправляться.

Мама сначала испугалась, а потом обрадовалась, когда узнала, что дело пошло на поправку.

Я только просил маму не говорить Петру Ивановичу о том, что я всё ей рассказал.

— Конечно, конечно, — обещала она.

Михалыча целый день не было дома, он уехал куда-то далеко к больным и вернулся только ночью, так что мы не смогли поделиться с ним нашими тревогами и надеждами.

В связи с тем, что Петру Ивановичу стало получше, и у меня и у мамы было очень хорошее настроение.

Ложась в этот вечер спать, я всё мечтал о том, как придёт весна и мы с моим другом пойдём в поля подманивать на дудочку и ловить сетью перепелов.

Больше всего меня прельщало то, что Пётр Иванович обещал в этом году и меня выучить этому искусству, даже дудочку мне заранее подарил.

ЧУДЕС НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ

На следующий день я рассказал Михалычу, как я вчера испугался за Петра Ивановича и как потом всё хорошо кончилось.

Выслушав мой рассказ, Михалыч покачал головой.

— Боюсь, что совсем не так хорошо всё кончится, — угрюмо, как бы самому себе, промолвил он.

— Ты думаешь, что это опухоль? — тревожно спросила мама.

— Даже не сомневаюсь.

— Но почему же тогда сразу вдруг лучше стало и пища начала проходить?

Михалыч пожал плечами:

— Трудно сказать почему. Так часто вначале бывает. А потом всё закроется, и конец.

— Какой ужас! — тихо сказала мама. — И ничем помочь нельзя?

Михалыч развёл руками:

— Ты же сама знаешь, тут медицина пока бессильна. — Он закурил и продолжал: — Наверное, когда-нибудь додумаются, будут лечить. Будут... когда-нибудь. Но Петру Ивановичу от этого, увы, не легче.

Михалыч, к несчастью, оказался прав. Облегчение в тот вечер, увы, было только временное. Болезнь не проходила. Пётр Иванович слабел всё больше и больше. Он почти уже не вставал с кровати.

И вот в эти тяжёлые дни выяснилось, что у него на всём свете нет никаких родных, вообще нет ни одного близкого человека.

— Всю жизнь прожил со своими птицами, — сказал как-то про него Михалыч. — А теперь и сам вроде подбитой птицы один-одинёшенек остался.

Услыхав эти слова, я вдруг так ясно представил себе своего больного друга в образе старого, подбитого скворца.

Зима, метель, мороз. Все скворцы давно уже улетели на юг. А он лететь не может. Он слабый, больной... Вот и остался здесь один, себе на погибель.

Михалыч и мама много раз предлагали Петру Ивановичу перевезти его в больницу.

— Там чисто, тепло, светло. Там ухаживать за вами будут. Полечат как следует, — говорила мама. — А дома какое лечение? И ухода настоящего за вами нет.

Но Пётр Иванович в ответ на все эти уговоры печально улыбался.

— Какое уж моё лечение?! — устало говорил он. — Мне, видать, ничего не поможет. Нет, — добавлял он, — где всю жизнь прожил, там и умереть хочу. Всё живое в своём логове, в своём гнезде умереть стремится. Вот и я тоже.

— Да что вы всё о смерти думаете, — перебивала его мама. — Выздоровеете, обязательно выздоровеете. Только в больнице вас скорее, чем дома, вылечат.

Все эти утешения Пётр Иванович плохо слушал. Он обычно лежал, глядя в потолок, и думал о чём-то своём, страшном и неизбежном.

— Вот только вам большое я беспокойство доставляю, — часто говорил он. — Вы уж извините меня. Если бы смог, заслужил бы, в долгу не остался, да вот сами видите... — И он виновато, растерянно улыбался.

— Перестаньте глупости говорить! — сурово прерывала его мама. — Какое же нам от вас беспокойство? Забежать на часок — печку истопить, покормить вас. Да это просто прогулки ради. Я до вас по улице пройду, свежим воздухом подышу... И тётка Дарья тоже очень довольна. Говорит: «На час-другой из кухни вырвусь, по городу пройду, на людей погляжу...»

Но Пётр Иванович не слушал того, что ему говорила мама.

— Всех беспокою, всем хлопот наделал, — сам с собой тихо говорил он. — Извините меня. Что поделать? Я и сам не рад.

Я вместе с мамой часто приходил навестить своего друга.

Увидя меня, он всегда улыбался, но совсем не так, как прежде, совсем не весело, а, наоборот, как-то виновато, смущённо, будто извиняясь за свою слабость, за свою болезнь.

Я садился около его постели и не знал, о чём говорить. Говорить о том, что наступит весна и мы пойдём за перепелами, я не мог. Ведь теперь уж и я не верил в то, что Пётр Иванович поправится.

Сидя возле его постели, я обычно молчал и думал о том, что это совсем не тот Пётр Иванович, с которым раньше мы так дружили, а какой-то другой, чужой мне человек.

С виду он так изменился, что узнать в нём прежнего, бодрого, весёлого Петра Ивановича было просто невозможно.

Я сидел у его постели и дожидался, пока мама немножко приберёт в комнате, покормит скворца и попробует покормить и самого Петра Ивановича.

Он уже давно перестал скрывать, что ему бывает очень трудно, а часто и совсем невозможно проглотить пищу.

Пытался он есть только жидкое: суп, манную кашу, кисель, компот.

Иногда маме удавалось его покормить, а иногда он отрицательно качал головой и виновато говорил:

— Нет, уж сегодня не выйдет дело, простите меня. И рад бы; да не могу.

— Ну и не нужно, завтра получше покушаете, — бодро отвечала в таких случаях мама и ставила еду в буфет.

Когда мы возвращались домой, Михалыч сейчас же спрашивал:

— Ну, как сегодня?

— Плохо, — махнув рукой, обычно говорила мама. — Опять ничего съесть не мог.

— Ах, горе, горе! — расстроено качал головой Михалыч и тут же закуривал папиросу.

— Ты бы тоже сходил навестил его. Давно уже не был, — сказала как-то мама.

— Схожу, схожу, обязательно навещу... — торопливо ответил Михалыч. Помолчал немножко и вдруг признался: — Веришь, Надя, каждый день собираюсь и не могу. Стыдно сознаться, вот не могу, и только. — Он прошёлся по комнате и потом продолжал: — Ведь ты зайдёшь, покормишь, в комнате приберёшь, ну, одним словом, какое-то дело сделаешь. А я приду... Я ведь заходил. Пришёл, сел. Он на меня глядит, не говорит ничего, только глядит. Да я-то и без слов понимаю: помоги, мол, лечи меня... А что я могу? Никто уж ему помочь не сможет. И он это понимает. Понимает, а смотрит, просит, надеется. Э, да что там говорить! — Михалыч быстро повернулся к нам спиной и вытащил из кармана платок.

— Ну, не надо, не надо, — мягко сказала мама и вдруг, ласково улыбнувшись, добавила: — Эх ты, а ещё доктор, операции делаешь, на войне был...

Михалыч обернулся к нам. Глаза у него были красные.

— Ну что ж, что операции, ну что ж, что доктор? Да разве доктор не человек? Когда я с ножом — я дело делаю, человеку жизнь спасаю. А тут, а тут... в том-то и ужас, что тут я не доктор, никто я! А он смотрит, смотрит на меня как на бога: помоги, мол, не хочу умирать, боюсь. Да помочь-то ему мне нечем... Я бы и рад

всей душой... — И Михалыч, уже не стесняясь ни меня, ни мамы, закрыл лицо платком и громко, совсем по-ребячьи заплакал. — Я ведь скворца его вылечил,— сквозь слёзы проговорил он. — Скворца вылечил, а его не могу. Не могу я...

— Ну, перестань, ну, успокойся, не надо плакать, — утешала мама. — Может, бог даст, и поправится. Кто знает, может, ещё и выздоровеет.

— Нет, не поправится, не выздоровеет, — вытирая глаза и обвислые намокшие усы, ответил Михалыч. — Вот тут я доктор. Тут я знаю — чудес на свете, увы, не бывает.

НЕЖДАННАЯ ПОМОЩЬ

Михалыч всё же ошибся. Он сказал, что дни Петра Ивановича сочтены, что жить ему осталось не больше недели. А вот уже прошло целых полтора месяца, уже и февраль кончился, наступил март, а он всё лежал в своём занесённом снегом домике, похожем на берлогу, лежал весь высохший, безучастный ко всему на свете. Почти ничего не ел, не пил. Лежал с закрытыми глазами, не то дремал, не то думал какую-то одному ему известную думу.

Мама и тётка Дарья по-прежнему ходили присматривать за больным. Мама, кроме того, сговорилась с его соседкой-старушкой, чтобы и она заглядывала к нему, особенно утром и попозднее вечером. «Может, пить попросит, может, подать что-нибудь».

Как-то вечером, когда мы ужинали, мама сказала:

— Что-то уж очень плох наш Пётр Иванович. С постели едва-едва встаёт. Так одного его оставлять на ночь нельзя. Не дай бог, что случится. Один ведь, и позвать некого.

— Я давно говорил: в больницу нужно, — ответил Михалыч.

— Но ты же сам знаешь — он из своего домика никуда уходить не хочет.

— Тогда чем же я могу помочь? — раздражённо спросил Михалыч.

— А нельзя ли ему на ночь сиделку из больницы? Только на ночь?

Михалыч пожал плечами:

— Что ты! У нас ночных сиделок и так не хватает. Откуда же я её возьму?!

Мама кивнула головой.

— Нанять бы кого? — в раздумье проговорила она. — Да кого к такому больному наймёшь? Тут именно сиделка, опытная сиделка нужна. — Мама покосилась на дверь в кухню и, понизив голос, продолжала: — Хорошо ещё, что Дарья не скандалит. Она ведь почти каждый день туда ходит, всё делает: и печь топит, и пол моет, и грязное ведро после него выносит... Пока что молчит. А надолго ли? В любой день может зашуметь. И права будет — совсем не её обязанность за каким-то больным в другом конце города ухаживать.

— Я сам удивляюсь, что она до сих пор ещё не расшумелась, — ответил Михалыч. — Может, и ещё потерпит. Приплатим ей к жалованью. Ты ей скажи об этом.

— Да я уж и говорить про это боюсь. Пока она молчит, и я тоже.

Мама сразу примолкла. Дверь из кухни отворилась, и в столовую вошла тётка Дарья, принесла что-то к ужину.

Она поставила на стол кастрюлю и сурово взглянула на маму:

— Я хочу отпуск взять. Сколько лет служу, ни разу ещё не брала.

Мама испуганно взглянула на Михалыча, потом умоляюще на тётку Дарью:

— Но почему же именно теперь? Ведь ты сама, Дарьюшка, видишь, сколько дел, сколько хлопот, огорчений...

— Всех дел не переделаешь, — мрачно ответила старуха. — Есть дела какие поважней, а есть, что и обождать могут.

Мама хотела что-то ответить, но тётка Дарья не дала:

— А не отпустите подобра, тогда расчёт давайте, совсем уйду от вас.

— Дарьюшка, мы понимаем, что ты устала, что Пётр Иванович... Это совсем не твоё дело.

Мы тебе отдельно заплатим. Потерпи немного. Ему уж недолго осталось...

— Вот то-то и есть, что недолго, — перебила тётка Дарья. — Совести у людей нет. Человек помирает, и всё один. Жил, горемычный, один, и смертный час подходит — опять один. Да ты подумай только, — сурово глядя на маму, продолжала она. — Может, к нему ночью Сама придёт. Как её одному-то, одному во всём доме встретить?! — Дарья боязливо взглянула в тёмный угол и торопливо перекрестилась. — Тут от одного страха сразу помрёшь. А мы его, горемычного, одного на ночь со всякими ужасами оставляем. Он ведь всё видит, всё понимает, только молчит. Потому как податься некуда. Вот и молчит, — Дарья решительно тряхнула головой и закончила: — Нет, так поступать не по-божески, так только изверги поступают. Или отпуск давайте, или расчёт. Провожу его до последнего, опущу в могилку, потом и вернусь. Возьмёте — ваша воля, не возьмёте — другое место найду. Была бы шея, а хомут найдётся. — Она вызывающе взглянула на маму, потом на Михалыча.



Оба сидели, окаменев от изумления.

Наконец мама опомнилась и с облегчением вздохнула.

— Дарьюшка, милая моя! — радостно заговорила она. — Никакого отпуска тебе брать и не нужно. Мы вот только что с Алексеем Михайловичем говорили о тебе, о том, что тебе тяжело за Петром Ивановичем ухаживать. Боялись, что ты откажешься. А ты, выходит, совсем наоборот...

— Нет, уж давайте ил и отпуск, или расчёт! — упрямо заявила тётка Дарья. — А так я не согласна. Я не двуязычная. И тут готовь, убирай, посуду мой... И туда тоже ведь не в игрушки играть хожу. Это понимать надо.

— Да я понимаю, всё понимаю, — ответила мама. — Мы тебя сами просим пойти временно пожить у Петра Ивановича, пока он... Ну, может быть, поправится.

— Не поправится он! — мрачно возразила тётка Дарья. — Я хоть и не учёная и докторской науки не изучала, а как глянула на него, так сразу угадала: не жилец он на этом свете, что ни говорите — не жилец! Я ему прямо это сказала: пусть и не ждёт и не надеется.

— Зачем же ему-то?! — воскликнула мама. — Да разве больному человеку такие вещи говорят?

— А почему же и не сказать? Он человек с понятием, вразумительный человек, ему допрежь всех других об этом знать надо, чтобы в последний путь подготовиться.

— Напугала ты его, — покачала головой мама.

— А зачем пугать, чего бояться? — спокойно возразила тётка Дарья. — Он человек смирный, беззлобный, никого не утеснил, не обидел. Прожил жизнь честь по чести, ему помирать бояться нечего. Не злодей какой-нибудь.

— Всё-таки зря ты об этом с ним говорила, — покачал головой Михалыч. — Ну, да что сказано, того не вернёшь.

— И нечего ему об этом тревожиться, — настаивала на своём тётка Дарья. — Дело известное, все по той же дорожке пойдём. Только вот проводить человека, в последний путь проводить обязательно нужно. Чтобы не заробел, когда Сама за ним придёт...

— Ну ладно, ладно! — поёживаясь, как от мороза, перебила её мама. — Значит, ты у него пока поживёшь? Иди с богом, спасибо тебе. Мы тоже, как сможем, заходить будем, еду вам принесём и так проведем.

Тётка Дарья хотела уже идти в кухню, но вдруг приостановилась и с недоверием поглядела на маму:

— А может, лучше всё-таки в отпуск или в расчёт?

— Да зачем же? Мы же тебя и так сами пускаем, без всякого отпуска, даже сами просим пожить у Петра Ивановича.

— То-то, сейчас просите, а потом отчёт спросите, — насмешливо сказала она, — почему обеда нет да почему посуда не вымыта. А я не двуязычная: не могу и туда и сюда мотаться.

— Нет-нет, ничего не спросим, — старалась успокоить её мама. — Я, пока ты там будешь, сама поготовлю, всё сама сделаю.

— Ну, раз сама... Это другое дело. — И тётка Дарья наконец ушла.

Захлопнулась дверь. Мы все молчали. Наконец мама заговорила:

— Подумайте! Мы-то боялись, что она ухаживать за ним не захочет, а на деле вот что!..

— А на деле, — перебил Михалыч, — это настоящая русская женщина — чуткая, сердечная, даром что не учёная! — Он с удовольствием закурил и, глянув на дверь, где скрылась тётка Дарья, ещё раз повторил: — Настоящая русская женщина! Я всегда это утверждал, только не-ко-то-ры-е этого не замечали или не желали заметить.

Мама с изумлением взглянула на Михалыча. Мне тоже вспомнилось, как он только третьего дня сердился на маму за то, что она держит в доме эту ведьму, это звероподобное чудовище. И вдруг теперь оказалось, что тётка Дарья настоящая русская женщина и Михалыч всегда нам об этом говорил. Ведьма — и русская женщина! Да разве это одно и то же? Что-то не верится. Я хотел уточнить, но раздумал. Что там ни говори, как ни называй, а тётка Дарьюшка правда хорошая, добрая. Только зря она нас с Михалычем притесняет.

ВОТ И УШЁЛ ЧЕЛОВЕК!

*Он ждал: придёт весна
И снег растает,
Пришла, прошла она,
А он не знает.*

Расул Гамзатов

После того как тётка Дарья переехала ухаживать за Петром Ивановичем, он сразу подбодрился, даже повеселел. И в его комнатке стало уютнее и тоже веселее.

Я, как только выкраивал свободный от занятий часок, бежал в знакомый домик. Теперь он не казался мне таким чужим, мрачным. На окнах висели белые занавески. В комнате хорошо пахло какой-то сушёной травой. Пётр Иванович лежал в чистой постели, правда такой же худой, но зато не встревоженным, как раньше, а совсем спокойный. И тётка Дарья, такая сердитая и крикливая у нас дома, здесь была совсем другая.

— А вот и гость к нам пожаловал! — приветливо, как-то нараспев говорила она, встречая меня. — Раздевайся, садись в нашу компанию.

И Пётр Иванович приветливо кивал мне с постели и тоже звал посидеть.

На деле тётка Дарья с нами в компании совсем не сидела: она всё что-то бегала, суетилась, то еду стряпала, то на стол накрывала.

— Пётр Иванович, — ласково говорила она, — хочешь супчику или кашки?

Если больной соглашался, она тут же приносила ему еду.

Правда, не всегда ему удавалось её проглотить. Если дело не клеилось, тётка Дарья спокойно говорила:

— Не можешь съесть, ну и не надо. Завтра скушаешь, а нонче попостись. Телу легче и душе спокойнее.

Переделав наконец все дела, она подсаживалась к постели больного и частенько начинала какой-то странный, непонятный мне разговор.

— Ты не тревожься, что помираешь, — успокаивающе говорила она Петру Ивановичу. — Ничего тут удивительного нет. Все помрём, рано ли, поздно ли все там будем. Тебе помирать легко, — продолжала она, — ты зла никому не сделал. Совесть у тебя чистая. И о прочих делах тоже тревожиться тебе нечего. О тебе есть кому позаботиться. Не то что моё сиротское дело.

— Да я и не тревожусь, — тихо отвечал ей Пётр Иванович. — Спасибо тебе, Дарьюшка, за твою заботу, всем вам спасибо. Я и не тревожусь, — как бы сам с собой продолжал он. — Я всё лежу да удивляюсь, какие люди сердечные на земле имеются. Вот жил один-одинёшенек. А под конец, глядь, и люди пришли, и не один я под конец оказался. Лежу в чистоте, в уходе... Раньше-то никто обо мне не заботился. Я не тревожусь.

— Ну, вот и хорошо, — отвечала тётка Дарья. Она заботливо поправила подушку Петру Ивановичу и продолжала: — Чего тревожиться? Ты своё отжил, отмучился. Лежи, родной, отдыхай.

Я слушал эти странные разговоры и никак не мог понять, как эти два человека, оба старые, а один к тому же совсем больной, так спокойно и просто разговаривают о самом страшном — о смерти.

А может, это и не самое страшное? Может, ею только нарочно пугают?

Мне хотелось спросить об этом не Михалыча, не маму, а тётку Дарью. Мне казалось, что именно она знает это лучше всех. Хотелось спросить, и было почему-то совестно да и страшно. Что она на это ответит?

Прошло ещё несколько дней. Наступила пора предвесенних оттепелей. С запада подул сырой, порывистый ветер, по небу поползли тяжёлые облака. Пошёл снег с дождём. Под ногами сплошная каша, того и гляди, что провалишься в неё и начерпаешь полны калоши.

— Вот и опять до весны дожили! — радовался Михалыч. — Теперь уж, брат, самые пустяки ждать осталось. Скоро грачи прилетят, за ними жаворонки, скворцы, дрозды. А там!.. — Он многозначительно поднимал вверх

указательный палец. — А там и наши долгоносики пожалуют, и опять мы с тобой, дружище, на тягу покатым.

Я тоже радовался, что наступает весна. Только к этой радости невольно примешивалось тревожное, горькое чувство. А как же Пётр Иванович, увидит ли он приход весны? Ведь он так его ждал!

И вот один раз мы с мамой уже ложились спать, вдруг хлопнула кухонная дверь. В комнату вошла тётка Дарья.

— Ты что? Плохо ему? — испугалась мама.

— Нет, зачем плохо... — спокойно ответила Дарья. — Теперь уж ему неплохо.

— Когда? — тихо спросила мама.

— Да только что. Подошла к нему постель поправить, думала — спит, а он и совсем уснул. Отмучился, сердешный.

Тётка Дарья вздохнула и не спеша набожно перекрестилась.

— Вот и ушёл человек, — в раздумье сказала она.

И ВНОВЬ ВЕСНА

*И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.*

А. С. Пушкин

Хоронили Петра Ивановича на старом кладбище за речкой, за Казацкой слободой. Провожали его в последний путь только мама с Михалычем, тётка Дарья и я.

День был уже по-весеннему тёплый и солнечный. По колеям дороги бежали первые ручейки. На буграх пестрели проталины.

Я шёл за гробом и думал: «Вот и весна наступила, а он так её и не дождался».

Потом думал о том, с кем же теперь я буду ходить за перепелами, кто меня научит манить их дудочкой.

Порой мне казалось, что всё это не то, не настоящее. Я никак не мог себе представить, что лежавший передо мной в крашеном деревянном ящике жёлтенький, будто вылепленный из воска старичок — это и есть Пётр Иванович, тот самый Пётр Иванович, с которым мы всегда так весело ловили птиц. Нет, это совсем не он.

А куда же тогда девался тот, прежний, настоящий? Да, может, никуда и не девался, может, сидит у себя дома и поджидает меня.

Но я тут же будто просыпался от сна. Нет, его уже нет и никогда не будет. И от этого «никогда» что-то больно сжималось в груди. «Пётр Иванович умер, —

думал я. — И все умрут: и Михалыч, и мама, и даже я». Мне это казалось диким, просто невероятным.

Я глядел на идущих немного впереди маму и Михалыча. Неужели и их понесут вот так же в деревянном ящике, и меня тоже?.. И я никогда больше не увижу вот этих домиков, деревьев и неба с облаками, с солнцем тоже не увижу и не буду знать, что наступает весна...

Я с ужасом огляделся по сторонам. Ярко светило солнце, кругом всё, как и прежде, было спокойно и весело.

«Нет, нет, этого не может быть! — подумал я. — Никто не умрёт: ни я, ни Михалыч, ни мама. Михалыч ведь говорил, что наука в семивёрстных сапогах шагает вперёд. Наверное, к тому времени люди придумают что-нибудь, чтобы никто не умирал». И я, сразу успокоившись, весело осмотрелся по сторонам.

— Михалыч, глядите, глядите, грачи! — закричал я, увидя впереди на дороге двух иссиня-чёрных белоносых птиц.

Михалыч и мама обернулись ко мне. Михалыч укоризненно покачал головой и указал на гроб.

Я сразу притих.

Домой с кладбища все возвращались как будто успокоенные, даже немного повеселевшие. Мама с Михалычем разговаривали о каких-то своих делах.

«А может быть, смерть и не такая уж страшная вещь, если о ней так скоро все забывают?» — подумал я.

И, как бы отвечая на мои мысли, Михалыч дружески взял меня за плечо и проговорил:

— Так-то, братец ты мой, проводили мы нашего Петра Ивановича. Ну что поделаешь, все там будем. — И, помолчав, добавил: — «Мёртвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий». Великие это слова! Всегда о них помнить надо.

Михалыч огляделся по сторонам.

— Весна. Настоящая весна! — сказал он. — Счастлив тот, кто до неё благополучно дожил.

Когда мы вернулись домой, небо вдруг заволкло тучей. Хлынул дождь, и разразилась гроза. Первая весенняя гроза.

Так я встретил весну, десятую весну моей жизни.

Я от всей души радовался её приходу, радовался даже больше, чем прежде, потому что глубже стал чувствовать, яснее видеть кругом и больше понимать.

Но радость эта была уже не такая, как в прежние годы.

Теперь к этой радости примешивалось и что-то другое, постороннее, совсем не радостное. Оно, как резкие тени в солнечный день, ещё больше подчёрки-

вало всю прелесть света и вместе с тем всё вокруг делало глубже, выпуклее, рельефнее.

— Как ты вытянулся за эту зиму! — удивлялись, встречая меня, знакомые.

— Ты совсем вырос из своей курточки, — огорчалась мама.

Да, за эту зиму я сильно вырос, вырос и не только из своей курточки...

Сам того не понимая, теперь, ранней весной, я как будто вышел из своей уютной детской комнаты и побрёл на поиски новых встреч, новых радостей, разочарований и надежд.

В эту — десятую — весну моей жизни я навсегда простился с детством.

Весна и детство неразлучны
В воспоминании моём.
Вот брызнул дождь из тёплой тучи,
Пронзённой огненным копьём.

И грома вешнего раскаты,
Как грохот по мосту колёс,
И запах свежий, горьковатый
Дождём обрызганных берёз.

Прозрачных струй дрожащий полог
Поля и лес укрыть успел.
Но вешний ливень так недолог:
В одно мгновенье пролетел.

Гроза стихает понемногу.
Тогда степенно со двора
Петух выходит на дорогу:
«Ку-ка-ре-ку — гулять пора!»

Пора! Бегу на солнце греться.
Оно так ласково глядит.
Как хороши весна и детство!
Вся жизнь, как лето, впереди!



Малеевка, Апрель 1962 г.

